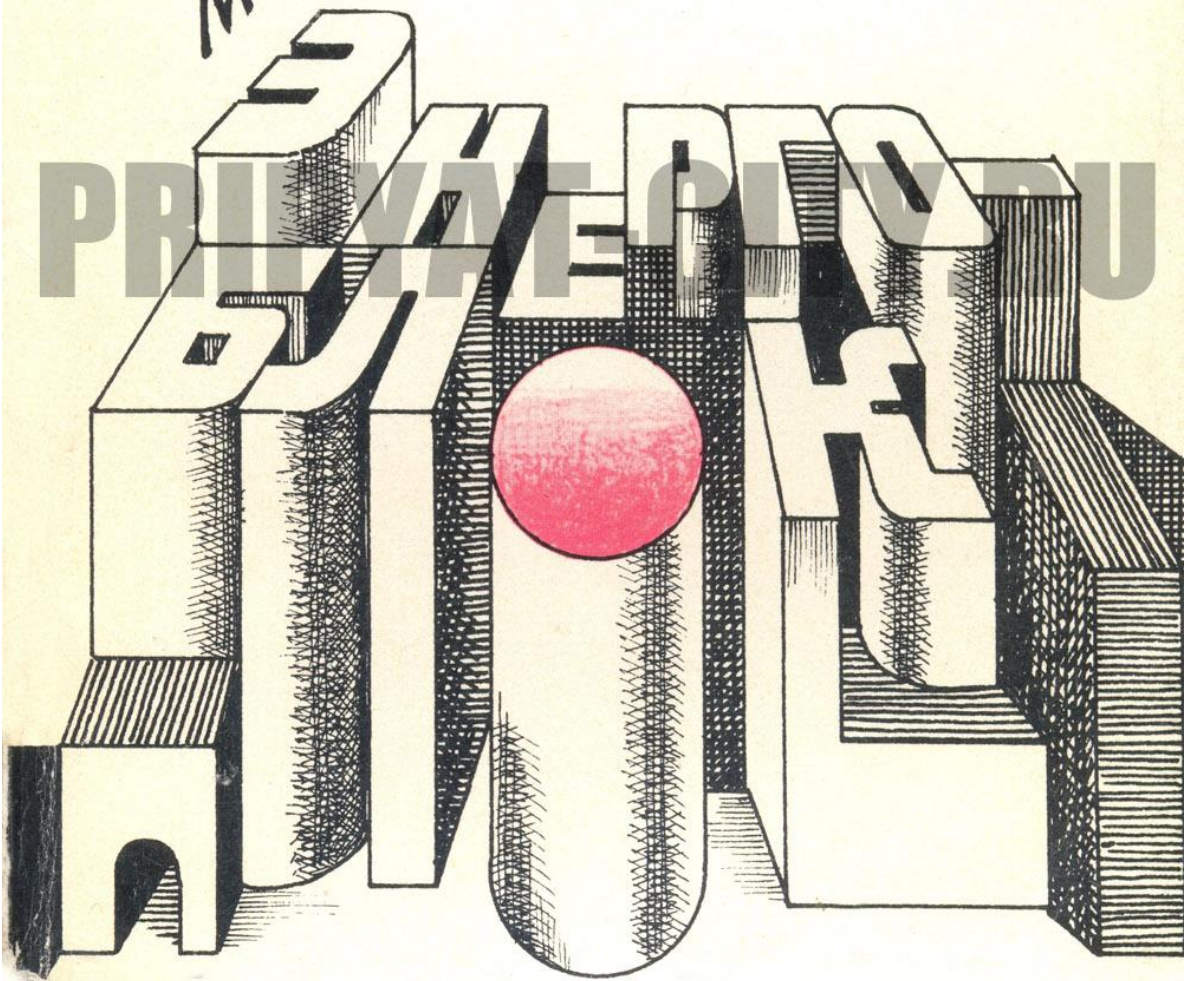


ГРИГОРИЙ
МЕДВЕДЕВ





1

Начальник отдела радиационной безопасности Владимир Иванович Палин стоял у окна своего новенького кабинета. Свежо еще пахло краской, пластиком, новой полированной мебелью.

За окном была промплощадка. «Свиной», как говорят строители. Навалы темно-желтой, с примесью чернозема или торфа супеси, уже застарелой, прибитой первыми весенними дождями. Из земли торчали обломки досок, заляпанных штукатуркой и бетоном, ржавые скрюченные куски арматуры, мотки проволоки, покореженные бульдозерами ржавые стальные балки и рельсы, обломки рифленого серого шифера...

Все это походило на поле только что затихшего сражения. И здесь, на этой измученной людьми глинистой земле, действительно на протяжении шести лет шла тяжелая работа многих тысяч людей.

И вот результат этой работы... Палин посмотрел направо. Там, за углом, круто вздымался огромным черным кубом реакторный блок сверхмощной атомной электростанции.

Собственно, в окно он смотрел не на всю эту разметающуюся перед ним обширную и не организованную еще территорию промплощадки. Его интересовали пересекавшая весь этот свиной сравнительно неглубокая траншея со свежими отвалами грунта и черная линия толстого трубопровода на дне ее.

Палин хорошо видел, как трубопровод, спирально обернутый пропитанной битумом блестящей лентой, искрился бликами, отражая солнце и необычайно голубое весеннее небо.

Эти блики воспринимались контрастно. Кабинет был в тени. Палин снова посмотрел вправо, на стену реакторного блока, выступающую из-за угла. Увидел, что глазурь «кабанчика» (керамическая плитка), которой облицована стена, как-то зловеще поблескивает, отражая голубизну неба и свет разыгравшегося, очень ясного и радостного дня.

Палин проследил взглядом черный трубопровод и траншею до того места, где они обрывались у морского берега. Дальше, насколько хватало глаз,— синее, ослепляющее блестками мелких, похожих издали на крупную рыбу чешую волн, у берега четкое, а в удалении тающее в белесой дымке море. В каждой его волне-чешуйке отражались небо и солнце.

— Решили все-таки...— тихо проговорил Палин, и на лице его появилась какая-то странная и переменчивая улыбка.

Нетерпение заполняло его.

Он дернул и открыл гибкую створку окна. В комнату пахнуло запахом сырой земли и моря. Палин повернул голову, увидел в стекле собственное отражение и не узнал себя. Широкоскулое, с холодноватой улыбкой лицо показалось чужим.

Да-да... Это не он, это другой человек... Другой, новый человек.

Он всматривался в отражение как в чужого человека, строго, испытующе, словно пытался понять, сможет ли этот другой, новый человек выдержать предстоящую борьбу.

— Да-а... — тягуче произнес он и машинально провел рукой по голове сверху вниз. Зачесанный влево чуб сдвинулся на лоб. Лицо стало моложе и несерьезнее.

Серые глаза просветлели. От волнения в глубине их появилась родниковая голубизна.

От природы здоровый и крепкий, с открытым русским лицом, он был выше среднего роста, широк в плечах. Заслонял добрую часть довольно большого окна. Из-под воротника сзади стремительно росли вверх густые светло-русые волосы и, встречаясь с потоком волос с затылка, образовывали над воротником острую извилистую горизонтальную волну.

Думая о происходящем, Палин ощущал в груди нарастающее и все более саднящее чувство горечи и тревоги.

События, по его мнению, развивались нежелательным образом. Только что завершена горячая обкатка технологического оборудования реакторного и турбинного блоков. Завершена с горем пополам, со многими недоделками и замечаниями. И, несмотря на это, директор и главный инженер приняли решение о выходе на нейтронную мощность, с последующим разогревом атомного реактора, продувкой паропроводов и началом комплексного опробования оборудования электростанции. Этому решению предшествовали ответственные эксперименты по уточнению нейтронно-физических характеристик активной зоны — физический пуск.

Акт рабочей комиссии был подписан без его участия. Разрешение на проведение первого этапа энергопуска Палин также не поддержал. Более того, как начальник отдела радиационной безопасности, он обратил внимание администрации, что основная, по его, Палина, мнению, часть атомной электростанции — блок спецхимводоочисток — не готова ни монтажом, ни тем более обкаткой. Все сбросы радиоактивных вод, образующихся при эксплуатации атомного реактора, в нынешних условиях придется либо скапливать на низовых отметках, затапливая помещения, либо сбрасывать в море...

С последним Палин категорически не согласен. Первое — недопустимо антисанитарно и не предусмотрено проектными решениями.

Оставался, по мнению Палина, один путь — форсировать пуск блока спецводоочисток, после чего осуществлять выход на мощность.

Но тут его не захотели понять. Ему напомнили о «Нормах радиационной безопасности» (сокращенно НРБ), где было недвусмысленно сказано, что в открытые водоемы допускается сброс вод с активностью до десяти в минус девятой степени кюри на литр, и все. (Для питья идет вода с активностью десять в минус одиннадцатой степени кюри на литр.)

— Мы не можем ждать,— сказал тогда директор довольно грубо,— пока начальник подчиненной мне радиационной службы разрешит пуск атомной электростанции, в энергии которой позарез нуждается страна!

— И тем не менее — я протестую! — ответил Палин.

— Протестуете?! Тогда заткните нам глотку законом!

— Еще есть совесть...

— Совесть?! Ишь какой!.. Можно подумать, у него одного только совесть...— Глаза директора налились кровью. Морщинистый лоб побагровел, на висках вздулись жилы.

— Да, совесть...— повторил теперь Палин тихо, будто продолжая полемику и с раздражением глядя на трубу, по которой без его согласующей подписи решили сбрасывать радиоактивные воды в море.

Во всей фигуре его была сосредоточенная напряженность. Он барабанил длинными суховатыми пальцами по холодной, выкрашенной белилами асбоплите подоконника и пытался осмыслить, понять не столько, быть может, происходящее на электростанции, сколько в себе самом.

Откуда это? Почему вдруг так неожиданно взорвалось все в нем против этого узаконенного беззакония? Что это — прозрение, упрямство, проступившее с возрастом? Или качественный скачок, подготовленный всей его предшествующей работой в атомной отрасли?.. Или — было да прошло, поминать грешно? Не-е-ет! Так не пойдет. Разбираться надо...

Он повернулся спиной к окну, внимательно, но с безразличным чувством осмотрел свой новенький, только что принятый у строителей, не обжитой еще кабинет. Вспомнил вертлявого, шутовской внешности заместителя директора по общим вопросам, который ходил по рабочим комнатам и напрашивался на комплименты.

— Ты посмотри, какой я тебе колер подобрал! А? Отец родной! Люстра в вафельку, стены в пупырышку, тон мебели — к раздумьям! Твори, выдумывай, пробуй!.. Ну как, отец родной? Не гневи бога! Стулья мягкие, бордо! У министра таких нет. Ей-бо! Сам видел... Ну как, доволен?

— Доволен,— ответил Палин, подводя заместителя директора к окну и кивая на свинорой снаружи.— Там когда наведешь порядочек, чтоб в мелкую пупырышку?

Зло зыркнув на Палина, заместитель директора мигом выметнулся из кабинета.

«Все чистенько, все новенько...» — с раздражением подумал Палин и ощутил нечто похожее на чувство стыда. Перед кем и чем, до конца не сознавал еще. Может быть, перед этим морем, синеющим вдали, которому угрожает радиация, или перед тем давним, что глубоко скрыто в душе и теперь просится на суд людей.

Он быстро прошел к шкафу, надел пальто, кепарь и вышел из здания наружу.

В лицо пахнул солнечный апрельский ветер, наполненный запахами сырой высыхающей земли, камня, ржавого железа, дымка битума, разогреваемого в огромном черном котле. В костер под котлом женщина в измазанном растворами комбинезоне и желтой каске подкладывала обломки досок.

Ветер часто менял направление, и тогда рабочий, по- особенному деловой запах стройки сменялся густым, влажным и бодрящим дыханием моря.

Палин с удовольствием и глубоко вдохнул в себя воздух, улыбнулся солнцу, небу, женщине, которая мельком взглянула на него, услышав стук закрывшейся двери, далекому, искрящемуся золотом морскому горизонту.

Ступеньки и асфальтовую дорожку еще не соорудили, и Палин спрыгнул с порога на влажный песок. Подойдя к траншее с трубой, заглянул в нее и медленно, заложив руки за спину и с удовольствием ощущая ими прохладу весеннего воздуха, щурясь от солнца, побрел вдоль траншеи к берегу.

На огромном, вздыбленном буграми просторе промплощадки лежали причудливые, изломанные на земле тени...

Он шел, оставляя после себя на рыхлой, влажноватой земле четкие рифленые следы. Грунт кое-где обвалился в траншею и засыпал трубу. Палин с досадой подумал, что в этих местах нельзя будет промерить активность сбрасываемых радиоактивных вод.

Саднящее чувство не проходило.

«Это не просто подло...» — размышлял он, продолжая идти, чувствуя, как мягко и нежно принимает его ноги земля, уже не мокрая, но еще не высохшая. Видел, как на взгорках отвалов она прогрелась солнцем и слегка парила. Вспомнил вдруг иную землю, черную и

жирную, вот так же набиравшую тепло, но только для великой пользы, для зерна, которое вскоре должно будет лечь в нее, для жизни...

Вспомнил родные края, степную свою деревню, которую покинул двадцать восемь лет назад, уезжая на учебу в город. Сердце наполнилось тоскою...

Он не заметил, как добрел и остановился у самой кромки прибоя. Волны были небольшие, они шли на берег сплошной, чуть пенящейся полосой и, наползая на песок, издавали звук, похожий на вздох: у-ух-х!.. У-ух-х!.. У-ух-х!..

«Ишь как тяжело вздыхает», — подумал Палин о море, как о живом существе.

И снова вспомнил о земле, той далекой и родной с детства, когда весной, поначалу с отцом, уезжал в степь и слышал, как тот говорил с пашней будто с человеком:

— Дыши, родимушка, грейся... Скоро уж... — и задумчиво вздыхал, глядя на землю. Смачно черная вблизи, она покрывалась вплоть до горизонта белесоватой, все более густеющей в удалении дымкой.

Память упрямо проявляла картины и запахи той далекой поры. Палин видел перед собою исхлестанную колеями, не подсохшую еще полевую дорогу, свежий горячий навоз на ней. Ощущал запах его, смешанный с терпким запахом прогревающегося и дымящегося рядом с дорогой вспаханного поля. Вблизи огромные комья и отвалы чернозема, лоснящиеся блеском от соприкосновения с плугом и пронизанные желтой прошлогодней стерней, струили над собой потоки прогретого и вздрагивающего воздуха...

Палин ложился на пашню, прижимался щекой к блестящему, очень теплomu и чуть еще липкому комку чернозема, закрывал глаза и жадно вдыхал теплый сырой запах впитывающей солнце земли...

Но ведь он ушел тогда и не вернулся...

Палин поежился от внезапного озноба. Встряхнул головой, будто освобождаясь от воспоминаний. Море близко, почти у ног его, хорошо просвечивалось. Волна, напоенная солнцем, была изумрудно-прозрачной, и порою казалось, что это изнутри, из самой волны, исходят свет, тепло и сияние весеннего дня.

Но чем дальше от него, тем все более голубело, а потом и синело море и уносило на чешуйках волн вдаль маленькие блески золота вначале очень широкой, а к горизонту все более сужающейся дорогой.

Палин посмотрел на небо. Оно было чистое и голубое. И только кое-где на большой высоте видны, словно следы белесоватых потертостей, перистые облака.

Во всей картине просыпающейся природы на этом заброшенном пустынном берегу, выбранном людьми для того, чтобы построить здесь атомный гигант, Палин вдруг увидел и почувствовал всем сердцем столько раскрытости и доверия и радостной непосредственности, что и сам испытал теплое чувство ответного порыва и признательности. Он ощутил, как солнце пригрело спину, расстегнул пальто, быстро пошел вдоль берега, почти по кромке волны. Легкий ветер дул с моря в левую щеку, Палин чувствовал его упругое дыхание, прохладное, но не холодящее, влажное, солоноватое, несущее запах водорослей и рыбы. Мышцы налились упругой и радостной силой. Но стоп... Он уже где-то видел эти блещущие чешуйки волн. Очень знакомо... Прошлое всплывало в памяти мрачным черно-белым изображением. Озеро Ильяхш? Тихое?... Целая система рек и озер. Речка Соуши. Того же названия деревня. Нет, много деревень... Порошино, Марьино, Кольцевичи... Еще!.. Радиоактивность ила — минус четвертая степень кюри на литр! Рыба, люди, одежда... Все-все... Круг замкнулся. Но об этом так просто не скажешь. С тех давних пор за семью ведомственными печатями... И ведь не хотелось вспоминать, не хотелось... Думал, все —

кануло в вечность, больше никогда не повторится, ч-черт... Выходит, возвращаются ветры на круги своя... Та же черная труба. И словно не было тех давних мучений и жертв...

Палин, будто споткнувшись, остановился, вспомнил, зачем пришел сюда, быстро повернулся и двинул к тому месту, где черная труба, издалека похожая на жерло пушки, взлетела с последней береговой опоры над морем. Он приблизился и увидел, что к бетонному приямку, куда предполагался сброс радиоактивных вод, подвели от насосной станции технической воды вторую трубу, через которую поток в десять тысяч кубов в час будет разбавлять сбрасываемый радиоактивный дебаланс до совершенно неуловимых, как думалось некоторым, концентраций.

— Та-ак... — Глядя на черное жерло и представляя воображаемую картину в ближайшие дни, Палин прикидывал: горячая обкатка показала, что протечки за счет дефектов и непредвиденных разуплотнений оборудования достигают сотен кубов в час. Но ведь здесь был чистый дистиллат, реактор подкритичен. А завтра...

Палин передернул плечами, глядя на черный сбросной трубопровод. Будь его воля, он бы немедленно разобрал его. Да! И сотни других по стране, через которые кто тайно, кто открыто сбрасывают вредные отходы в окружающую среду...

— Не допустить, помешать... — одержимо, как заклинание повторял он. — Нельзя снова допускать Соуши, Ильяш, Марьино... Тогда делали бомбу... В прошлом это хоть как-то объяснимо, шли ощупью... Но сейчас... Тут уже не просто подлость. Кодла атомщиков гробит природу под прикрытием успокаивающих заверений академиков...

«А сам я разве не часть этой природы и мой разум не ее разум? Я-то чего бездействую?..» — подумал он, возвращаясь назад, к управлению.

Теперь его взор упирался в огромные черно-белые кубы атомного гиганта. Левее — мощный пристанционный узел, блок трансформаторов, издали похожих на вздутые желтые кули, завязанные по углам, от них линия электропередачи до подстанции, ершащейся сотнями опор, расчаленных тросами, штыри грозозащиты, и далее — высоковольтная ЛЭП, идущая сначала вдоль моря, а потом круто вправо через степь в энергосистему.

Еще недавно Палин гордился этими творениями человеческих рук и ума, сумевших докопаться до святой святых тайн микромира, собственно Природы, но ведь не для того же, чтобы мстить ей за ее щедрость, настоящую и ту, будущую, которую она еще таит в себе. Двадцать три года жизни отдал он напряженной и опасной работе на атомных установках, по крупицам набирая тот необходимый запас знаний, опыта, мыслей, чтобы теперь, когда ему стукнуло сорок три, вдруг соединить все это с впечатляющей картиной тех давних рек, озер, рыбы, гибнущих сел и деревень...

«Да, теперь я знаю все... От начала и до конца... И я не буду молчать... И должность моя, и совесть человека, который знает, с чем имеет дело... Я буду драться...» — думая так и испытывая вновь нахлынувшую волну возбуждения, он вошел к себе в кабинет, быстро скинул пальто, кепарь и бегом прошел к кабинету начальника производственно-технического отдела.

«Труба началась отсюда...» — подумал он, подойдя к двери кабинета, и в этот миг его одолело сомнение. Он заколебался, уже схватившись за ручку двери с табличкой, поднял голову и, явно оттягивая время, прочел: «Начальник ПТО Харлов И.И.»

— Начальник ПТО Харлов... — повторил Палин вслух почти шепотом и почувствовал, что ему почему-то стало стыдно. Да-да, стыдно и своих чувств и, как ему теперь казалось, запоздалого раскаяния перед матушкой-природой... Чего это он вдруг распалился? Смеху подобно... Он отметил, что рука его, держащая ручку двери, вспотела.

Ведь о сбросах уже говорено на оперативках, и не раз. Хотя... Нет, он, конечно, не исповедовался в своих чувствах о Природе с большой буквы... Но ведь так просто не скажешь. Засмеют. С глаз долой, и вся сказка... Ах, как давит на нас старое привычное мышление. Пуповиной приросли...

И все же он решил войти, но от неловкости как-то весь сник, даже ощутил усталость и подумал, что попытается просто так поговорить по душам, авось пройдет...

Палин приоткрыл дверь и заглянул в кабинет. Харлов был один.

«Чего стыдимся? Хорошего... Правильного... Вот-вот...»

С чувством нарастающей уверенности Палин прошел и сел против Ильи Ильича.

— Ты что, Владимир Иванович? — спросил Харлов, глянув на вошедшего, и поднял от бумаг большую черноволосую голову, чуть возвышавшуюся над столом, отчего казалось, будто сама эта голова в кресле и сидит. — Ты что? — повторил он, и черные прямые пряди с двух сторон съехали на виски, образовав на темени белый и ровный пробор.

— Слушай, Илья Ильич... — Палин вновь ощутил неуверенность. — Неужто ты одобряешь сброс активных вод в залив?.. — А в душе все запротестовало в нем, словно там сидел и редактировал его мысли другой, прежний, все «понимающий» и многое оправдывающий Палин.

«Эх, не так, не так же надо все это!.. Не так!..»

Илья Ильич слегка порозовел, взял своей очень маленькой, похожей на женскую ручкой недокуренную сигарету с пепельницы, чиркнул спичкой. Пуская кольца дыма, мутноватыми черными глазами в упор посмотрел на Палина.

— Ты что, Володя, только родился? Не первый ведь и не последний раз... Сам знаешь... — Харлов спрятал глаза и продолжал, уже не глядя на Палина, тоном суховатым, но за которым все же улавливалась некоторая озабоченность. — Что нам говорят «Нормы радиационной безопасности»? Они говорят: «Разрешаю сброс в открытый водоем утечек с активностью десять в минус девятой степени кюри на литр». Так?

— Так, — сказал Палин, думая, как глубоко все это в них въелось... Да-да! Эдакая странная, симптоматичная сегодня безответственность. Легковесное отношение и к жизни, и к деятельности своей, во многом столь опасной для окружающих. — Но это ведь по короткоживущим изотопам, — продолжил он, машинально разглядывая ровный, с синеватым оттенком пробор на харловской голове. — В этом весь фокус... Пойми... Ты узаконил эту черную трубу, оформив ее актом рабочей комиссии как технологическую систему, разбавил коротко- живущие десятью тысячами кубов той же морской воды. Все отлично! Но ведь есть две опасности. Первая: возможны разуплотнения и пережог тепловыделяющих элементов, и тогда... в трубу полетят долгоживущие осколки. И... Здесь ты разбавляй не разбавляй... Второе. Ведь вы будете лить не десять в минус девятой... В ход пойдут сбросы с активностью десять в минус второй, десять в минус четвертой... А?

— Разбавим... В море уйдет не более десять в минус девятой, что и требуют НРБ. А к моменту возможных разуплотнений будет готов блок спецводоочисток. — Харлов улыбнулся. — Ты бит, Володя, по всем козырям.

— Не по всем! Ядерная авария возможна и в период физического пуска. Так что... Но тут еще одно зло, Илья... — Палин смотрел на него и думал, что длительно культивируемые, сознательно допускаемые на протяжении многих лет нарушения стали нормой. Люди даже высокой грамотности свыклись с ними. Своя грязь — не грязь... — Мы возводим нашу, я не побоюсь сказать прямо, нашу преступную по отношению к природе деятельность, пользуясь всеобщей неосведомленностью в атомных тонкостях, в ранг привычный, законный. Ведь фактически мы обманываем Советскую власть.

— Ну, куда хватил! — Харлов снова улыбнулся, на этот раз блекло. Сигарета потухла. На лице его сквозила легкая озабоченность.

«Холостой выстрел, — подумал Палин, тем не менее отметив: — Что-то дошло».

— И еще... — сказал Палин, прощаясь. — Запомни, что под решением о черной трубе я не подписывался.

Хотел еще сказать: «А Марьино помнишь? Соуши? Тихое озеро?.. Но нет, Харлов там не был. Да и я-то сам случайно туда попал... Ладно, увидим...» — подумал Палин, закрывая за собою дверь и снова ощущая легкую неуверенность.

Посмотрел вдоль коридора туда, где находилась приемная главного инженера. Пятерней сдвинул русский чуб влево. Как-то вымученно улыбнулся. Широко раскрытые серые глаза горели нетерпением. Во всем облике его ощущалась устремленность к действию. Он решительно направился к приемной. Им владело при этом такое чувство, что если он сейчас же, сию минуту, не выложит Главному все, что у него накопилось, то не то что не успокоится, места себе не найдет...

Да! Ему теперь все открылось. Ах, как ему все открылось! Вот же как все виденное и пережитое в жизни может внезапно поляризоваться, встать на свои законные места и заставить действовать. Не захочешь ведь, а будешь. Совесть не позволит иначе...

Так думал Палин, подбадривая себя.

Острая волна волос над воротником еще более вздыбилась. Он сгорбился от неожиданного озноба. На широком открытом лице и в глазах — решимость.

Секретарша с любопытством посмотрела на него.

— Владимир Иванович, — сказала она. — Что это вы сегодня такой?.. — Глаза ее лукаво искрились.

В приемной, кроме них, никого не было.

«Какой это «такой»?..» — подумал он машинально и смущенно улыбнулся.

И вдруг представил себя со стороны эдаким дурачком с вытаращенными глазами. Конечно, даже секретарша заметила.

«Да-да... Вполне законченный дурацкий вид... Ванька-дурак... Дон Кихот из Ламанчи... — бичевал он себя, пряча вновь подступающую неуверенность. И вдруг в упор прямо спросил себя: — Может, зря?.. А? Детский лепет?.. Акт рабочей комиссии подписан. Кто задержит пуск?.. Ты с ума сошел, Палин!.. — Но тут же твердо ответил на свой вопрос: — Нет! Не зря!»

Он внутренне встряхнулся. Пятерней сдвинул русский чуб влево. Натянул на лицо маску деловой сосредоточенности. Подобрался.

— Алимов на месте?

— У себя, — ласково ответила секретарша. Продолжая улыбаться только глазами, прошла к шкафу.

Палин вошел к Алимову, открыв последовательно две двери и миновав неширокий тамбур.

Кабинет Главного — в четыре палинских. Метров пятьдесят пять. Во весь пол — темно-зеленый палас, крапленный черным. На стенах: технологическая схема в цвете на голубой батистовой кальке...

«Смахивает на персидский ковер...» — мелькнуло у Палина.

Огромные фото реакторного и турбинного залов, картограмма активной зоны атомного реактора, тоже на голубой кальке и в цвете, напоминающая раскладку под вышивку ришелье...

Стол завален бумагами вразброс. Кажется, что Алимов сидит несколько выше положенного, словно у стула подставка.

«Если это продуманно, то ловко...— про себя отметил Палин, решительно проходя и сядясь в кресло.— Подчиненный сразу видит, с кем имеет дело».

— Я тебя слушаю, Владимир Иванович, — сказал Алимов и почти через весь стол наклонился к Палину, пожимая руку и непрерывно кивая малиновым лицом, полным подобострастия. Впечатление, будто нюхает воздух. В глазах выражение принужденного внимания.

Лицо у Алимова плоское, сильно пористое, лоб низкий, и кажется, вот-вот зарастет волосами, которые клиньями лижут кожу лба где-то чуть выше бровей. Стрижка бобриком. Равномерный серебряный проблеск.

Палин в упор смотрел в глаза Алимову. В них вымученное выражение внимания, застывшее, без смены игры выражений.

«Декорация, — думает Палин. — Через такую шторку внутрь не заглянешь...»

— Станислав Павлович!

— Я тебя слушаю, слушаю... — подбадривает Алимов. Голос глуховат.

— Я буду прямо... Без лирики... И ты и я ведь работали на таяжных объектах...

По лицу Алимова мелькнула тень, однако глаза стойко держали прежнее выражение. Он мелко кивал, дергал носом, будто вынюхивал, что же сейчас скажет Палин, и глухо подтвердил, дугообразно мотнув головой слева направо.

— Работали... Было дело...— и улыбнулся. Улыбка виноватая. — Бомбашку варили... Ну и что?

— Реакторы чем охлаждали?

— Речной водой напроток... Ну и что? Так то ж какое время было? Ничего не знали. Сам Борода не уберется... Чего уж там... Внешняя дозиметрия в твоих руках была, тебе известно не хуже моего... Теперь ведь не так. Научились мерить активность.

— Научились, говоришь?! — Палин вздохнул, переводя дыхание. — А как же этот сброс в море?..

«Ах, — подумал, — серо, неубедительно. Разве этим его проймешь? Ему бы про Соуши, Порошино да Марьино... Но нет... Все это «давно и неправда». Сегодня правда — это черная труба и готовность сбрасывать радиоактивную грязь в море».

— Ты снова про эту трубу?! — удивленно воскликнул Алимов, нырнув головой уже справа налево, и выпрямился, отпрянув на спинку кресла.— Тебе же ясно было сказано на оперативке: нормы радиационной безопасности нарушены не будут. Разбавление обеспечим... Контроль, разумеется, за тобой. Тут уж ты моя правая рука...

— Хорошо! — Палин почувствовал, что перестает владеть собой.— Возьмем кусок дерьма и бросим его в котел с борщом. Не съедобно? Я думаю, спорить не станешь... А теперь иначе. Растворим ту же массу дерьма в некотором количестве воды и — в тот же котел... Есть разница?! Нет! Качественной разницы нет. В том-то и дело... А потом что? Естественно, выпадение радиоактивного осадка... И чем мощнее разбавление, тем шире факел загрязнения морского дна...

Алимов криво усмехнулся.

— Ты остряк, Володя. — Но в глазах засквозили задумчивость и оглядка. Сказал заговорщически: — Я тебя понимаю. Ты отвечаешь в первую голову... Но ведь в конце концов отвечаю и я. И с меня главный спрос... Положение безвыходное — стране нужна энергия! Нефть... Валюта...

«Что ты мелешь! — думал Палин. — Настоящую энергию ты выдашь не ранее, чем через полгода. И после ввода блока спецхимии...»

Алимов виновато развел руками.

— Звонил начальник главка Торбин... Приказал пускать блок.

— Вот и выходит, что я кругом дурак! — в сердцах сказал Палин, вставая с кресла.

Алимов вскочил. Выбежал на палас. Усиленно нюхая воздух, тряс Палину руку, приговаривая:

— Ну что ты, что ты! Ты у нас зубр дозиметрии! — а глаза просветлели и искрились, и в них читалось: «Конечно же дурак... Дурак! Воистину дурак!»

И все же Алимову показалось, что невольный выкрик Палина в финале означал капитуляцию.

«И слава богу! Слава богу!»

2

Дома вечером Палина не покидало то же самое чувство, которое родилось в нем сегодня утром, а к концу дня как бы развернулось и окрепло и ощущалось им сейчас как-то особенно внове. Да-да. Это потому, что он увидел вдруг всю картину в целом и понял, определил свое место в ней. И место это не из последних... Нет, не то чтобы это его воодушевляло, нет. Волновало другое: он все же кое-что может сделать, чтобы помешать содеяться злу... Он это хорошо теперь видит... И не имеет права бездействовать...

«Ах, как жаль, что бросил курить! — с сожалением подумал он. — Сейчас бы насосался дыму, слегка успокоился. Обдумал...»

Палин в нетерпении прохаживался взад и вперед по своей четырнадцатиметровке, которую наконец выгадал себе на двадцать третьем году семейной жизни. Он вдруг остановился и, вспомнив, что у него уже год свой домашний кабинет, с видимым удовлетворением осмотрел обстановку: диван-кровать, крытый старым, купленным еще там, за хребтом, темным шерстяным ковром, на стене над диваном собственноручной работы чеканка — портрет Курчатова, поперек — двухтумбовый стол, стул от гарнитура, который утащил к себе из большой комнаты, на короткой стене — самодельный стеллаж с книгами, томов шестьсот. Художественных и технических примерно пополам. На скрипучем паркетном полу серая паласная дорожка. Все.

Он стоял посредине комнаты в старой, много раз штопанной, но зато очень привычной полосатой пижаме и смотрел на портрет Курчатова.

— Игорь Васильевич... — тихо произнес Палин. — Ничего не могу поделать... Сегодня я вижу все и не могу молчать...

Курчатов смотрел на него остро, испытующе, и Палин услышал вдруг его бодрый голос:

— Даешь открытие!

— Даю, Игорь Васильевич... С запозданием, но открыл в себе... — Он хотел сказать «гражданина России», но смутился и тише обычного добавил: — Открыл я в себе, Игорь Васильевич, нечто...

В это время в комнату вошла Соня, жена Палина. Толстая, небольшого роста, с заплывшей жиром шеей.

— Ты с кем это тут говоришь? — спросила она писклявым голосом. Казалось, жир, обложивший шею, утопил в себе все тональности ее в прошлом богатого голоса, оставив только этот довольно выразительный писк. Маленькие водянистые глаза из-под вздувшихся подушечками век, словно из амбразур, смотрели испытующе и с легкой улыбкой подозрения одновременно.

— Ты что, Вова?

Он вдруг ощутил досаду, что надо и ей объяснять все сначала, но затем подумал, что ведь жена и ей можно с любого места, хоть с конца... И жгучее чувство вины перед нею вдруг заполнило душу. Он ведь и такие, как он, виноваты в том, что его милая, молодая и красивая Софьюшка стала вот такой...

Многое изменила в ней болезнь, но вот привязанности к нему, любви к нему не изменила. И он, порою думая об этом, весь переполнялся теплом и нежностью к ней и благодарностью, что она есть, живет в постоянной борьбе с недугом и еще где-то берет силы на заботу о нем и сынишке.

Нет! Удивительно мужественный, стойкий, прекрасный человек его жена!.. Ему захотелось сказать ей эти слова, но что-то остановило, он спрятал глаза и, смущенно улыбаясь, похлопал себя по бокам, ища по старой привычке коробку сигарет. Вспомнил, что бросил курить, махнул рукой...

— Видишь ли, Сонечка, они снова хотят лить распады в воду...— сказал он возможно мягче и с огорчением подумал, что неясно, что все надо объяснять, «в воду, какую воду...». А у него уже в голове все заладило, неохота прерываться...

— В какую воду? — писклявым голосом спросила Соня, с любопытством глядя на мужа. Прошла, села на диван-кровать. Пружины натужно скрипнули.— В какую воду? — переспросила она с некоторым просветлением в голосе. — Снова кашу завариваешь?!

— Не кашу, но добрый борщок! — сказал Палин и как-то виновато рассмеялся, подошел, обнял ее за плечи и, чувствуя в них отчужденность и неприятие, подумал с грустью, что стронуть с места теперь эту некогда очень хрупкую женщину весьма нелегко. И снова жгучее чувство вины перед нею заполнило душу.

— Но пойми же, милая Сонечка, сколько лет прошло, а мы снова здорово... Стоим у колодца, и полон рот слюны... Эх, если бы слюны! «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться!»

Палин чувствовал, что под испытующим, оценивающим взглядом жены ощущение виноватости не проходило.

— Эх, Вова... — Соня покачала головой. — Подумай... У меня диабет... Облучена... Сашке вон шестой годок только... Тебе сорок три...

Палин увидел, как щелочки между подушечками век наполнились слезами, потом слезы враз сорвались и непрерывными струйками сбегали по бледно-розовым щекам и жирной шее на цветастый шелковый халат. Он подошел к ней, прижал ее голову к себе, почувствовал, как быстро промокла пижамная куртка, и ощутил кожей ее горячее дыхание. Она плакала почти беззвучно, издавая горлом еле слышное, непрерывное, на одном дыхании шипение.

— Успокойся, Сонечка... Прошу тебя... Ну что ты?.. — Он ощутил, как тоскливо заглодело у него в груди. — Пойми же, Софьюшка, Советскую ведь власть обманываем... Ну?.. Сколь же можно еще лить-то безнаказанно?..

— Лить?! — Соня обдавила отеками кулачками глаза, сильно в волнении расширила подушечки-веки, и там, на дне конических ямок-глазниц, на Палина изумленно посмотрели обильно промытые слезами и, казалось, совсем обесцветившиеся миндалевидные глаза.— И пусть себе льют!..

Но глаза ее были красноречивее слов и будто говорили:

«Господи! И что ей сделается?! И пусть себе льется... Пускай себе, Володя... Неужто неясно тебе?.. Вся эта жизнь... А?..»

— Советскую власть...— пропищала Соня.— Да она, будь здоров, аккурат без тебя обойдется... Ты свое дело сделал... Что ты о власти печешься?.. Ты за семью думай... Жена

диабетик. Облучена. Сашку шестой годок... — Она снова заплакала. — И на кой черт я связала с тобой свою молодую жизнь?! Какие парни вертелись, проходу не давали!.. А я... За этого вечного дозика пошла... Что я за тобой приобрела?.. А?..

— Ну успокойся, чудушка ты, ну... — ласково сказал Палин и взял руками ее лицо. — У нас, атомщиков, у всех одно на роду написано: тяжкий труд да ранняя смерть... Так что не проиграла особо... А что, плохо мы жили по молодости? Вспомни, Софьюшка, не гневи бога...

— А я за атомщика, может, и не пошла бы...

— А за кого же?

— И не знаю даже, за кого другого, кроме как не за тебя...

— Ну вот. И я про то же самое... — Палин ласково рассмеялся. — А что касается Советской власти, то я вот чувую, что именно сегодня ей надобен особо... И, может быть, более никогда не сгложусь... Она ведь, Советская власть, как Природа, величественна и доверчива. Она в нас, в народе, стало быть, извечно сидела, понимаешь... Я это будто сейчас только понял, Софьюшка...

Она перестала плакать, притихла.

— Ну как ее можно продолжать обманывать, если я доподлинно понял, что обман был, есть и продолжает быть в некотором роде?.. Не могу я... Я ведь только и знаю об этом... Нет... До меня только теперь дошло это... Вот что... Знают многие, но дошло только до меня... Я должен что-то делать...

— Что же? — спросила она, окончательно успокоившись и даже с оттенком обостренного внимания.

— Не знаю... Ну, положим... Написать все подробно в ЦК партии, например... Но... Оттуда все уйдет в наше министерство... То есть вернется сюда... Круг замкнется... Долгая история... Это на самый крайний случай, когда сам ничего не сумею... Крик души, так сказать... Сегодня решение принято. С отсутствием моей подписи не считаются. Вода польется. Грязная. Очень грязная... Понимаешь?! Ее разбавят, и в море уйдет минус девятая степень... Мне не к чему придраться... Формально... Они воспользовались двусмысленностью «Норм радиационной безопасности» в этом пункте. А ведь могут пойти и долгоживущие осколки с периодом полураспада в десятки и сотни лет, в конце концов, комочки высокорadioактивной грязи, которую не разбавишь, не размоешь... Вот в чем фокус... Но Алимову и Торбину важно выиграть время, пуститься, а там... Победителей не судят...

— Тебе же придется уходить, Вова... — сказала Соня. — Только пообвыкли на новом месте...

— Никуда я отсюда не уеду! Понимаешь?! — Он стукнул себя кулаком по груди. — Я здесь навсегда! Здесь и помирать будем... Но совесть должна быть чиста, вот в чем фокус... С годами это понимаешь все больше...

— Ты правду сказал? — глаза Сони потеплели.

— Истинный крест! — побожился Палин и рассмеялся, показав крепкие, плотно пригнанные белые зубы.

Он ощутил вдруг усталость и спросил:

— Можно я пройдусь, Сонь? Что-то голова загудела... До гаража... Может, промчусь немного по пустой дороге...

— Ну иди... — она встала и, уходя из комнаты, вздохнула. — Ох, и зачем тебе вся эта забота?.. Ты здоровый, Вовка... Ох, какой здоровый... Подпалишь ты всех нас, Палин, и сгорим мы голубым атомным огонечком, — она невесело рассмеялась. — Иди уж!

Палин быстро оделся и вышел на улицу. На небе ни облачка. Вечер на самой границе ночи. Звезды свежие, красноватые, вздрагивающие. Воздух опьяняюще остро пахнет весной. Ни дуновения ветерка, но какое-то еле уловимое ароматное дыхание ощущается и тревожит. Ему слышится, будто что-то чуть-чуть потрескивает, подвигается слегка, и он думает, что это, наверное, потягиваются от зимнего сна веточки осины с сильно набухшими мохнатыми почками.

Осина подсвечивалась из окон, отливала красноватым цветом и на фоне темно-фиолетового неба была очень красива. Сквозь ветви свежо просвечивали ранние звезды.

Палин сделал несколько глубоких вдохов, ощущая радостную сладость весеннего воздуха, сунул руки в карманы пальто — плечи почувствовали натяжение будто от лямок рюкзака, и быстрым шагом пошел к гаражам.

Гулкий звук шагов по асфальту сменился мерным похрустыванием, когда он сошел на гравевую дорожку, и затем резко смягчился, когда он зашагал по увлажненной еще, приятно пружинящей грунтовой тропке.

Из гаража пахло душноватым смешанным запахом бензина, резины, крашеного железа кузова и еще чем-то очень знакомым и вызывающим вслед за тем веселое чувство узнавания, вспоминания всей испытанной дотоле радости быстрого движения.

Но теперь Палина охватило и не отпускало еще какое-то совсем новое чувство, похожее скорее на усталость, может быть, на разочарование и вместе с тем удивление.

«Как же это я жил все эти годы, неся в душе груз такой тяжкий?.. Радовался, был, кажется, счастлив... До обожания любил эту бензиновую коробку. С ветром в башке носился по дорогам России, а вот о самой России как-то недосуг было... А ведь и прежде жизнь толкала — думай, смотри, мысли... И даже несчастье с Сонечкой не пробудило...»

И он вдруг понял, что жизнь его за эти пролетевшие мигом четверть века была столь буднична, столь заполнена мелочами, хотя и важными порою по сиюминутной значимости, вожделением к достатку, который долгое время можно было выгодно сравнивать с достатком других и тешить тщеславие, что все то вопиющее и важное, что должно всколыхнуть, перепахать все в нем, прошло сквозь него, не задев ни единой струнки души...

Он положил руку на прохладный капот своей бежевой «Волги» и подумал: «Я все проглядел: и Соуши, и Марьино, и Порошино... И озера — Ильяш, Тихое... И тех солдатиков... И рыбаков у Черемши... Как все несерьезно... Почти что соучастник...»

Но почему это прошло тогда так легко мимо, даже не царапнув по сердцу?.. Какая-то приглушенность сознания, совести. Даже несчастье с Сонечкой не пробудило его от спячки. Лес рубят — щепки летят... Но когда щепкой оказываешься сам, твои родные и близкие, это ведь должно трогать... Но не трогало. Многих не трогало... Массовый конформизм и невежество... Курчатов и тот до конца не осознавал опасность радиации.

Палин быстро сел в кабину, окунувшись в ее душноватый непроветренный объем, несущий в себе запахи поролона, бензина, резины половичков, прошуршал стартером и, почти не прогрев мотора, выехал.

Через десять минут он был уже далеко. Дорога шла сначала берегом моря. Захотелось тишины. Он остановил машину, выключил мотор, высунулся в окно, прислушался. Как будто штиль. Нет, легкое колыхание, едва уловимое, пенистое шуршание слабой волны о песок. Потянуло сырым запахом водорослей...

Палин завел мотор и поехал дальше. Дорога круто свернула вправо. Мимо пробежал белесый в свете фар, будто вымерший кустарник, и вскоре начался лес. Луч света, как палочка по забору, стучал о частые стволы сосен, берез и осин. Деревья проносились мимо и

то замедляли свой бег и почти останавливались, то убыстряли движение, переходя в галоп на прямых участках.

Тревожное состояние души обостряло внимание к деталям. Иногда Палину казалось, что стволы будто обгоняют его, порою же, напротив, что он как бы слился и с лесом, и с дорогой, и с звездным небом, набегающим и словно подныривающим под него. И вот уже все неслось в едином захватывающем круговороте. Асфальт уходил под колеса, проявляясь неожиданно перед тем, как исчезнуть во тьме, контрастными деталями: ямкой, бугорком или камешком розового, не вполне вдавленного в битум гравия. Впереди, обочь дороги, в легкой дымке только что выступившего тумана появилась довольно широкая и ровная полоса. Палин убавил скорость, съехал с дороги и остановился посреди поляны. В свете фар высветились покрытые искорками росы почерневшие стебли угловатого цикория и прямого, как свечи, кипрея. Палин заглушил мотор, погасил все огни и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза. Яркие до галлюцинаций картины прошлого, обостренные душевным прозрением, овладели всем существом его, и он зажил будто сначала, только с иным, сегодняшним видением и пониманием событий и их значения в жизни...

«Первый плутоний! Ура-а!..»

Палин испытывал тогда необычайную наполненность, чувство восторга и гордости... Игорь Васильевич!.. Борода!.. Победа!.. Долгожданная дорогая победа! Бомба в кармане!

Блочки плутония из технологических каналов реактора сброшены в подреакторное пространство, орошаются водой... Потом из очень глубокой шахты грузовым лифтом их поднимут в транспортный коридор и... на бомбовый блок. Еще одно последнее усилие...

Приехал Берия. В бобриковом треухе. В красном кожаном полупальто. На ботинках новые блестящие калоши. Красная меховая канадка на министре из вещкомплекта лендлизовских грузовиков, которые работали на строительстве первого бомбового реактора.

Видимо, местное начальство, опасаясь дурного влияния здешних холодов на столичного гостя, посчитало, что заграничная бекеша надежнее дорогого зимнего пальто.

Министр без привычного пенсне. Веки припухшие, лицо жирное. Глаза уверенные, глаза всесильного хозяина... И в этом лице очень мягких, непугающих черт Палин почему-то никак не мог рассмотреть грозного министра.

Встречали начальник завода и главный инженер. Палин сопровождал от службы дозиметрии. Скользко. Сравнительно недавно посыпанный на дорожку песок схвачен уже тонкой и блестящей стекловидной корочкой гололеда. Видно, что начальник завода волнуется. Берия поскользнулся и, заплывав на месте, припал на правое колено. Палин подскочил, поддержал, помог встать. Министр порозовел, сказал «спасибо», но не Палину, а куда-то в пространство. Добавил уже начальнику:

— Орлы у тебя... — и тут же сухо спросил: — Плутоний отправили на бомбовый завод?

— Нет еще, Лаврентий Павлович... — ответил начальник завода, заметно побледнев. — Не готова еще транспортно-технологическая эстакада от корпуса «А» до корпуса «Б». Работы идут день и ночь. Строители и монтажники проявляют героизм...

Министр остановился и прервал его:

— Что ты мне говоришь?! Героизм...

— Нехватка людей... — промямлил начальник завода.

Берия смотрел на него строго, изучающе. Взгляд этот, все знали, не предвещал ничего хорошего. Особенно это затянувшееся молчание.

— Роты солдат достаточно? — строго спросил министр и, не дожидаясь ответа, приказал: — Получишь роту солдат, и завтра, к десяти ноль-ноль, плутоний, или, как ты говоришь, «продукт», должен уйти на бомбовый блок.

— Но ведь непосредственный контакт с продуктом... в некотором роде... — начал было начальник завода, но спохватился. — Слушаюсь, Лаврентий Павлович!

Потом прибыла рота солдат. Первогодки. Отлично экипированы. Все как на подбор. Пышут здоровьем и силой. Во всем облике их — готовность исполнять приказ...

Один из них, видать ротный балагур, весело прокричал:

— Солдат грузит — служба идет!

Рота вторила ему дружным здоровым хохотом.

По мере работы азарт и возбужденность солдат возрастали, дойдя постепенно до крайнего напряжения.

Командовал молоденький лейтенант. Краснолицый, маленький, стянутый портупоями. Он показался Палину слишком рьяным и похожим на одного юнкера из кино про революцию. Глаза серые, натужные, властные...

Блочки плутония в контейнере, поднятые в транспортный коридор грузовым лифтом из очень глубокой, заполненной водой шахты, солдаты загружали в мешки, увязывали их и, один за другим, с мешками на плечах, бежали к машинам.

Тут же усиленный конвой, немецкие овчарки. Плутоний ушел в срок...

Даешь первую атомную бомбу!

Палин очень четко представил лейтенанта, стоявшего у ворот транспортного коридора. Он чуть перегнулся в поясе и делал отмашку рукой. Хрипло выкрикивал простуженным голосом:

— Пятнадцать! Шешнадцать! Семнадцать!.. Поднажмем, орлы!.. Восемнадцать!..

Вечером того же дня весь состав роты доставили в медсанчасть. Многократные рвоты, понос, потеря сознания... Сильнейшие радиационные ожоги спины у всех, чудовищные отеки...

Берия сурово произнес, узнав о случившемся:

— Плутоний ушел... Они выполнили свой долг... Ми в бою, товарищи... Идет битва не на жизнь, на смерть... А вы, — обратился он к начальнику завода и к научному руководителю проблемы, — навэдите у себе парадок, привлекайте науку, мобилизуйте все силы. Государство не жалеет денег...

Курчатов и все присутствующие подавленно молчали...

Через семьдесят пять часов рота погибла.

Развернулись интенсивные работы по радиационной защите персонала установок. Но двигались вперед ощупью. Замучили частые аварии с расплавлением урановых блочков и закозлением (закупоркой) технологических каналов атомных реакторов. Блочки урана в процессе ядерного деления пухли, перекрывая проход охлаждающей воде. Далее следовал пережог оболочек и выход долгоживущих радионуклидов в воду... А в первый период и оболочек-то у блочков не было. Активные зоны охлаждали речной и озерной водой напроток...

Озеро Ильяш... Речка Соуши... Впадает в озеро Тихое, связанное с целой системой рек и озер...

Через несколько лет научились измерять радиоактивность воды, охлаждающей атомные активные зоны. Волосы дыбом...

На линиях выхода воды из реакторов установили фильтры. Эффект оказался невелик...

Еще через несколько лет замкнули контура охлаждения. Теплосъемы с активных зон бросили на турбинные «хвосты», которые пристроили в отдельных зданиях за пределами колючей проволоки, вне территории атомных заводов...

И всюду первым был Курчатов.

Тяжкую ношу взвалил он тогда на себя. Да!.. Но и познал радость победы. В момент атомного взрыва лицо его сияло счастьем. Но лишь миг... Итог труда. Он оправдал надежду Родины...

Но с великой силой пришла и великая ответственность. И тогда уже Бороду волновал не столько блестящий результат неслыханного напряжения сил, сколько мысль: принесет ли советский атомный взрыв желаемый психологический эффект? Заставит ли Соединенные Штаты задуматься над возможными последствиями применения атомного оружия? И заставит ли отказаться от него во имя будущего человечества?.. Ведь обе страны стояли тогда у истоков ядерной гонки, развитие которой можно было приостановить еще в зародыше...

«Не заставил...— горестно подумал Палин.— Но блокировал. Удержал...»

А какой ценой далась победа!.. В горячке штурма все казалось оправданным: и пренебрежение опасностью облучения, и внезапные смерти товарищей, падавших на ходу...

И сам Борода... Разве он жалел себя?

Уже значительно позже, открыв для себя малоизвестные стороны его биографии, Палин понял: Курчатов всегда был таким!..

Но что же это было? Непостижимая дерзость, смелость, уверенность или самоистребление гения?.. Вот уж где результат стоял превыше всего! Что там жизнь!.. Только истина, открытие, дерзновенность и бесстрашие! В этом весь Курчатов...

Еще задолго до начала атомной эпопеи, работая с циклотроном в радиевом институте, Игорь Васильевич порою пугал сотрудников внезапными обмороками, которые сам называл «небольшими недоразумениями».

Была ли это усталость? Да. Но и отсутствие защиты от нейтронов и гамма-лучей сказывалось.

На всякий случай рядом с циклотроном соорудили поленницу из сырых березовых дров. В них вода, водород, который тормозит нейтроны, захватывает их. Так и работали потом, управляя циклотроном из-за поленницы сырых дров, но зато без всяких недоразумений.

Вообще, Игорь Васильевич, казалось, жаждал личного контакта с нейтронами... Построив и запустив первый в Европе атомный реактор в монтажных мастерских на Ходынке, Курчатов доложил об успехе в Кремль.

Прибыли члены правительства.

— Чем вы докажете, что урановый котел работает? — спросили его.

Глаза Курчатова сияли.

— Котел в работе! — весело сказал Борода.

Из динамика раздавались редкие сухие щелчки.

— Слышите? — спросил он.— Идет устойчивая реакция деления ядер!..—И вдруг произнес: — Теперь слушайте внимательно!

Неспешным шагом Игорь Васильевич пошел на сближение с урановым котлом. Щелчки из динамика участились и постепенно перешли в лавинный треск. Курчатов поднял руку и окинул всех лучистым взглядом.

— Слышите? Сейчас идет ядерный разгон. Я стал отражателем, утечка нейтронов из активной зоны уменьшилась... — И, обворожительно улыбнувшись, широким жестом пригласил: — Прошу неверующих, подходите...

Присутствующих охватило суеверное чувство. Делегация поспешила удалиться. Бороде поверили.

— Берегите здоровье! — говорили ему.

— Не та задача, чтобы беречь себя! — любил отвечать Курчатов.

Часто в то время можно было видеть бородатого великана с радиометром в руке, медленной походкой вышагивающего вокруг монтажных мастерских и измеряющего интенсивность излучения первого в Европе уранового котла.

Но регистрировал нейтроны не только прибор. Доставалось и человеку.

Не только организовать и направить, но все понять самому, пощупать руками... Таков был он — первый в стране и Европе атомный оператор.

Но тогда им еще владели иллюзии... Война позади. Не настало ли время вернуться в тишину лабораторий к фундаментальным исследованиям?

Сталин распорядился иначе... На несколько лет ему пришлось покинуть Москву, пока не отгремели первые атомный и водородный взрывы.

Палин вдруг явственно увидел бородатого великана, неспешно идущего вдоль переходного коридора первого бомбового реактора в сторону центрального зала. Он то и дело останавливался, подзывал нужного человека.

Мимо сновали солдаты-стройбатовцы, спешили по делам монтажники, эксплуатационники... Увидев Палина, Курчатов поманил его пальцем. Палин подошел.

— Володя! Сегодня будет дело, — весело сказал Борода, — Распухли урановые блочки в центральном технологическом канале. Будем дергать... Жду тебя...

Потом уже, стоя на пятачке атомного реактора, положив тяжелую руку на плечо Палину и словно оправдываясь, сказал:

— Взрывная реакция — это оборона... Но здесь, — он указал рукой на реактор, — здесь и мирное будущее атомной энергии. Я, наверное, не доживу... А впрочем... Но ты доживешь... Ты счастливый...

Крюк крана уже был подцеплен к головке урановой кассеты. Из вскрытого технологического канала простреливало вверх интенсивное гамма- и нейтронное излучение. Курчатов подергал трос и заглянул в канал.

— Игорь Васильевич! — вскричал Палин. — Чуток отстранитесь! Нельзя так!.. Не бережете вы себя!

— Не та задача, милый, не то время, чтобы беречь себя! Если бы жил второй раз, заставил бы всех крутиться еще быстрее. Давай — вира! — Курчатов поднял руку.

Когда плутоний ушел на бомбовый блок, Борода лично руководил сборкой атомной бомбы... А после ядерного взрыва, не выждав как следует время, необходимое для некоторого спада радиоактивности, сам направился к эпицентру, чтобы лично увидеть последствия...

Нет! Борода не щадил себя... Но все ли он знал об опасном воздействии радиации? Скорее всего, нет. Защита от радиации была для него всего лишь сопутствующим и зачастую раздражающим фактором... И все же... Многое поняли уже тогда...

Торопились. Да... Но спешка была обоснованной. Поперек горла стоял атомный шантаж Соединенных Штатов.

Все усилия были направлены на создание атомного оружия, о побочном не думали...

А это побочное и стало главным теперь. Да-а...

А вот канун первомайских торжеств. Уже взорвана первая атомная бомба. Много бомб... Дела идут недурно... Всеобщая уборка к празднику трудящихся... Бочки с радиоактивными отходами, которых накопилось к тому времени уже изрядное количество, стояли в разных местах площадки, у склада. Пожарники и праздничная комиссия приказали навести порядок...

Сдвинули емкости, заполненные жидкими солями урана и плутония, в один угол...

Образовалась критмасса! Взрыв!.. Самопроизвольный ядерный разгон!..

Радиоактивное облако накрыло близлежащие территории. И не только близлежащие. Тысячу квадратных километров... Еще плохо знали, с чем имели дело... Плохо знали...

Но служба дозиметрии постепенно крепла. Росли оснащенность лабораторий, грамотность.

В это время кто-то вспомнил про Соуши. Направили экспедицию. Палина тоже включили в нее.

Теперь, сидя в машине много лет спустя, задумался:

«Почему?.. Не потому ли, что был исполнитель, четок?.. Но такими ведь были все... Доминирующее чувство: героическое время, героический труд, героические смерти... Издержки спишет история... Видать, на морде было написано... Это точно...»

Приехали в двух специализированных «УАЗах»-лабораториях к вечеру.

Спустили надувной бот, поставили сеть.

Переночевали на берегу озера Тихого. Потом раннее утро. Голубоватое в дымке небо. Там и тут в перистых облаках. И странный свет... Казалось, он там, выше неба, и вот-вот опрокинется на землю...

Солнце взошло как-то сразу. Белое. Показалось Палину холодным, негреющим. Легкая свежая тяга воздуха с озера. Золотые рыбы чешуи волн. На ряби вдали то чернеют, то сгорают в бликах солнца скорлупки лодок рыболовов.

Палину холодно. Стянуло кожу мурашками. В грудь неожиданно плеснулась тоска.

Лес по берегам тихий, задумчивый. Хмурый даже. Природа и в лучшей поре своей встретила неприветливо...

На береговой линии песка много мертвой рыбы. По трупикам рыбин похоже, что озеро окуневое. Степень минерализации озерной воды слабая, особенно по калию. Предпосылки для положительного прогноза — неблагоприятные...

Соуши вытекает из озера Ильяш, вода которого вот уже много лет используется для охлаждения активных зон бомбовых реакторов. Постепенно озеро превратилось в огромное естественное хранилище жидких радиоактивных отходов. Если бы только хранилище...

Почему-то эта страшная мысль долго никому не приходила в голову. Соуши вытекает из озера Ильяш...

Спустили бот. Взяли пробы ила у места впадения Соуши в озеро Тихое и в нескольких других местах. Ил сильно радиоактивен. В месте впадения Соуши — активность особенно высока, до минус третьей степени кюри на литр. В других местах несколько меньше...

У всех настроение — дрянь. Члены экспедиции работают молча. Да-да... Палин отчетливо помнит. Уже тогда в нем впервые проклюнулось прозрение, что ли... Сомнение, очень робкое, зачаточное, сомнение в правомерности делаемого ими. Вернее,— того, как они это делают...

Подняли сеть. В основном окунь. Есть щука. Прогноз плохой. Для малокалиевых вод здешних озер хищная рыба верный признак переноса радиоактивных изотопов в организм человека. В прилегающих деревнях рыболовецкий колхоз. Кажется, еще скотоводы...

Основной состав изотопов в килограмме сухого ила — цезий-137, чистый бетта-излучатель с периодом полураспада тридцать лет, и дочерний изотоп барий-137м, источник гамма-излучения. Есть и другие в небольших количествах.

Наиболее опасный — цезий-137. Относится к группе генетически значимых изотопов. Биологические эффекты его воздействия не зависят от путей поступления и по своему характеру приближаются к действиям внешнего облучения. Многократное воздействие больших доз приводит к заболеванию хронической лучевой болезнью, а со временем и к возникновению отдаленных последствий... Эти последствия могут носить характер генетических и соматических.

Соматические последствия: бластогенные эффекты, катаракты, нарушение плодовитости, раннее старение (особенно опасно воздействие радиации на плод), врожденные уродства, случаи лейкемии, мертворождаемости, высокая смертность новорожденных, младенцев...

Генетические последствия: физические уродства, слабоумие, изменение соотношения полов рождающихся детей...

Солнце и золото на чешуйках волн ушли вправо. Лодки и неподвижные в них фигурки рыболовов контрастной чернотой впечатались в голубоватую рябь воды. В зарослях кустарника... Нет, за ним, на поляне, большой шалаш. На вешках сушатся сети. На капроновых нитях перламутрово поблескивает чешуя. Сильно пахнет сырой рыбой. В шалаше никого. Запах прелой соломы, тряпок, вяленой рыбы. В углу валяются две пустые бутылки из-под водки...

Осмотрели территорию. В редком березнячке между стволами натянуты струны желтого и голубого телефонного провода. Вялится окунь. Очень крупный. Тянет несильным ветерком из чащи. Чувство голода. Палин глотает слюну. Остро и аппетитно пахнет рыбой...

Анализ показал: рыба сплошь радиоактивна... Является основным источником инкорпорирования цезия-137 в организмы людей прилегающих деревень. И многих других, если идет через заготпункты в городскую торговую сеть... По прикидкам внутреннее облучение длится не менее десяти лет...

Руководитель — хромой на правую ногу Крахотин Степан. Лицо у него плоское, натужно красное, большой жабий рот, грубо рубленый широкий тупой нос. Голубые глаза вечно налиты кровью. Кажется, его неминуемо вот-вот хватит удар. Но удар почему-то не происходит. Тонкие губы плотно сжаты, но чудится, что он все время держит за губами слова, фразы и отчего-то их не выкладывает. Все время ощущение, что он хочет что-то сказать. Наконец он говорит:

— Вот, мальчики... Что натворили-то, а?.. — Оглядывается, будто боясь, что кто-нибудь услышит. Голос всегда ласковый. Продолжает: — Надо пройти по деревням... Посмотреть, взять мазки... Обмер фона... Образцы предметов быта из домов...

У всех чувство вины. Вот, оказывается, что!.. Незнание в обращении с радиоактивными веществами само по себе преступно... Живут себе люди... Вдали от торных дорог. Крестьянствуют. Из века в век. Леса, озера, реки, свежий воздух без дыма и газов. Здоровье... Было. Теперь они тоже втянуты в круговорот цивилизации. Ядерной. Будь она проклята!.. Здоровье близлежащей популяции под смертельной угрозой. Необходимо всестороннее обследование. И переселение. Переселение... Это ясно уже сейчас...

Соуши. Съезд в деревню с горы. Чернозем. Грязь глубокая, жирная. Кажется, вечная. Машины оставили на довольно сухом пригорке. Пошли пешком. Потянуло ветерком со стороны деревни. Запах навоза, стояла, гнилой соломы, которой в основном крыты крыши деревянных, почерневших, низко вросших в землю домов-пятистенков. Заборы старые, покосившиеся. Одни из горбыля, другие из обтесанных прутьев. Под заборами кучи навоза. Одни свежие, другие застарелые, подсохшие и посветлевшие сверху. У навозных куч куры. Петухи энергично разбрасывают по сторонам ошметки, призывно кудахчут. Никого из людей не видать. Кажется, деревня вымерла.

— А что, мальчишки, им повезло... Построят новые агропоселки. Заживут по-человечески. Нет худа без добра...

Приусадебные участки бедные. Садов почти нет. Огороды. Зашли в дом, из трубы которого шел легкий дымок. В нос шибануло запахом какой-то кислятины, выскобленного ножом, только что мытого пола, чем-то съестным, пахнущим влажной кухонной тряпкой... Стены из черных бревен, кое-где тронутых паутиной, по углам образа. Посреди избы огромная русская печь со вздутой и местами потрескавшейся известкой. Из-за приоткрытой занавески на лежаке печи видны старые, костлявые, в желтоватых чешуйках омертвевшей кожи стариковские ноги. Рубленый стол, лавка — тоже только что вымыты и выскоблены ножом.

Встретила старуха со слежавшейся, какой-то блеклорозовой, пергаментной кожей на лице. Глаза слезящиеся, выцветшие, тревожные. Голова повязана белым платочком. У Палина засадило в груди. Теплый ком то подкатывал к горлу, то снова отпускал. Вспомнил свою деревню...

«Похоже... Ой, как похоже...» — подумал.

Старуха стояла и молча смотрела на пришельцев, словно сомневаясь, привечать их или гнать.

— Мы экспедиция, бабушка... — сказал хромой Крахотин и улыбнулся жабым ртом. — Что-то людей не видать...

— В поле все... Кто на озерах... Да что же вы, родимые, проходите, — вдруг засуетилась она и указала обеими руками на еще влажноватую лавку.

Палин ощутил вдруг стыд перед этой деревней, перед этим жалким домом и старухой за свой достаток и за эту безусловную бедность и убожество быта... Он ежемесячно отправляет отцу в деревню двести рублей. Там еще двух сестер подымать...

Но стыд. Стыд бывшего крестьянина давил его. И с болью подумал: «Отступник! Куда удрал? К чему шел? Калечить землю, родившую нас...»

Костлявая нога на печке вдруг поднялась, зацепила большим заскорузлым пальцем занавеску и прикрыла ею проем.

— Как здоровьечко? — улыбочиво допрашивал хромой Крахотин.

Старуха перекрестилась на образа.

— Ох, родимые, так бы ничаво... Токмо дикарь в животе, — она надавила в подвздошь сразу двумя руками, похожими на черепах из-за того, что были покрыты большими, толстыми, будто ороговевшими пластинками желтовато-розовой кожи, похожей на панцирь.

— Давит все... Фершал каже, видать, язва... Старый тожа, — она кивнула на печку. — Мытарствуется все. Селезень мучает... Раздулся шибко. Помрет, видать... — добавила она грустным шепотом и покачала головой. — Квелей народ пошел нонче. Вот Нехаиха дочка двоих мертвых рябеночков родила. Васятка Соушин помер по весне нонче от дурного кровя. Четыре годка всего... Преставилось людей, батюшко, ой.... — Старуха стала быстро и очень истово креститься на образа. — Господи, помилуй! Святыи Боже. Святыи крепкий, Святыи бессмертный, помилуй нас!.. Святыи, посети и исцели немощи наши, имене твоего ради...

Детишков все больше хоронют, детишков, батюшко... Да мужиков молодых, да баб... Каки их годы?! Жить да детей родить... Вчерась аккурат фершал из райбольницы Семушку до родителей предпроводил... Ликоз, бает, у Семушки... Ликоз, каже, тельцы какись юны в крове завелись. От их и пухнуть Семушка... Деятнадцать годков всего. Внучек он мне... — По щекам старухи потекли слезы, и она снова прервала свой рассказ молитвой: — Господи, помилуй!.. Скорый в заступлении един сын Христе, скорое покажи свыше посещение страждущему рабу Божьему Симеону и избави от недуга и горьких болезней, воздвигни во иже пети тя и славити непрестанно молитвами Богородицы, единае человеколюбче... Низалон прописали, низалон... Кака твоя думка, батюшко? Помогет, а?..

Палин не выдержал. Вышел во двор...

Обследовали несколько ближних деревень. Взяли пробы грунта, травы, лиственного покрова деревьев, образцы предметов домашнего обихода, шерсть, молоко, мясо...

Исследования в условиях стационара показали массовое радиоактивное заражение обследованного района... Через три года после того деревни переселили на новое место. Озера закрыли для рыболовства на неопределенный срок.

Хромой Крахотин оказался прав...

Палин открыл глаза. Ему показалось, что кто-то вышел на поляну и остановился недалеко от машины. Что-то крупное. Он включил ближний свет. Огромный, очень жирный лось-самец стоял боком к нему. Лось повернул голову в сторону света, потом будто нехотя развернулся и грузной трусцой удалился в чащу, смачно прочвакав копытами. Палин погасил свет. Сердце свежо и остро колотилось в груди, будто он все это, промытое только что мозгом, пережил вчера. Но память завелась и продолжала работать помимо его воли. Он снова закрыл глаза...

...Это была целевая поездка на родственный комбинат по переработке ядерного горючего. Стоял очень жаркий июль. Небо стойко, казалось, навечно установило свое голубое сияние. Воды Черемши ленивым расплавом уходили к далекой Волге...

Знакомились с технологией очистки жидких радиоактивных отходов основного производства. Тогда Палин впервые увидел «черную трубу», очень похожую на их теперешнюю и также откровенно взметнувшуюся над гладью зеленоватой воды.

Объяснял грузный, с солидным брюшком мужик. Лицо его, сильно пористое, было какого-то неопределенного, скорее опалового цвета и казалось отлитым из бронзы. Шея под подбородком оплыла дрябловатым, жирным, плохо выбритым мешком.

— Вот так и живем, коллеги,— басил он,— выпариваем... Из минус четвертой степени варим минус десятую, а пьем мы с вами минус одиннадцатую степень... И вот по этой трубе благодарно отдаем природе... Излишки, разумеется... Остальное — в технологический оборот...

Шедший рядом с Палиным мордатый, с очень черной шевелюрой и седыми, совершенно белыми бакенбардами химик со здешних спецочистных шепнул ему:

— Недавно брали пробу ила... Сколько думаешь, а?

Палин пожал плечами.

— Минус третья... Доложил ему... — химик кивнул на объяснявшего. — Начальник объекта... Приказал пока не высказывать. Обдумаем, говорит. Решим... — Помолчал. Добавил: — Обдумали. Идея что надо. Советую и вам применить... Представляешь? На глубине три тысячи метров у нас тут залегает пористая линза. Отличный подземный резервуар. Насверлили скважин, начали закачку. В радиусе пяти, десяти, пятнадцати и двадцати километров концентрично набурили контрольные скважины. Кидаем туда минус

вторую. Без переработки, разумеется... Удобно. Легко дышать стало. Подали рацуху. Управление одобрило... Попробуйте...

— На контроле что-нибудь обнаружили? — спросил Палин, ощущая бессильный протест.

— На десятом километре уже «запахло»... Но все равно это выход...

— Какими грунтами облегается линза?

— Геологи говорят, если не брешут, — глина. Железная гарантия. Девон и так далее. Есть исполнительная документация...

— А вдруг где-нибудь дыра в девоне? — Палин допрашивал с каким-то непонятным злорадным чувством, будто желал, чтобы эта дыра действительно была.

Мордатый химик с любопытством глянул на Палина. Глаза черные, блестящие, будто лакированные. Очень натянутые носки новеньких лакированных штиблет. Он осмотрелся по сторонам, потом, наклонившись к Палину, сказал:

— После нас хоть потоп... Ты думаешь, легко приходится? С объектов звонят: «Заливаюсь, Ваня, принимай водичку!» А водичка-то минус пятая в лучшем случае, а я, что называется, по уши увяз, выпарка заливается, на ионообменных фильтрах перепад на пределе. Не знаю, как у вас, у меня на здании в самом чистом месте зашкал на втором диапазоне... Ничего фоник?..

— Ничего... — задумчиво ответил Палин, испытав сначала злое чувство к мордату с лаковыми глазами, но затем почему-то ощутил вдруг нахлынувшее безразличие.

— Эти скважинки, я вам скажу, находка... Только замасленные воды не бросайте. Как только масло попадет в песок — чистейшая пробка. Ничем не прошибешь. Буль-буль, с приветом... Две скважины пришлось цементировать.

Они подошли к небольшому очень живописному заливчику на Черемше, поросшему по берегам густым плакучим ивняком. Черная труба длинной консолью торчала над водой. Палин заметил, что по берегам заливчика сидят рыболовы. Берег ошетинился десятками удочек. Кое-где виднелся вялый дымок дневных костерков.

Черная труба пока молчит.

— Ночью начнем... — доверительно сказал мордатый с лаковыми глазами. — Сейчас водичку варим, к ночи подоспеет... В скважину идет дельта, то есть разница... Когда не поспевает выпарка...

— Почему не поставили знаки запрета, не обнесли оградой? Ил, говоришь, минус третья?.. — сказал Палин.

— Босс думает... — кивнул мордатый в сторону объяснявшего. — В лоб попрешь, наколют как букашку. Идеальная технология, говорит, требует сказочных денег. А попробуй их получи. Тю-тю!.. В скандале не заинтересован никто. Но босс думает... — мордатый закурил, хрипло закашлялся. — Но тут и ежу понятно. Трубу ликвидировать как класс. Приварить заглушку. Все сбросы — под землю... Но боссу надо дать подумать и создать видимость принятия решения...

«А рыбка здесь клюет... — подумал Палин, увидев, как совсем недалеко от трубы белобрысый парнишка выдернул довольно большую густерку. — Клюет здесь рыбка...»

...Машина остыла. Палин почувствовал холод в ногах, легкий озноб в спине. Сердце замедлило бег, гулко толкаясь в груди.

«Ах, черт!.. Работа забрала все эти годы. Деньги не в счет. Теперь ясно, что те, не такие уж большие деньги не в счет. В Заполярье на обычной работе не меньше имеют...»

Он вдруг удивленно всмотрелся в себя, ощутив странное безразличие к деньгам, которые его раньше так по-крестьянски притягивали...

«Но был азарт... Всеобщий. Азарт большой игры. Это понимали все... Сначала плутоний, устройство. Взрыв. Бомба. Бомбы. Взрывы! Взрывы!.. И радость... Ах, какая радость! И покой души. Необычайный. Чувство исполненного долга. И постоянно исполняемого. У всех... Правительства с двух сторон земного шара потирали руки. Бомбы. Бомбы... Четырехметровой длины блестящие цилиндрические болванки со стабилизаторами, начиненные плутонием и тринитротолуолом. Пахнущие свежей краской. И рядочками, рядочками на ложементх... Мегатонны... Килотонны...Взрывы... Взрывы... Взрывы... Смысл...

Сколько раз можно взорвать все к чертовой матери?! Двадцать, тридцать раз?.. Сначала азарт борьбы. Победа. Покой души. Смысл... Теперь прозрение, нет покоя. Нет смысла. Новые правительства по обе стороны земного шара ломают голову над тем, как бы не расколоть планету... Что было смыслом двадцать лет назад — бессмыслица сегодня... Ты, Палин, влип. Факт. Соуши — всего лишь эпизод в этой потрясающей игре со смертью... Земля, страны, страна... Россия, Соуши, крестьянский сын Палин, сердце человека... Бьет гулко в грудь... Кризис смысла. Но никогда, пока этот горячий комочек так неистово бьет в грудь, никогда не будет кризиса боли, кризиса властно зовущего счастья, кризиса любви, кризиса благородного гнева! Никогда!..»

— Батя!.. — сказал вдруг Палин вслух. — Твой сын прозрел... И запутался... Любовь же к этой земле вот здесь... — Он приложил ладонь к сердцу. Рука ощущала надрывные учащенные удары грудной клетки. Слово от ладони отскакивал теплый упругий мяч.

«Но пока есть любовь к родной земле, есть смысл! Есть! Жить стоит! Пусть лихорадит эпохи. Пусть сталкиваются лбами и вдребезги разбиваются сиюминутные вспышки смыслов... Жизнь! Я люблю эту землю, люблю Россию!..»

Палин весь горел нетерпением. Включил стартер, но забыл выжать сцепление. Машину тычками потянуло на аккумуляторе...

«Ч-черт!.. Сонмы поколений копошились. Вечный пресс. Жизнь и смерть. Молот и наковальня... Взмах — жизнь. Удар — смерть. Но смысл жизни сегодня — борьба против смерти... Надо успеть...»

Машина, лихорадочно прыгая через кочки, выскочила на асфальт. Палин понесся к дому на предельной скорости, нервно сжавшись в комок.

Давящее ощущение, что времени в обрез, что ничего не успеть, не покидало. Образ гигантского взлетающего и падающего молота, как символ краткотечности жизни и неминуемости смерти, стоял у него в глазах. Ему хотелось задержать эту исполинскую кувалду событий где-то там, наверху, «веревкой, что ли, привязать...», мелькнуло даже у него, чтобы успеть... Успеть...

— Борьба... — шептал он. — Торбин, я с вами не согласен... Алимов, дорогой Станислав Павлович, я буду драться... Хозяин России — народ! Он должен знать все. Я не позволю повторить Соуши...

Пот выступил у него на лбу. Глаза лихорадочно блестели. Машина неслась пулей. Ему казалось, надо быстрее. Педаль газа до упора...

И снова вдруг очень зримо увидел Курчатова тех лет. Бледный, постоянно недосыпавший, с красными припухшими веками. Но неизменно бодрый и сильно возбуждавшийся, когда появлялись неожиданные препятствия...

Помнится, несколько раз терял сознание. Сильные спазмы сосудов мозга. Но, очнувшись, с задором шутил:

— У меня микрокондрашка!

И вновь бросался в гущу событий...

«Не то время, чтобы беречь себя!..» — сквозь годы слышал Палин ответ Курчатова и подумал: «Да, он не боялся нейтронов... Он их породил и первым шел туда, где наиболее трудно, воодушевляя других своим презрением к опасности...»

А в день перед взрывом первой бомбы... Бледное с желтизной лицо, красные глаза. Сидел, тяжело облокотившись о стол, погружившись в раздумья...

Теперь-то Палин знал, о чем думал тогда Курчатов. Он говорил со своей совестью: «Не мы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, не мы начали шантаж тотальным оружием...»

— Не мы... — вторил ему Палин вслух. — Но ядро атомной эпопеи кометой пронеслось через всю нашу жизнь. Хвост этой кометы окутал нас и сделался нашей судьбой...

3

Утром Палин стал будто другим человеком. Осунулся. Подобрался весь.

На блоке атмосфера пуска. Телу передается легкая, еле уловимая дрожь. Воздух, еще не прогретый пока, наполнен множеством разнотональных звуков. В движениях эксплуатационников, одетых в белые, в новых складках лавсановые комбинезоны, экономность и деловитая быстрота.

Но воздух на электростанции еще сравнительно свеж и прозрачен той самой прозрачностью новизны, характерной для перехода от предпускового состояния к пуску.

Все внове. Воспринимается остро и с некоторым удивлением. Достаточно только открыть дверь в любое производственное помещение или бокс, и всего тебя окатит веселым звонким шумом вдруг оживших механизмов и приборов и первыми запахами, теплыми и приторными, красок и разогретого железа. Все это подбадривает, наполняет душу звонкой пружинистой силой и толкает к действию...

Пуск везде, а на атомном энергетическом гиганте особенно — это время, когда нащупываются, уточняются и в первом приближении кристаллизуются технологические регламенты и нормы поведения. Машинисты и операторы еще не до конца чувствуют технологию, не уверены в переходных и аварийных режимах. Это как раз тот период, когда в помещение блочного щита управления станцией, являющееся местом святым и доступным лишь ограниченному кругу лиц, впускаемых по секретному коду, дверь распахнута.

В помещении блочного щита полно народу. Все в белых лавсановых халатах поверх костюмов, в белых же лавсановых чепцах и пластиковых чунях поверх ботинок, хотя в общем-то их можно сегодня и не надевать. «Грязи» еще нет...

Огромный уранграфитовый реактор, мастодонт невиданной дотоле тепловой и нейтронной мощности, — в работе. Идет подъем стержней системы управления защитой реактора (сокращенно СУЗ). Мощность постепенно растет. Достигли уже двадцати процентов от номинала...

Среди группы людей, стоявших в помещении блочного щита вразнобой, правда, за некоторой определенной незримой чертой, как бы отгородившей пространство для действий операторов, — директор атомной электростанции Мошкин, длинный, тощий, совершенно лысый. Лицо и череп равномерно розовые. Виски и лоб взбугрились венами. Он выглядит покрасневшим от какой-то неловкости, и кажется, будто вот-вот попросит извинения. Глаза большие, круглые, черные и тоже будто виноватые. От плоских дряблых щек к шее кожа сходит множеством мелких черепаших морщинок и густо собирается чуть ниже затылка, сходя на шею острыми складками.

Кожа дряблая от облучения, и по затылку особенно видно, как стар этот человек. На вид ему лет восемьдесят, от роду - шестьдесят. Состарили его радиация и чудовищно напряженная работа на первых таежных объектах. Палии знает, что в активе у Мошкина двести пятьдесят официально зарегистрированных рентген...

Его голова возвышается над всеми присутствующими. Он смотрит на полукружие пульта и мельтешащих операторов ровно, без тени оживления на лице, почти равнодушно. Собственно, его роль здесь скоро будет сыграна. Тянуть в эксплуатации такой объект с его здоровьем дело смертельное. И без того мало осталось... И все же вместе с тем он испытывал и удовлетворение. Он нес нагрузку сообразно оставшимся силам. А их хватило лишь на то, чтобы подобрать сильных, честолюбивых и подобострастных заместителей-работяг, главного инженера. И в целом, весьма в целом, контролировать ход дел.

Он смотрел на Алимова, который стоял рядом и был весь как на пружинах, готовый, чувствовалось, ринуться и, отстранив операторов, сам схватиться за ключи управления.

Заместитель начальника смены АЭС Сошников. Он в центре. У него в оперативном управлении контур многократной принудительной циркуляции с восемью мощными насосами, промежуточный контур охлаждения, система байпасной очистки теплоносителя (частичный отбор воды из реактора на очистку от активности с возвратом назад) и барабан-сепараторы, в которых происходит отделение пара от воды. Но сейчас он контролирует и правый пульт, на котором «висит» весь машинный зал с двумя турбинами...

Сошников явно нервничает. Уровни в барабан-сепараторах правой и левой стороны пошли враздрай. Левый уровень почти на максимуме, правый — вот-вот уйдет из поля зрения.

Лицо у Сошникова темно-малиновое, скуластое, мясистое. Из-под чепца торчат слипшиеся от пота, редкие пряди.

«У него интеграл сто пятьдесят рентген...» — подумал Палин, глядя, как Сошников метнулся к ключу управления третьим ГЦНом (один из главных циркуляционных насосов, прокачивающих воду через атомную активную зону). Тревожно крикнул:

— Падает давление! Ч-черт!

В это время где-то высоко над головой заухали гидроудары. Все задрали головы к потолку, но, кроме перфорированных, низко подвешенных акмиграновых плит, ничего не увидели.

Алимов судорожно нюхал воздух. Весь нетерпение.

— Что произошло, Сошников?!

— Прошу не мешать! — рявкнул тот, усиленно работа; ключами управления и приказав старшему инженеру управления реактором снижать мощность.

«Клоц! Клоц! Клоц!» — вторили ключи каждому нажатию руки оператора.

— В чем дело?! Почему снижаете мощность?!

Алимов выскочил за незримую запретную черту, подскочил к Сошникову и дернул его за рукав. Тот неожиданно бросил ключи управления, повернулся к группе стоящих у закричал:

— Кто здесь ведет режим?! Я или главный инженер?! Или, может, директор электростанции?! Прошу!.. — Он отступил, решительным жестом предлагая главному инженеру Алимову занять свое место.

Мошкин неожиданно громовым басом приказал:

— Всем посторонним покинуть блочный щит! — и сам первый направился к выходу.

В помещении блочного щита управления кроме операторов остались заместитель главного инженера по эксплуатации и зам главного по науке.

— Долбает в деаэраторе... — сказал Алимов Мошкину уже в коридоре, беспокожно нюхая воздух. Он выглядел растерянным.

— Имейте такт не вмешиваться не в свои дела, — сказал Мошкин и пошел прочь.

В это время тревожно загудели ревуны на блочном щите. У Алимова побелело лицо. Он пулей влетел в помещение. Сработала аварийная защита реактора. Мошкин даже не повернулся, не дрогнул. По-стариковски шаркая чунями по желтому пластиковому полу, вышел на площадку в далеком торце стометрового коридора, хлопнув дверью.

Палин вошел в помещение блочного щита управления вслед за Алимовым. Тот уже стоял вплотную к Сошникову, рядом зам главного по эксплуатации. В глазах Алимова и его зама воинственная пытливость. Сошников стирает рукавом лавсанового комбинезона пот с распаренного крупнопористого лица.

— Крышка!.. Три ГЦНа хлопнулись... «Полетели» гидростатистические подшипники... Свакуумировались (подсело давление) деаэраторы, упало давление в сепараторах пара и на напоре главных циркуляционных насосов. Такие дела... — Он непрерывно то одним, то другим рукавом вытирал пот.

Алимов стал панически бегать вдоль помещения блочного щита, делая стремительные нырки головой то вправо, то влево.

— Ну ты даешь! Ну ты даешь, Сошников! Ну, варвар! Сразу же, с первого захода, заколбасил аварию... Пиши объяснительную! Сегодня приезжает начальник главного управления Торбин. Подарочек ты ему уготовил... Ну ты даешь!

— Чего даешь?.. — Сошников перестал отирать пот. — Чего даешь, Станислав Павлович?.. Как пускаемся? Спешка... В таких условиях, когда блок к пуску не готов, я охотно уступлю вам свое место... Первый такой блок в мире... Еще не то будет... Так и скажите Торбину... А я плевать хотел!..

— Ну ты даешь! Ну ты даешь! — колготился Алимов и вдруг взорвался: — Срочно начальника цеха централизованного ремонта (сокращенно ЦЦР) ко мне! Готовьте контур к замене выемных частей насосов! Расхолаживайтесь! Нет, вгорячую... — и выскочил.

Палин прошел по новенькому, светло-желтому еще пока пластикату деаэраторной этажерки на щит дозиметрии. Сам проверил активность по боксам. Всюду норма. Даже фон не «пронюхивается». Обошел все дозиметрические помещения, проверил работу газодувок, непрерывно прокачивающих воздух боксов через контрольные дозиметрические фильтры.

«Рано еще активности быть, не наработали...» — думал он, убедившись в полной отлаженности и правильном включении оборудования вверенной ему службы. Шефмонтеры возились еще, правда, с системой «Брусника», с помощью которой предполагалось вести непрерывный контроль активности выбросов в вентиляционную трубу. Просят еще неделю...

Палин справился у радиохимиков об активности теплоносителя — минус шестая степень.

Для начала неплохо. Звонок от химиков: фильтры байпасной очистки (частичный отбор воды из реактора на очистку от продуктов коррозии и активности с возвратом назад) успели уже «поднабраться». Уровнемеры еще не работают. Переносным малогабаритным радиометром по нарастаю гамма-активности измеряют уровень в фильтрах...

Позвонил в машзал. Старший машинист турбины — Палину:

— Гидроудары... Свакуумировались... Резко подсело давление в деаэраторах... Поломок нет... Слава богу!.. Вовремя «шлепнулась» аварийная защита реактора. Видимых аварийных течей нет...

Звонок от радиохимиков:

— Активность дренажных вод в прямках — минус одиннадцатая.

«Активность питьевой воды, — подумал Палин. — Добро...»

Палиным владело полное и сосредоточенное спокойствие. Начало многообещающее. Ухо надо держать остро. Черная труба над морем молчит. Оттуда только что звонили — он обеспечил непрерывное дежурство дозиметриста.

Звонок от Алимова:

— Приехал Торбин. В пятнадцать ноль-ноль тебе быть на заседании пускового штаба...

Закрутилось... Еще раз перебрал в памяти готовность отдела радиационной безопасности к пуску.

Санпропускники переполнены... Тысяча шкафчиков. Мало. Выставили еще тысячу в коридорах деаэрационной этажерки... Проектировщики «махнули». Не учли, что идет монтаж второго блока, плюс командированные монтажники, представители науки, непредвиденное... Составлена картограмма радиационно-опасных мест. Пока в первом приближении... Организованы саншлюзы... Хорошо поработали фотометристы: индивидуальные фото- и оптические дозиметры заведены на каждого и находятся в ячейках... Проверены от искусственного источника все датчики контроля нейтронного и гамма-излучений. Сигнал проходит отлично... Проверка всех вакуумных систем аэрозольного и газового контроля окончена. Нормально...

Звонок от Пряхина. Начальник реакторного цеха. Старый кадр. Ветеран бомбовых аппаратов. Голос пропитой.

— Владим Иванович, привет! Через час допускаемся на главные циркуляционные насосы. Замена выемных частей. Обеспечь допуск. Зайдут мои хлопцы...

— Все сделаем,— ответил Палин и подумал: «Началось...»

Вошел заместитель Палина Федосов. Крупный, сбитой. В движениях закрепощен. Кажется, что принужденно сутуловат. Мятое, очень крупное скуластое лицо боксера. Расплюснутое переносье. Говорит, что это от природы. Боксом никогда не занимался. В черных глазах страдание: болят суставы рук и ног. Голос от боли тихий, скрипучий. Старый кадр. Ветеран бомбовых аппаратов. Врачи ничем не могут помочь. Лечится у какой-то знахарки...

За ним вошел Абдулхаков. Старший дозиметрист по дневной смене. Веселый, подвижный, весь плоский. Лицо по-восточному широкое, очень сухое. Кажется, на блестящих скулах вот-вот лопнет кожа. Большеротая щербатая улыбка предваряет почти любую фразу. Сейчас тоже улыбается. Говорит:

— Допускаем в боксы главных циркуляционных насосов, Владимир Иванович... Ремонтников и реакторный цех. Наряд на открытие работ есть. Дозиметрический допуск я оформил... — Голос гортанный, с легкой хрипотцой. Глаза весело искрятся.

Палин встал.

— Первый допуск проведем вместе.

Пошли. Федосов торопился за ними, прихрамывая. Глыба. Кажется, изваян из камня. Идет быстро, но тяжело.

Толстые защитные чугунные двери в боксы насосов открыты. Пышет жаром. Запах духоты, разогретой эпоксидной краски и еще чего-то, кажется, высыхающей изоляции. Монтировали сырую. Валялась под дождем...

В боксах мощная вытяжка. Сильно тянет в проемы дверей холодный воздух из коридора. У двери активность десять миллирентген в час...

Федосов одновременно с Палиным вошел в бокс. За ними Абдулхаков. По телу шибануло горячим воздухом. Терпеть можно.

— Хорошее тепло... Пропаришь кости... — сказал Абдулхаков Федосову и дружески похлопал его по мощному плечу.

— Да... — сказал Федосов, вяло улыбнувшись. — Парил уже не раз. Без толку...

Замерили активность. По гамма — полнормы. Прокачали воздух. Аэрозолей нет. Пока.

— Респираторы «Лепесток-двести» все равно обязательно, — сказал Палин Абдулхакову.

Слышно журчание дренируемой воды. Удовлетворенно отметил: «Стало быть, задвижки на всасывающей линии и напоре насосов уже закрыты. Быстро. Старая школа... У порога саншлюз — противень с мешковиной, смоченной в контакте Петрова (дезактивирующая смесь керосина и кислот)... Все нормально...»

Допускайте. И непрерывный контроль по ходу работ. Обстановка после разуплотнения резко изменится... Отклонения докладывать мне. А сейчас, за исключением допускающего, сбор всего личного состава службы в помещении щита Дозиметрии.

Палин отметил в себе новое состояние, владевшее им не отвлеченно, само по себе, но в приложении к делу. Раньше было иначе. Он работал как заведенный. Больше автоматизма. Формальной стороны долга, что ли... Отметил жадность, придирчивость к себе и своей профессии, обретшей вдруг для него неожиданный социальный смысл. И постоянную мысль о возможных последствиях.

Наблюдая, как один за другим входят дозиметристы, думал, что опытных ветеранов на станции мало. Четверо. Двадцать человек, правда, с атомных подводных лодок. Демобилизованные матросы. Народ молодой, но четкий. Остальные новички. Стажировались на действующих АЭС. Но еще зелены. Обкатаются...

Он безжалостно подавил в себе едва проклюнувшееся сомнение. Снова сомнение... Привычная обстановка радиационно-опасного объекта настраивала на старый, чисто исполнительский лад.

«Устал... Устал... Наверное, устал...» — подумал он. Несколько отрешенно, будто размышляя вслух, произнес:

— Товарищи дозиметристы! Пуск состоялся. Первый блин комом. Как всегда. Но авария — это первейшая и самая главная проверка нашему отделу. Нашей готовности. Я хочу, чтобы вы поняли главное, что есть наше призвание. И оговоренное инструкцией, и общечеловеческое. Мы с вами призваны не допускать переоблучения, а где возможно, и облучения вообще. Я прошу вас запомнить это. Я хочу еще сказать, что дозиметрист это око, недреманное око Природы, открывшей человеку свои опасные тайны. Проникнитесь, я прошу вас, этим чувством. Это с самого начала очень важно...

Он видел по лицам подчиненных, что доходит, что его слова приняты и что он им, ну, приятен, что ли... Слитность с ними ощутил. Раздражение сникло, и он легче вздохнул.

— Вас ждут везде. И вместе с тем помните — ухарство свойственно человеку. Молодому особенно. И известная застенчивость в проявлении осторожности. И здесь вы ответственны вдвойне. И на вас тайная надежда: «Не проглядит». И тайный же упрек вам, если переоблучение состоится. И тут уж, конечно, упрек будет не только тайный, но явный... Ко всему, о чем говорено было нами раньше, я хотел добавить это... Вы свободны, товарищи!

Все стали расходиться по рабочим местам. Вошел начальник реакторного цеха Пряхин. Лицом здорово схож с Львом Толстым: лоб, кустистые брови, в глубоких провалах глазниц небольшие серые глазки, длинный широкий нос. Может быть, лицо только чуть пошире и массивней подбородок. Он в лавсановом, в свежих пятнах ржавчины и краски комбинезоне, в белом чепце. Шея мощная, короткая и кажется несколько сдвинутой к груди. Голова наклонена вперед. От него всегда несет легким запахом спирта. Лицо вечно озабоченно, даже вне работы. В глаза не смотрит. Изредка только стрельнет взглядом. И снова мимо. На правой ладони незаживающий радиационный ожог. Видно розовое мясо. По краям раны желтоватая короста. Здоровается. Хват мощный. Короста царапает Палину ладонь. Говорит коротко, отрывисто. Голос сиплый, пропитой.

— Володя, допуск есть? — И стрельнул в глаза Палину. Во взгляде отрешенность.

— Есть, — ответил Палин, думая: «Вот такие мы... Здоровущие, кряжистые... На этом и вылезли, продержались, выжили... От земли эта сила... От земли...»

— Ну, лады... Кто обеспечивает? — спросил Пряхин.

Во всем теле его разлапистость и сила могучего дуба. Кажется, что все впитанные рентгены не причинили ему никакого вреда.

— Абдулхаков.

— Ну, лады... Будь. Предстоят тяжкие сутки. Наша песня хороша, начинай сначала... Тайгу не забыл?

— До смертного часа...

— То-то... — мелькнула ухмылочка. — Такая наша планида... Торбина помнишь?

— Да.

Ушел. Вскоре после его ухода вбежал Шаронкин. Начальник радиационно-химического цеха. В лавсановом белом халате поверх костюма. На голове плешь не плешь, так, пушится. На ногах тапочки в калошах. Интеллигент. Длинноногий. Баскетболист. Кропает стихи. Суетлив. Внезапно рассыпается бисером скороговорки. Лицо мятое, розовое. От облучения странные морщины. Со скул вниз кожа сходит несколькими рядами застывших наплывов. Будто тронулась вдруг накатистыми волнами и заформовалась.

— Владимир Иванович, салютик, физкульт-привет и наше вам!

«Ветеран бомбовых аппаратов...» — думает Палин, здороваясь с ним за руку и невольно сравнивая с Пряхиным.

— Дела, дела, дела... — продолжал Шаронкин. — Порошок ионообменной смолы на фильтрах очистки уже «насосался» активности. Если так пойдет дальше... Плохо промылись после монтажа... Быстрая активация продуктов коррозии... В теплоносителе много железа. Пока три нормы. Если так пойдет, дня через три придется выгружать

Шаронкин сел, закинув ногу за ногу. Оголилась голень, поросшая густым серым пухом. Крутит головой вверх, вниз, вправо, влево. Взгляд не фиксирует. Непроизвольно хватается то одной, то другой рукой предметы со стола. Схватил дырокол. Непрерывно щелкая, продолжил вдруг, перестав вертеть головой и в упор глядя на Палина:

— Некуда выгружать... А?... От нее, смолушки, через три дня засветит рентген пять в час. Что делать, Володя?

— Не знаю... — задумчиво ответил Палин. Шаронкин показался ему сегодня каким-то особенно раздерганным. Лет пятнадцать назад куда собранней был.

«Да-а... Сдаем потихоньку... Нервишки-то иссечены нейтронами и гамма-лучами. Чего уж тут...»

Шаронкин снова завертел головой.

— Есть тут у нас две емкости по двадцать пять кубов каждая. На узле десорбирующих растворов (растворы дезактивации). Без люков, правда, но с линией продувки реактора соединены. Пока только отсечной арматурой, но возможность есть... Как, а? Разрешаешь?

— Не понял, что разрешать...

— Хранение радиоактивного фильтропорошка после выработки ресурса. Установка регенерации не готова, сам знаешь... Но учти, разрешишь, в помещение не войти... И мимо тоже не набегашься. Дверь там тонкая, фанерная... Как?... — В глазах Шаронкина заиграли искорки смеха.

— А если не разрешу?

— Алимов разрешит, — Шаронкин рассмеялся. На лице конфуз.

— Зачем тогда ко мне пришел?

— А так, потрёкать... А что, Вовик, ничего ситуашка? А? Торбина помнишь? Начальником смены во втором заводе был...

— Помню.

— Попер. Ничего не скажешь... В какие-нибудь восемь лет. Везет же людям — в начальники главков вылазят. А здесь не знаешь, куда смолу радиоактивную девать, атомную станцию без спецхимии пускать... Куда дебалансные воды девать будем, а? — Шаронкин перестал вертеть головой. Заговорщически запел: — Раскинулось море широко... — расхохотался. Быстро-быстро защелкал дыроколом, встал. — Ну будь. Я двинул. В пятнадцать ноль-ноль — на палас... И пошел танцующей походкой.

«Я тебе дам море...» — мрачно подумал Палин.

...Пятнадцать ноль-ноль. Собрались в конференц-зале за длинным столом заседаний. Начальники цехов, отделов, начальники смен АЭС, Харлов, Алимов, заместители главного.

Торбин опаздывает. Нет директора. Палин чувствует, что заранее настроен на сопротивление. На душе пасмурно.

«Ребята фактически не прозрели. Спят... — думает он о ветеранах бомбовых аппаратов. — Добросовестные работяги. Сегодня этого уже мало... Мы атомщики. Мы не просто люди. Забором не отгородишься... Но у них в душе забор. Колючая проволока. Да-да... Эффект колючей проволоки... «После нас хоть потоп», — вспомнил вдруг мордатого химика. Внутри можно все, а что будет за оградой, пусть отвечает министр... А впрочем, чувство иное... Рассосется. Мир велик... Да-да. Это чувство...»

Палин глянул на ветеранов. Основательные парни. Но сдали. Бомба никого не жалеет... Даже когда не взрывается. Но они чистейшие реакторщики. Мошкин дал маху. Тут не таежный самовар. Энергетический гигант... Машзала не знают... Начальник турбинного цеха тоже из тайги, но с «хвостовой» ТЭЦ. Не те масштабы... Вон сидит, очкарик. Маленькая головка на длинной шее. Беленький воротничок. Весь с иголочки. Со стороны — чистейший профессор... Посмотрим...

Пол покрыт голубой латексной дорожкой. От нее остро пахнет химией. Сушит носоглотку. Палин глотает слюну.

Стремительно входит Торбин. В сером костюме. Пиджак расстегнут. От быстрого движения длинный модный галстук отбрасывает с упитанного живота вправо. В руке алая папка.

— Здравствуйте, товарищи!

С ним Мошкин. Волнуется. Порозовел. От волнения складки на шее несколько расправились. Всех интересует Торбин. Фантастический прыжок по службе. При весьма средних данных.

«Умел молчать... — вспоминает Палин. — Умеренно скрытен. Не выделялся. И все же... Женился на чьей-то дочке... Говорили... Представителен. Не отнимешь. Родился с лицом руководителя. Тогда уже видно было, что птичка с крылышками. Тяготел к начальству. С равными был несколько свысока фамильярен. Держал дистанцию. Металл в голосе сдерживал, но порою проскакивало... А теперь куда там! Дребезжит и переливается всеми нотками. Собственно, выработался вполне четкий заурядный тип руководителя. Продукт времени... Такие, может, и нужны для порядка. Однако по крайности можно и обойтись. Сегодня тянет работу весьма квалифицированное в технике низшее и среднее звено. Бесспорная заслуга нашей системы. А что, если бы руководители — таланты, гении? Вот прибыли-то было государству!...»

Торбин сидел на стуле артистически вольно, откинувшись на спинку. Лицо квадратное, холеное, тонкокожее, со следами когда-то сильного, но сейчас поблекшего румянца. Глаза

отрешенные. Светло-серые. Взглядом уперся в столешницу. Волосы очень тонкие, пепельные, рассыпаются. Он то и дело поправляет их растопыренной пятерней. Заговорил холодновато, сидя все в той же вольной позе. Металл в голосе.

— Я, товарищи, крайне удивлен столь необычным началом. Извините, но в первый же день пуска на уникальном энергоблоке угробить три насоса...— он поднял вверх белую руку с вытянутым указательным пальцем, потряс ею,— стоимостью полмиллиона каждый! Уму непостижимо! Прошу директора объяснить причины...— Торбин слегка взбычил голову, наморщил лоб и вытаращил холодные глаза. — Объясняйте! — И сел пряменько, положив обе руки на стол перед собой. На лице деланная наивность. — Объясняйте...

Мошкин покраснел, засуетился, но вдруг нашелся, пробасил:

— Алимов доложит...

Алимов в это время будто нюхал воздух перед собой, часто и мелко кивая кому-то головой.

— Харлов проанализирует... Начальник производственно-технического отдела...— шепнул Мошкину Алимов и налился густой кровью.

Торбин холодно улыбнулся, несколько раз крест-накрест рассек ладонью воздух, иронически произнес:

— Харлов, Марлов... Мне все равно... Анализ!..

Харлов встал. Черные волосы рассыпались по бокам, образовав белый пробор посередине.

— Сидите,— небрежно разрешил Торбин.

Харлов сел и дольше положенного молчал.

— Собственно, причиной всего, — начал он, — неотработанность режима... Вернее, тут был переходный режим...

— Вот-вот, переходный, — вклинился в разговор Алимов.

— Дайте же человеку сказать! — вытаращился на Алимова Торбин.

Маленькими ручками Харлов подобрал волосы, но они снова упали по сторонам.

— Мы слишком долго работали на переходном режиме. В этом все дело... Режим переходный, и его надо проскакивать быстро...

— В чем же, извините мою тупость,— Торбин постучал себя кулаком по лбу, — дело? — И обвел всех удивленными холодными глазами.

— Дело в том, что турбина к этому времени к пуску не была готова... Все дело в этом... Мы старались продержаться на мощности, превратив переходный режим в стационарный, но...

Торбин уже не слушал, перебил:

— Товарищи! Страна испытывает нефтяной голод. Прошу это зарубить себе на носу! Пуск энергоблока мощностью миллион киловатт экономит стране два миллиона тонн нефти в год!.. Передо мною, надеюсь, собрался весь командный состав электростанции?

Алимов и Мошкин усиленно закивали.

— Да-да, Сергей Михайлович.

— Я хочу сегодня послушать каждого... Каждого начальника цеха, отдела, службы о степени готовности. Только в этом случае я со спокойной совестью смогу доложить министру... Товарищи! Еще раз подчеркиваю — немедленный успешный пуск вашего миллионника насущно необходим!.. Пожалуйста, начинайте... Вы первый? — Он указал рукой на Пряхина. Тот встал.

— Пожалуйста, сидите...

Пряхин сел. Представился:

— Начальник реакторного цеха Пряхин.

— Пряхин, Пряхин...— Торбин возвел глаза к потолку.— Бомбу варил?

— Варил...

Торбин удовлетворенно кивнул.

— Варил бомбу... А теперь здесь варим... Готовность?.. — Лицо Пряхина приняло выражение большей озабоченности, толстовские брови шевелились. — Блок-то пустим. Дело не в том... Плохо готовы, вот что... Имею в виду оперативный персонал. Весь состав цеха до момента пуска осуществлял курирование монтажа. Учиться было некогда...

— Плохо, — оценил Торбин. — Пустишь?..

— Пущу, но за возможные последствия ручаться трудно. Дальше... На восьмидесяти процентах арматуры не смонтированы электропривода. Придется крутить ломиками вручную. Известно, электропривод закрывает некоторые задвижки до четырех минут... Сколько же будет крутить рука?.. Я уж не говорю о невозможности задействовать все блокировки... Электрифицирована в основном арматура, участвующая в защитах...

Лицо Торбина несколько озаботилось.

— Ну, здесь ты перегнул... Пускали и не такие объекты...

— Нет, такие не пускали. Этот первый.

— Еще?

— Еще... Будем пускать, что еще... Будем пускать...

— Следующий, — попросил Торбин.

— Начальник турбинного цеха Дрозд.

— Дрозд? — переспросил Торбин.

— Дрозд...

— Ну, хорошо, товарищ Дрозд, мы вас слушаем.

— Только что доложили шефмонтеры, — с некоторым волнением в голосе начал Дрозд, — регулятор скорости и стопорно-дроссельный клапан отлажены. Машина к пуску готова. В остальном по персоналу и арматуре те же замечания... Не знаю, как химики будут загружать смолой фильтры конденсатоочистки... Задвижки там диаметром восемьсот миллиметров... Вручную крутить шесть часов каждую, а их сорок...

Торбин расслабился, забарабанил пальцами по столу.

— Но... самое страшное — будем пускаться без автоматики. Ни один автоматический регулятор не налажен...

— Где вы работали раньше? — спросил Торбин.

Дрозд заморгал глазами. После продолжительной паузы ответил:

— На ТЭЦ...

— Атомных станций не знаете?

— Нет.

— Хорошо, следующий.

— Начальник радиационно-химического цеха Шаронкин...

Торбин снова глянул в потолок.

— Бомбу варил?..

— Варил бомбашку, а как же... Было дело под Полтавой... Варили бомбашку, хе-хе...

«Понесло», — подумал Палин.

— Серьезней! — прервал Торбин.

— А что серьезней?! — Наплывы кожи на лице Шаронкина налились алой кровью. — Что серьезней?.. Блок спецхимии монтажом не готов...

— Ну и что? — Торбин смотрел на него строго, во все глаза. И вдруг взвился. — Что это вы из себя юродивого строите?! Говорите, куда будете девать дебалансную воду?! Кто будет варить воду?..

— Не знаю...— Шаронкин усиленно вертел головой, явно вызывая раздражение Торбина.— Блок монтажом не готов, и этим все сказано...

Почему так непозволительно затянулся монтаж? — обратился Торбин к Алимову и Мошкину, но Шаронкин, перестав вдруг вертеть головой, упредил ответ главного инженера.

— Поздно, слишком поздно поставлено оборудование, Сергей Михайлович.

— Кто виноват?

Шаронкин перешел в наступление.

— Кстати сказать, ваш предшественник, замминистра Мармонов, вплотную занимался этим вопросом... И на этом самом стуле... умер, ведя, как и вы сейчас, заседание штаба...

На мгновение в конференц-зале наступила тягостная тишина.

— Что вы мне зубы заговариваете?! — Торбин впервые покраснел, но нашелся.— Я умирать не собираюсь... А вы ведете себя нагло... Хотите показать, что никого и ничего не боитесь? Анархист?.. Не советую... — и обратился к Мошкину: — Что сделано для организации слива дебалансных вод?

Мошкин повернул голову к Алимову. Тот вскочил как ужаленный.

— Сергей Михайлович, все предусмотрено, все предусмотрено... От блока к морю протянули трубу-четырёхсотку. И от насосной техводоснабжения тоже. Будем разбавлять активные сбросы до минус девятой и в море... Все предусмотрено...

Торбин, подперев рукой подбородок, навалившись грудью на стол и несколько запрокинув голову, внимательно и с интересом смотрел на Алимова. В глазах его попеременно сквозили то сочувствие, то легкое недоверие.

— Скажите,— прервал он Алимова,— а согласующая подпись Саннадзора на сброс есть?

— Нет,— ответил Алимов,— но будет. По телефону договоренность имеется...

— Оказывается, вопрос решен...— повернулся Торбин к Шаронкину. И хотел еще что-то сказать, но Палин прервал его.

— Нет! Вопрос не решен,— Палин встал, громко отодвинув стул. Сердце колотилось. От волнения острее ощутил неприятный запах паласа.

Теперь стояли двое: Алимов и Палин. Торбин снова небрежно помахал туда-сюда ладонью и ехидно спросил, почти пропел:

— Может, кто-нибудь один?..

Палин стоял и удивлялся себе, своему состоянию. Еще каких-нибудь несколько дней назад он с известной робостью входил в кабинет к Алимову или Мошкину. Теперь же стоит перед начальником главного управления полный решимости высказаться до конца. И ничего... Вот ведь как вышло... Черная труба все перевернула в душе. И впервые появилось чувство хозяина. Чувство ответственности не только за порученный участок работы, но и за всю родную землю, и за людей, живущих на этой земле...

Серые глаза его возбужденно блестели. Светлый чуб съехал на лоб. Волна волос на затылке, над воротником, остро вздыбилась. Он ощутил легкую стесненность дыхания и, в упор глядя Торбину в самое дно глаз, твердо, даже с угрозой сказал:

— Говорить буду я!

Алимов сделал какой-то протестующий дугообразный нырок головой и, покраснев, сел, возмущенно глядя на Палина.

Палин еще некоторое время открыто смотрел в глаза Торбину, пытаясь уловить и в глазах, и в лице его хотя бы малейшую мимолетную тень или движение мускула от узнавания его, Палина. Вместе ведь работали в одной смене и на одном заводе целых два года. Но тщетно... Глаза и лицо Торбина мертво застыли.

«Ничего...— зло подумал Палин. — Сдеру я с твоей морды маску...»

— Я вас слушаю, — холодно сказал Торбин. На лице не дрогнул ни один мускул. — Слушаю...

— С точки зрения радиационной безопасности блок АЭС к пуску не готов! — твердо сказал Палин, следя за выражением лица начальника главка. — Во-первых, я категорически против слива радиоактивной воды в море! Категорически!

Алимов наклонился к Мошкину и, усиленно нюхая воздух, подобострастно, это было видно по его лицу, что-то сказал тому.

Лицо Торбина словно бы слегка обрюзгло и потемнело.

— Это во-первых... — продолжал Палин. — Никаких сливов в море! Необходимо подналечь и форсированно завершить подготовку блока спецхимии к пуску. Иного пути нет... Во-вторых... — Палин ощутил в груди легкость и свободу, будто скинул с себя тяжкий груз.— Не готова монтажом установка подавления активности выбросов и тоннель, связывающий радиоактивный выхлоп от эжекторов турбин с вентиляционной трубой. Стало быть, сброс радиоактивных газов будем производить на «конек» крыши... Факел радиоактивных благородных газов, аэрозолей и прочее накроет территорию промплощадки и создаст неблагоприятную радиационную обстановку на близлежащих пространствах... В-третьих... К слову, и как упрек проектировщикам — роза ветров в сторону жилпоселка... Что касается отдела радиационной безопасности, то личный состав службы обучен и к пуску готов. По оборудованию все отлажено и в работе, кроме установки «Брусника», которую до сих пор никак не могут отладить шеф-монтеры и наладчики. Установка крайне необходима, ибо должна обеспечивать непрерывный контроль активности выбросов. В случае, если установку к готовности блока не отладят, придется проводить замер примитивным способом посредством ручного отбора проб газа после эжекторов...

Палин замолчал и, переведя дух, отметил, что глаза Торбина и все лицо его набухли кровью по-настоящему впервые за все время совещания.

«Ну-ну... — мысленно подбодрил его Палин. — Сергуня...» Так Торбина называли в смене, но он не терпел уже тогда подобной фамильярности и при этом сердито пыжился.

«Не признаешься, значит...» — Палин ожидал, что Торбин вот-вот взорвется. Но Торбин не закричал, нет. Он как-то вдруг расслабился и выразительно вздохнул. Видимо, наглость Палина ошеломила его и заставила затаить дыхание.

«И про бомбашку не спрашивает, стервец... — у Палина закипало в груди. — Ну, вали же, чего скис?...»

Палин выразительно, не скрываясь и даже с некоторой насмешкой глядел ему прямо в глаза.

Торбин заговорил тихо, принужденно спокойно, но в дыхании и голосе затаилась ярость.

— Скажите, товарищ... — Мошкин с готовностью подсказал. — ...товарищ Палин... С каких это пор вы стали таким чистоплюйчиком?

«Прикидывается, что не знает... Эх, Сергуня...» — Глаза Палина смеялись.

— Вы что, не работали на таежных самоварах?

— Работал.

— Не знаю... Значит, нет... Вы коммунист?

— Коммунист.

— Так какое же вы имеете право расхолаживать коллектив, проникнутый готовностью к пуску? — Голос Торбина был еще тих, но мало-помалу обретал металлический оттенок.— Какого черта?! — вдруг рявкнул он.— Кого вы пугаете?! Вы не туда попали, товарищ Палин. Грязью вы тут никого не испугаете!

— Знаю. Но тем более...

— Ничего вы не знаете! — Глаза Торбина метали молнии. — Я запрещаю, слышите, запрещаю вам деморализовывать персонал! Вы меня поняли?!

— Вполне.

— Как коммунист вы должны знать, сколь важен стране ваш миллион. И я требую от всех...— Торбин постучал указательным пальцем по столу,— требую от всех дисциплины и полной отдачи сил! — Начальник главного управления быстро и пытливо посмотрел на Палина, будто пытаясь понять, сколь серьезны его намерения стоять на своем.

— И, тем не менее,— сказал Палин,— мы, атомщики, несем ответственность перед людьми, перед Природой...

— Ну и никто тебе не запрещает. Неси, ради бога, но пускай станцию. Все! — Торбин пристукнул ладонью по столу.— За работу, товарищи! Прошу остаться директора, главного инженера и его заместителей.

«Каков циник...— подумал Палин и усмехнулся. — Ладно, поживем увидим».

4

Позвонил Абдулхаков. Кричит, запыхался. Говорит, вскрыли все три главных циркуляционных насоса. Сильно парит. По аэрозолям три нормы, работают в лепестках. Выемные части насосов опустили в транспортный коридор, и Пряхин дал команду везти их без дезактивации в блок вспомогательных цехов для ремонта. Я, говорит, ругаюсь, запрещаю... Пусть поднимает назад в насосный зал, дезактивирует смесью лимонной и щавелевой кислот. А он мне говорит — я тебе сейчас клизму из лимонной кислоты сделаю...

Палин позвонил в будку военизированной охраны. Приказал не открывать ворота транспортного коридора. Через некоторое время звонок от Пряхина. Матерится. Говорит, что в мастерской блока вспомогательных цехов есть контейнеры. Насосы спрячут в контейнеры и отправят на завод для ремонта. Своими силами не справиться. Ты, говорит, Палин, не пуп, а работу стопоришь. Смотри, морду намылим сообща.

— Мыль! — крикнул ему Палин. — На гидравлических частях насосов семьсот пятьдесят тысяч по бетта! Ты что, в своем уме?!

— Умник! — огрызнулся Пряхин. — Шибко образованный стал... — И бросил трубку.

Позвонил Абдулхаков. Сказал, насосы поднимают в центральный зал. Будут мыть над шахтой ревизии.

«Подействовало...» — удовлетворенно подумал Палин.

...Притащили со склада новые выемные части. Приступили к установке...

Звонок от Шаронкина:

— Владим Иванович! Салютик, физкульт-привет и наше вам! Довожу до сведения... Вопреки и супротив... Но ничего не могу сделать... С разрешения Алимова и при поддержке тяжелой артиллерии, то бишь Торбина, приступаю к гидровыгрузке ионообменных смол из фильтров байпасной очистки в те самые двадцатипятикубовые емкости... Ничего не могу сделать... Смола насытилась. Активность — неважно... Наше вам! Прошу дозиметриста... Срочно!

Палина обожгло гневом при мысли о Торбине.

«Но отвечаю я... Сброс радиоактивных смол на узел десорбирующих растворов превратит в нерабочие сразу три больших помещения и очень людный коридор на отметке минус пять и восемь... Но... Пока делать нечего... Пойдет Проклов. Матрос с атомной подлодки. Худ, бледен. При медосмотре — беспокойная кровь — скачет по лейкоцитам... Служил в

реакторном отсеке. Трюмный. Очень основателен. Сказал, никуда теперь не пойдет отсюда. На атомном деле и подохну, говорит... Последний анализ — кровь в норме...»

Вызвал Проклова. Приказал:

— Оформить допуск. Организовать саншлюзы — противни с мешковиной и контактом Петрова. Знаки радиационной опасности. Обход радиоактивно опасных помещений. Производство работ только по бланку переключений, подписанному начальником смены АЭС и Шаронкиным.

Проклов ушел. Палин подумал, что здесь можно пока быть спокойным.

Позвонил на блочный щит управления. Там уже начали подъем мощности. Пока на естественной циркуляции и до десяти процентов от номинала. Замначсмены говорит, что Алимов и Торбин почти непрерывно на проводе. Торопят. Работы по главным циркуляционным насосам будут завершены к утру. Будут ждать насосов на режиме естественной циркуляции.

Палин пошел в обход по электростанции. Через коридор деаэраторной этажерки прошел в машзал. Кругом полно народу. Особенно на отметке дистанционных приводов арматуры. Много солдат-стройбатовцев. Вручную крутят задвижки. Выставляют в исходное положение. Кое-где есть маховики. Но в основном крутят гаечными ключами, наращенными газовой трубой. Меньше эксплуатационников в свежеизмазанных лавсановых комбинезонах и чепцах. Лица красные, потные. Крутят давно. Крутить еще долго, не менее трех часов.

В машзале прохладно. Пахнет холодным железом и пластиком. Еще сыростью. Несет с низовых отметок. Слышен лязг железа.

Спустился на нулевую отметку в бокс конденсатоочистки. Завершают загрузку в фильтры ионообменных смол. Загружают прямо через люки, индивидуально в каждый фильтр. Гидрозагрузка не отлажена. В боксе холодно. На желтом пластиковом полу лужи черной воды. Снуют фигуры стройбатовцев и эксплуатационников с мешками смолы на плечах. Слышен мат. Туда-сюда носится Шаронкин.

— Наше вам, дозиметрия! — слышит Палин голос Шаронкина. — Тут еще чисто. Делать нечего...

Слышен скрип открываемой арматуры, гром каблуков по металлической рифленке металлоконструкций.

Обошел машзал по нулевой отметке. У маслоохладителей турбины лужи масла. Машинист разбрасывает на лужи ветошь, притаптывает ногами, чтобы впиталось. Потом, наклонившись, размашисто подтирает пятно. Работает центрифуга. Едковато пахнет парами разогретого турбинного масла...

«Будущие опасные точки,— думает Палин.— Трудно сказать, где они... Но машзал живет...»

Палин прошел в блок спецхимии. Тут, что называется, конь не валялся. Кругом пахнет холодным металлом оборудования, монтажной пылью. По-настоящему здесь работают только второй день. Визжат наждачные машинки. Искры. Запах сгоревшего железа и першащий — наждачного круга. Лязг, грохот кранов, выкрики, голубые вспышки и запах сварки.

Палин раздумчиво смотрит на все это и думает, что вот как вышло. Он между этим блоком спецхимии и Торбиным как в клещах. А эта «черная труба» словно дамоклов меч над проснувшейся совестью...

Прошел в реакторный зал. Тепло. Шуршащий шум. В разных местах застыли кран и перегрузочная машина. Вскрыты люки бассейна выдержки отработавших кассет. Взмокший слесарь сверлит электродрелью дырки в коробах верхней биозащиты реактора. Вчера в этих

коробах, заполненных спецбетоном, было три мощных хлопка. Нержавейка вспучилась. В спецбетоне есть кристаллизационная вода. Под обстрелом нейтронами образуется гремучая смесь. Дырки для вентиляции...

На противоположной стене, на стенде свежего топлива, висят длинные семиметровые колбаски урановых кассет и стержней системы управления защитой реактора. Весь зал окрашен бежевой эпоксидкой, краны — в бордовый цвет. Балки перекрытий — голубые. Душноватый запах. Временами истерично взвизгивает дрель. Слышен шуршащий шум реактора...

Палин посмотрел на часы — девять вечера. Пора домой.

Выйдя на улицу, в окне кабинета директора увидел расхаживающего взад и вперед, жестикулирующего и что-то говорящего Торбина. Поймал себя на том, что думает о нем как о начальнике главка, хотя уже не считал его таковым. Что-то в глубине екнуло. Суеверное и лакейское.

— Ладно, Сергуня... — прошептал Палин, матерно выругался и ускорил шаг.

Утром следующего дня начали пуск электростанции. Это сразу почувствовалось. По нарастающему гулу и мелкой дрожи бетонных перекрытий. Полным ходом поднимали мощность реактора. В работе шесть главных циркуляционных насосов. Прогрели паропроводы до главных паровых задвижек, приняли пар на конденсаторы турбины и далее, через конденсатный и питательный трубопроводы, — на реактор. Основной контур большой циркуляции замкнулся. Гулко ухало в головках деаэраторов. Но удары пока мягкие, рассыпающиеся, с шуршанием. Кругом теплый вонючий дух...

Звонок от Абдулхакова:

— В коридоре, в районе емкостей с грязным фильтропорошком, по гамма — два рентгена в час. Проход закрыт. Знаки радиационной опасности висят...

Палин поинтересовался у начальника смены АЭС о работах по общестанционным нарядам. Узнал: полным ходом монтаж на блоке спецхимии... Три бригады электромехаников допущены на наладку электроприводов арматуры. Одна бригада — в помещение над радиоактивными емкостями... Проклову — проверить.

Проклов:

— Гамма-фон. Работать шесть часов...

Абдулхаков:

— В емкостях не задраены лазы. Крышек лазов что-то не видно...

Телефон. Палин — Шаронкину:

— Немедленно наживить крышки и задраить лазы!

Через тридцать минут Шаронкин — Палину:

— Крышек нет... Черт знает где... Съели, наверное... Крысы... Закрыл пока лазы паронитом. Курам на смех...

Гидроудары в деаэраторах нарастают. Стали пушечными. Вздрагивает вся деаэраторная этажерка. Палин ощущает отдачу пола...

Звонит Дрозд, начальник турбоцеха.

— Владим Иванович, пришли дозика померить воду, аэрозоли... — Голос вздрагивающий, виноватый. — Деаэраторы пляшут на опорах... Кажется, оборвало дренажную трубу... Хлещет кипятком... Пар... Быстро!..

Палин послал Моськина. Маленький, верткий. Дозик с субмарины. На яйцевидном, в частых жировичках лице постоянная готовность к действию. Выражение глаз еще военноморское. Они будто кричат: «Есть! Есть! Есть!»

С газодувкой через плечо и с радиометром в руке Моськин рванул на плюс двадцать пятую отметку. Там хлестал кипятик.

— Ах, вода, вода... — сокрушенно бормотал Моськин. — Счас бы пластырь...

Чугунная дверь в деаэрационную открыта настежь. Из проема валит пар. Моськин включил газодувку.

Трах-тах! Бух-бух-бух! Дринь-дринь-дринь! — гремят то глухо, то ударами молнии, то мелким металлическим стуком гидроудары.

Появился Дрозд. Лицо испуганное, хотя видно, что он изо всех сил старается не показать свою растерянность.

— Ну, ты качай, а я побежал на блочный щит... — озабоченно говорит он Моськину, а голос такой, будто советуется.

— Аэрозоли — три нормы! — кричит ему вдогонку Моськин и натягивает лепесток. Бежит к телефону. Докладывает обстановку Палину. Палин звонит на блочный щит управления.

Ответ:

— Некогда! Позже... Заливаюсь...

Палин — Алимову:

— Вода в деаэрационной хлещет на пол. Зальет электрощитовые. Принимайте меры...

Алимов:

— Знаем... Кумекаем... Сейчас... — Голос хороший, вежливый.

«Опасность... — думает Палин. — Так бы всегда... А то пузо вперед и...»

Телефон. Абдулхаков — Палину:

— В машзале долбаёт. Прямо канонада. Бьёт в конденсатопроводе и на питательной линии. Оборвало опору трубопровода... — хрипло смеётся. — Дрозд бежит как помешанный. Без чепца. Сделал ему замечание... — снова хохочет. — Война, Владимир Иванович...

Палин бежит в машзал.

«Торбина бы сюда... Пусть обкатаётся, деятель...»

На двенадцатой отметке его встречает Абдулхаков с вытаращенными глазами. Хрипло кричит:

— Вон-вон, смотрите! На питательной линии оборвало «гусак»... Воздушник!..

Кипятик хлещет расширяющейся струей в стену. Палин прикинул расход: «Примерно пятьдесят кубов в час... Плюс столько же, а может, больше — в деаэрационной... Началось...»

Бежит к телефону. Кричит на ходу Абдулхакову:

— Бери мазок на нулевой отметке! Активность доложи мне!

За турбогенератором, в просвете между цилиндрами турбины, просеменила глыбастая фигура Федосова. Палин бросился к нему, перехватил.

— Беги к морю! Контроль активности на сливе из черной трубы!.. Головой отвечаешь!.. Меня непрерывно держи в курсе...

Федосов побежал, прихрамывая.

Пулей влетел на двенадцатую отметку Алимов. С ним — представитель научного руководителя по реактору. С курчатовской бородкой. Тонкая кость, белый воротничок, чуни поверх штиблет, белый лавсановый халат поверх костюма. Таращит глаза, растерян.

— Что?! — кричит ему Палин. — Не вписывается в формулы?!

— Потрясающе! — кричит научный руководитель.

Алимов подбегает к Палину. Привычный нырок головой.

— Где Дрозд?! Что он, не знает, как пускать паропроводы?! Ты никогда не пускал турбину?! — вдруг спрашивает он Палина. В голосе плохо скрытая паника.

— Никогда, Станислав Павлович! Ты что, с луны свалился?! Я с рождения дозиметрист!..

— Палин ехидно сощурил глаза.

«Сволочи! — подумал. — Берутся за дело, не зная дела... Честолюбчики...»

— Надо принимать на барбатеры! — сам себе крикнул Алимов и рванул в сторону блочного щита управления.

— Торбина давай сюда! — крикнул вдогонку Палин. Алимов снова подскочил к нему.

— Что?!

— Торбина, говорю, давай сюда! Пусть берет управление на себя!

Алимов махнул рукой. Растерянно улыбнулся.

— Он такой же бомбовик, как и я! — крикнул Главный. Глаза затравленные. Стремглав бросился к выходу с отметки турбины.

Грохот гидроударов. Хлест радиоактивного кипятка. Пар. Пахнет теплой сыростью. Вдруг грохот усилился.

«Ага! — подумал Палин. — Кинули пар на барбатеры...»

Пол под ногами дрожит. Воздух упруго пульсирует. На душе нехорошо. Побежал к перилам. Там, внизу, на нулевой отметке, возле технологических конденсаторов, мечутся белые фигурки машинистов. Лихорадочно вручную открывают задвижки на технической воде к технологическим конденсаторам. Палин почувствовал присутствие кого-то рядом. Повернулся. Видит — рыжебородый представитель главного конструктора. Тоже перехилился через перила, смотрит вниз. Говорит:

— Что-то крутят там...

— Да-а... — отвечает Палин. Его душит судорожный нервный смех.

В это время потрясающей силы гидроудар, перекрыв собой тысячекратный грохот, потряс здание электростанции. Палин почувствовал, как гулко вздрогнул железобетонный пол под ногами. Отметка фундамента турбины. Технологический конденсатор подпрыгнул, затрясся, как в лихорадке, оборвал анкерные болты, заплясал на опорных лапах. Трубопровод подвода пара срезал мертвую опору — две мощные стальные балки, встроенные в железобетонный монолит стены.

У Палина похолодело в груди. Сердце ускорило бег. Появилось в душе суеверное чувство. Рыжебородый научный руководитель завопил на высоких нотах, тараща глаза и сильно жестикулируя костлявыми руками.

— Это ужасно! Технический бандитизм!

Повернулся и трусцой засеменил к выходу с отметки турбины, шаркая чунями, чтобы не поскользнуться.

«Вали, вали отсюда, наука... Все идет не по формуле...» — подумал Палин, ощущая тем не менее нарастающее беспокойство.

Откуда-то, Палин даже не заметил, откуда именно, внезапно появился начальник турбоцеха Дрозд. В белом, новеньком, сильно жеванном лавсане, без чепца. Лоб в испарине. Где-то потерял очки. Лицо осунулось. Голова стала как бы меньше, а шея длиннее.

— Все ясно, все ясно!.. — бормотал он, наклонившись рядом с Палиным через перила и глядя вниз, туда, где только что долбанула стихия.

— Пар дали раньше охлаждающей воды, черти!.. Все ясно, все ясно, сейчас сделаем!..

Палин хотел спросить, что ему ясно и почему так грохочет кругом, но вид у Дрозда был жалкий, хотя и через силу деловой. Он вдруг взял Палина за руку и стал кричать ему в ухо, стараясь перекрыть грохот. Видно было, что он успокаивал сам себя.

— Регулятор на линии основного конденсата плюет порциями!.. — вслух размышлял Дрозд.— Мал расход воды!.. Мал расход, говорю!.. Задвижка открыта полностью, пара не хватает!.. Проход мал! От этого все и долбает...

Палин смотрел на Дрозда во все глаза, и ему показалось, что тот будто советуется с ним. Сквозь грохот слышен хлест воды вниз. Ясно — дренаж оборвало! Радиоактивный кипяток!.. Хлещет в четырех местах... Расход предположительно — двести тонн в час.

— Прекращать надо-о! — орет в ответ Палин.

— Сейчас, сейчас! — кричит Дрозд, но Палин видит — в глазах у него паника.

Влетает Алимов. Изогнулся дугой, втянул живот, руки чуть раскинул, кажется, вот-вот вцепится и станет бороться... Да, поза борца перед схваткой. Глаза все те же, затравленные. Орет:

— Что?! Что делать?!

Дрозд смотрит на него. В глазах, кажется, слезы.

Вбегает Абдулхаков. Глухой его голос в грохоте еле шуршит. Скалит зубы. На груди газодувка. Палин приложил руку — работает. Прокачав воздух, Абдулхаков вынул фильтр, подбежал к ТИССу. Вернулся.

— По аэрозолям четыре нормы!

Все без лепестков... Палин с беспокойством думает о черной трубе.

«Низы уже затоплены... Дренажные насосы включились... Федосов молчит...» — он глянул в сторону телефонной будки. Лампа сверху не мигает, стало быть, звонка нет.

«Надо уходить на щит... Теряю связь с местами, контроль...»

Подсунул ухо к Алимову и Дрозду. Дрозд уверенно орет. Очухался.

— Увеличивайте расход! Увеличивайте расход! Я на полную открою регулятор на линии рециркуляции конденсата! Будет эффект!

Алимов трясет головой, нюхает воздух.

Палин — Абдулхакову:

— Активность воды в прямках! Быстро!

Абдулхаков бежит вниз.

Палин — Алимову:

— Надо останавливаться, Станислав Павлович! Смотри! — махнул рукой на хлещущий кипяток. Тело пробирает теплой влагой. Но еще холодно. Зябкость.

— Надо понять! — орет Алимов. В голосе та же совещательность, что и у Дрозда. Глаза все еще растерянные.

«Чего понимать?.. И так ясно...» — усмехнулся Палин и побежал к выходу. Бегом — по коридору деаэрационной этажерки, крытому желтым пластиком. Пластик под ногами пришлепывает по набетонке и порою смачно вскрикивает. Решил по пути осмотреть щитовые.

В помещении вычислительной машины «Гора» с потолка льет вода. Оператор мечется в лабиринте стоек с электронной аппаратурой и одну за другой обесточивает. Бледен. Кричит:

— Уже третий раз! Все насмарку!..

В помещении щита дозиметрии потолок промок. Скоро польет. Палин помчался на блочный щит управления. Здесь тише, чем везде. Перфорированный потолок и стены глушат звуки. Три белых спины операторов. Смачно kloцают ключи управления. Начальник смены АЭС Болотов. Сухощав, стрижен ежиком, подтянут. Стучит правым кулаком о левую ладонь. Водит головой вправо, влево. Оценивает по приборам ситуацию.

— Все заливаешь у тебя! — кричит Палин.

Болотов холодно глянул на него. Взгляд оценивающий.

— Спокойно, знаю...

— Чего знаю?! — Палин выглядел смешно. В испарине. Чуб сполз на лоб.

Болотов улыбнулся. Палин побежал на щит дозиметрии. Там надрывался телефон. Звонил Федосов.

— Из трубы хлещет в море!.. Владим Иванович...

— Расход?!

— Примерно кубов пятьдесят в час...

— Активность воды?!

— Отослал пробу с Прокловым...

— Разбавление с насосной идет?!

— Нет!

— Тебя понял! Сторожи! Пробы — ежечасно!..

«Вот он... Часик настал...» — подумал Палин. Стремглав бросился к блочному щиту управления.

— Включай разбавление! — крикнул он Болотову. — Радиоактивный дренаж попер в море!.. Быстро!..

Болотов бросился к коммутатору. Что-то приказал машинисту насосной. И в это мгновение вдруг все стихло. Глубокая тишина. В ушах ватность...

— Что случилось?! — по инерции кричит еще Палин. Болотов улыбается.

— Увеличили расход. Конденсат пошел полным сечением. Прекратились плевки... Это надо было пройти... Поздравляю, дозиметрия!

Он подошел и сухой горячей рукой пожал Палину руку.

Вбежал Алимов. Лицо смущенно сияет. К Болотову:

— Что сделал?!

Выслушал Болотова. Сказал:

— Ага!.. — сделал боксерский нырок головой вправо. Засмеялся. Посуровел вдруг. — Наколбасили, парни... Ну варвары!.. Отключайте машинный зал. Работать на компенсацию теплотер. Незначительный парок на быстродействующее редукционное устройство, деаэратеры...

— Так там же дренажи пооборвало! — возмутился Палин.

— Ах да, — смутился Алимов. — Придется останавливаться...

В это время раздался лихорадочный зуммер на коммутаторе. Болотов хватает трубку.

— Что-о?!

Бросает трубку. Бежит к прибору расхода продувки реактора. Четыреста тонн в час вместо двухсот...

— Авария! — крикнул он упавшим голосом и выбежал из помещения блочного щита управления. Алимов и Палин за ним.

— Стой! — крикнул Алимов. — Стой, Болотов!

Тот остановился. Весь — нетерпение.

— Куда бежишь?! Что будешь делать?! — допрашивал Алимов, стоя в позе борца, готового к схватке.

Болотов бледен, заикается.

— Т-там... Э-электрики... Н-налаживают... к-конечники... Ошибочно от-ткрыли з-завдвижки н-на р-резервные ф-фильтры б-байпасной очистки... Реакторная в-вода п-поперла...

Палин не стал дослушивать. Рванул на щит дозиметрии за радиометром и резиновыми сапогами. Через несколько минут, гулко топая, бежал назад.

Дозиметрист Моськин, замерив активность на двадцать пятой отметке у входа в деаэрационный бокс, побежал вниз, на минус пятую отметку, проверить, не «прет» ли при таких мощных течах радиоактивный кипяток там, внизу, из трапов.

«При таких течах коллектор спецканализации ни в жисть не справится...— думал он, быстро сбегая вниз, по-морскому ловко ступая на каждую ступеньку.— Видать, уже пол залило...»

Когда он выбежал с лестничной клетки в технологический коридор, то издалека увидел блеск воды.

«Так оно и есть...» — подумал он, радуясь своей прозорливости, но вдруг услышал мощный шум льющейся откуда-то воды.

«Ничего себе!..» — мелькнуло у него. Он включил переносную газодувку на прокачку аэрозолей, перекинул на грудь и включил переносной ТИСС (прибор для замера бетта-активности), опустил щуп с датчиком плотнее к полу и пошел вперед. Вода текла навстречу.

«Ни хрена себе!» — мысленно сокрушался Моськин.

Теперь он видел, что вода бьет широким шлейфом из-под щели фанерной двери помещения десорбирующих растворов. Щуп коснулся воды. Моськин побледнел, испуганно переключая диапазоны.

— Мама родная!.. Миллион распадов!

И тут он увидел в воде желтый, мелкодисперсный порошок ионообменной смолы.

«Так это же пульпа радиоактивного фильтропорошка! Мама родная!..»

Забыв обо всем, он гулко шлепал бутсами по радиоактивной воде. Он не знал еще, что это продувочная вода реактора, активностью десять в минус пятой степени кюри на литр поступала через резервные фильтры в емкости, куда Шаронкин загрузил высокорadioактивную пульпу, а оттуда через незадраенные люки — в помещение.

Моськин подбежал к двери. Ноги по колено вымокли. Толкнул дверь. Не поддавалась. Отжал с силой. Оттуда сноп воды. Обкатило по пах. Горячевато. Овернулся, услышав топот. Бежал Палин. В болотных сапогах.

— Владимир Иванович! Владимир Иванович! — взволнованно закричал Моськин. — Стойте! Стойте! Назад!.. Миллион распадов! Радиоактивная пульпа!..

Палин подбежал к двери. Матерно выругался. Четко представил холеную физиономию Торбина.

«Носом, носом бы тебя сюда... Сергуня...»

— Беги отсюда! Быстро! — приказал он Моськину. — У лестничного марша разденься догола и мигом в санпропускник, в душ. Быстро! Ты весь мокрый. С ума сошел... Иди, иди, матрос... Тут тебе не атомная подлодка. Пластырем не отделаешься...

Моськин уныло побрел по коридору. Вода была по щиколотку. Под ней смола фильтропорошка довольно толстым слоем выстлала пол, смачно, зернисто и жирно, как икра, расплзалась из-под подошв. При неосторожном шаге ноги прокатывались на мелких круглых «икринках» смолы.

Палин отметил, что шум воды стихает. Сквозь сапоги чувствовал тепло воды. Градусов пятьдесят...

«Наше счастье, что после регенеративных теплообменников и доохладителей... — подумал Палин.— А если б двести восемьдесят?.. Был бы шорох... Но шум определенно стихает... Болотов закрыл задвижки... Ну, деятели!..»

Палин был возбужден, ощущал решительность и вместе с тем внутреннюю потерянность. Лихорадочно думал, куда же теперь загонять эту грязнотищу...

«Назад, только назад... Откуда выперли...» — думал он, не сомневаясь, что не допустит сброса радиоактивной пульпы в море.

Шум окончательно стих. Послышался топот ног по ступенькам лестничных маршей. Сквозь стекло двери увидел, как с последней площадки выскочили Болотов и Алимов и, в упор столкнувшись с голым Моськиным, остановились. Палин быстро двинул в их сторону, сделал руками крест и во весь голос заорал:

— Стой! Не заходить! — и уже спокойно, подойдя к двери, сказал: — Миллион распадов. По аэрозолям — шесть норм... Всем надеть лепестки!

И сам подумал, что впопыхах тоже забыл надеть.

— Ну ты даешь!.. Ну ты даешь!.. — в ступоре бубнил Алимов, глядя на Моськина. — Давай, матрос, дуй с санпропускник, что стоишь как Аполлон?.. Ну ты даешь!.. Ну варвар!.. — И шлепнул его во волосатой ягодице. — Беги, живо!

Моськин будто только и ожидал этого шлепка, рванул с места и, перескакивая через три ступеньки, скрылся...

Запахавшись, прибежал Шаронкин. Еще наверху был слышен его смех горошком — встретил голого Моськина. Но теперь не до смеха. Головой не вертит. В глазах миллион вопросов.

— Ну ты даешь! — сказал ему Алимов. — Видал, что натворил? Кто допускал на работы?!

— И-и я... — сказал Болотов. Его трясло.

— Да успокойся ты, — тронул его за рукав Палин. — Успокойся...

Шаронкин вдруг захекекал.

— Ну и дела! Туши лампу, вешай абажур...

— Ну ты даешь! — возмутился Алимов, от негодования тряс головой и будто нюхая воздух. — Ты знал, что емкости с активной пульпой имеют сообщение с фильтрами?

— Физкульт-привет, Станислав Павлович! Ты об этом знал не хуже меня... Хе-хе-хе! На орехи вместе заработали. Один Палин, умник, не разрешил тогда и как в воду глядел... Ну, дозиметрия! — он хлопнул Палина по плечу.

Алимов обвел всех затравленными глазами и вдруг приказал Болотову:

— Глуши реактор! Расхолаживайся! Шаронкин, Пряхин, Дрозд, ко мне в кабинет через десять минут. И чтоб как штык, без опозданий... Палин, организуй саншлюзы, чтоб не разносили грязь.

«Первое толковое распоряжение», — подумал Палин.

...Проходы залитого радиоактивной пульпой коридора с двух сторон перекрыли канатами, повесили на них знаки радиационной опасности, поставили противни с мешковиной, смоченной в контакте Петрова. Абдулхаков и Проклов стали с двух сторон коридора в некотором удалении от входов. Вплотную к двери — рентген в час.

Палин побежал в тапочках, которые принес Абдулхаков, на щит дозиметрии, оставив грязные сапоги возле противней. Туда же поставили еще несколько пар сапог и положили стопку комплектов пластиковых полукомбинезонов, чуней, фартуков.

Палин неотступно думал теперь о черной трубе. Он сидел за столом в помещении щита дозиметрии, обхватив голову руками, сморщившись, как от зубной боли.

«Господи! Неужели же так будет всегда? Уже двадцать лет...»

Схватился за телефон.

«Почему молчит Федосов?»

Нервно задергал тумблером. Наконец звонок. Федосов сообщил — из трубы минус седьмая степень, после разбавления к морю — минус одиннадцатая.

Но Палину стыдно. Больно. Что? Ну что он может сделать?! Он вскочил. Прислушался. Тишина. Как после погрома. Забегал взад и вперед.

«Что делать? Что делать?..»

Он будто увидел перед собой огромное сморщенное лицо моря, лицо Природы.

И вдруг осенило: «Конечно же! Надо просить... Просить Болотова!»

Он лихорадочно бросился к телефону, нажал тумблер блочного щита управления.

— Болотов,— послышалось в капсуле.

— Послушай, Виталий! — Палин орал почему-то во всю силу голоса. — Немедленно! Немедленно отключай дренажные насосы!..

— Это почему?

Палин понял, что надо хитрить, лгать, ловчить, все что угодно, но лишь бы отключить эти ненавистные, подлые насосы. Разорвать этот грязный поток во что бы то ни стало...

— Миленький, Виталя, пожалуйста!.. Могут загнать в море пульпу... Ее ведь ничем не разбавишь, а?.. Рыбка съест смолу, ты поймаешь рыбку... Ты меня понял?!

— Сейчас отключим,— сказал Болотов спокойно, почти безразлично.

Палин откинулся на стуле. Сердце бешено колотилось.

«Чего это оно так?» — подумал Палин. Приложил руку к груди.

Тук-тук... тук-тук... Тук-тук...

Вдруг навалилась дикая усталость. Руки на стол. Голову на руки. Расслабился. В мозгу стучало.

«Нужна энергия... Нужна энергия...»

Болит голова. Надышался. Звонок от Федосова:

— Труба «замолчала»... Слышь, Владимир Иванович? Вода не идет.

— Да-да-да... — сказал Палин будто в забытьи. — Сторожи, сторожи пока.

Снова уронил голову.

«Вода не идет... Хорошо... Вода... Такая вода не должна идти... Не должна...»

Звонок. Начальник смены АЭС Болотов:

— Владимир Иванович! Звонил Торбин. Знаешь... Начальник главного управления. Лично. Сказал — через тридцать минут придут стройбатовцы. Говорит, полурота. Просил принять их, обеспечить ведрами и организовать уборку «грязи» на минус пятой. Я их приму и организую работы. За тобой — дозконтроль, допуск.

— Кто подпишет разрешение на перебор дозы? — спросил Палин с затаенной яростью.

— Все предусмотрено... Торбин сказал — из расчета годовой дозы... Пять рентген на нос.

— Какой он добрый! — сказал Палин.

— Добрый... — Болотов рассмеялся.

— Куда будешь убирать воду и смолу? — спросил Палин.

— Куда... В дренажный бак. Больше некуда. Емкости с пульпой заполнены под завязку. Через них и залило все, сам знаешь. Ну все, — Болотов отключился.

— В дренажный бак... — тихо повторил Палин слова Болотова. — Это значит в море... Вот и все... Но что делать?! То есть выход есть — дожидаться пуска блока спецхимии. И тогда — стоять... Но я бессилён запретить пуск...

Палин впервые в жизни пожалел о том, что власти у него недостаточно, и карьера его, похоже, закончилась должностью начальника отдела радиационной безопасности, и что выше ему никак не прыгнуть без подсадки. А посадить некому. Да... Нужных друзей не завел. А милые сердцу — кто умер, кто работает на других атомных станциях. Теперь — одиночество и борьба...

«Нужна энергия... Нужна энергия... Торбин не отступится. Так всегда... Когда задаешь себе заранее схему, логику действий, жизни... Однозначность... В ней сила, но и слабость внезапного тупика. Жизнь-то всегда многозначна...»

Палин вяло усмехнулся.

«Похоже, точка... Лбом стену не прошибешь... Нужна энергия, нужна энергия...» — мелькало в голове.

Он как-то вдруг успокоился. Даже ощутил некоторую апатию. Подумалось где-то вторым планом, что его, Палина, разрешающей подписи нигде нет. Совесть чиста. Чего же еще?

В это время звонок от Абдулхакова:

— Владимир Иванович! Прибыли солдаты. Все с ведрами. Допускает лично Болотов. Дозиметрический допуск с подписью Торбина. Из расчета пять рентген... Допускать?..

— Допускай... — глухо сказал Палин. — Я скоро приду.

«Вот и все...» — снова подумал он, сидя на стуле, опустив голову и вяло свесив меж колен сцепленные в замок руки. Вновь усмехнулся. Острая волна волос на затылке сникла и легла на воротник белого лавсанового костюма. Но голова работала независимо от его состояния. Мозг лихорадило. Обрывки мыслей, вспышки озарений, внезапно всплывающие и тут же тонущие во мраке памяти картины прошлого. Однако на «выходе» из черепной коробки ничего не было. Пустота...

«Работай, работай... — приказал он мозгу. — Думай, думай...»

В висках ощутил пульс. И еще где-то, будто в переносье.

Тук-тук... Тук-тук... Тук-тук...

«Нужна энергия... Нужна... энергия...» — вписался он в ритм ударов пульса.

Звонок от Федосова:

— Труба молчит, Владимир Иванович... Может, мне уйти? Захолодало... Ветер с моря рвет. Штормит... А?..

— Побудь еще чуток. Я скоро сменю тебя. Жди, — попросил Палин мягко. А сам подумал: «Чего ждать?.. Пусть идет. Нет, пусть ждет.. — И снова приказал себе: — Думай... Думай...»

Но мозг ничего не выдавал. На «выходе» пустота... Встал. Пошел вниз, на минус пятую отметку. Уже на подходе услышал звон ведер, топот десятков ног, бульканье воды, приглушенный говор. И вдруг счет:

— Пятьдесят пять, пятьдесят шесть...

Палин остановился. Сердце замерло. В висках стучало. Он всматривался в фигуры солдат, вспоминал атомное штурмовое четырехлетье. Там тоже их было много — молодых, сильных, бегущих с носилками, мешками, ведрами с раствором и мусором... И часто среди них Курчатов — вездесущий, напористый, казалось, неутомимый...

— Шестьдесят один, шестьдесят два...

«Считают ведра... Порядок. Норма выработки... Но как же это так получается, что нету выхода?..»

И вдруг подумал, что так, пожалуй, было всегда. Только ОН не знал, не понимал этого. Теперь же задал себе урок, и совесть в западне. Покоя нет...

«Выход только через общее... Общее... Общая победа, общая жизнь, единый порыв... Вперед в целом... Частная моя маленькая совестишка бьется головой о стену...»

Абдулхаков сидит на ступеньке за два лестничных марша до входа в аварийный коридор. Палин подошел сзади, тронул его за плечо. Абдулхаков вскочил.

— Работают... — выдавил он из себя. Скорбная улыбка, — Они сказали, что пока не кончат...

— Кто сказал?

— Алимов звонил... Ссылались на Торбина...

Глядя сейчас на Абдулхакова, Палин будто заново увидел его всего сразу. Весь образ. Терпкий отпечаток остался... Печаль во всем облике этого сухопарого, дотошного, исполнительного парня. Печаль... Он весь источает ее. Источает...

Спустились вниз. Палин надел болотные сапоги, вошел в коридор. Абдулхаков остался снаружи, у телефона.

«Таскают в триста пятнадцатый бокс, — отметил Палин, — сняли гидрозатвор с трапа, льют прямо в коллектор. Считают ведра...»

Сырость в воздухе. Стены и потолок запотели. Крупный капельный пот. Скатываются струйки. Стремительно, одна за другой. Душно. Радиоактивная вода с взвешенной в ней пульпой желтой смолы выше щиколоток. Чуни и пластиковые пимы, натянутые поверх кирзовых сапог, у большинства солдат порвались.

«Всех придется раздевать...» — подумал Палин.

Душно. Солдаты в защитного цвета расстегнутых бушлатах. Лица молодые, загорелые, пышут здоровьем. Почти все — сбросили респираторы. Трудно дышать. На щеках белые паутинные волокна ткани Петрянова. Белый, заряженный, назойливо прилипающий к щекам пух... Все в пилотках. Взбалтывают воду сапогами. В ведрах равномерная взвесь радиоактивной пульпы. Передают, расплескивают, обливаются...

— Всем надеть респираторы! — зычно крикнул Палин. — Все-е-м!

Солдаты послушались.

«Придется раздевать... Совсем...» — снова подумал Палин. «Думай, думай!» — приказывал он себе.

На «выходе» из черепка — ничего. Пустота. Лица солдат покраснелись. Под загаром бронзовые. Исполняют работу молча, усердно. Абдулхаков еще на лестнице шепнул, что они не знают, что носят... Ну и что?... У них приказ... Не они решают...

Духота. Приглушенный телефонный звонок. Палин бежит к выходу. Бульканье. Брызги. Спертый влажный воздух...

Абдулхаков протягивает трубку. Начальник смены АЭС Болотов.

— Дренажный бак переполнен! Алло! Владимир Иванович! Включаю насосы на откачку. Ничего не могу сделать. Надо качать, иначе затопим все низы...

— Категорически запрещаю, — сухо сказал Палин.

— Ну ты даешь! — голос Болотова зазвенел. Спросил: — Сообщить Алимову?

— Сообщай...

Палин стоит у телефона. Ждет. Звон ведер, бульканье, переплеск воды. Мелькание фигур. Солдаты стараются. Уровень падает... Быстрее, быстрее!.. Снова звонок Болотова.

— Владимир Иванович! — В голосе Болотова насмешка. Личное распоряжение товарища Торбина... Записал по телефону в оперативный журнал. Зачитать?

— Ты-то, я вижу, спокоен? — с возмущением спросил Палин. Невольно весь подобрался. Прихватило дыхание. В голосе легкая дрожь, — У самого-то совесть как? А?... Рука не дрогнет? — Последнюю фразу сказал тихо, стараясь унять дрожь в голосе.

— Не дрогнет, — ответил Болотов. — Начальству виднее... Много на себя берешь, Палин. Ни к чему это... Включаю насосы!

Палин ничего не ответил. Отдал трубку Абдулхакову. Болит голова. Снял резиновые сапоги, перелез в тапочки с галошами. Перескакивая через три ступеньки, пробежал вверх...

В помещении щита дозиметрии никого. Сотни приборов мурлычут как сытые кошки. С переливом. То в унисон, то вразнобой. В воздухе запах теплого приборного лака. Надел

телогрейку, схватил радиометр, колбу для отбора проб. Побежал с непокрытой головой. В черепке «вычислительная машина» переключилась. Стоп! Чистота. Ничего не придумал...

«Теперь — действие, действие... Что-нибудь делать... Это, теперь это...»

Выскочил в переходной туннель. Обдало холодом. Туннель, выйдя из железобетонного монолита блока, перешел в эстакаду, соединяющую блок атомной электростанции с административным зданием. Витражи эстакады еще не застеклены.

Низкое, свинцовое, в рваных тучах небо. Свищет сквозной холодный ветер. Палин глянул наружу и увидел, что тот же глинистого цвета свинорой, но на этот раз не залитый солнцем был безотраден и потерял ту выразительность движения стройки, которая еще вчера так бросалась в глаза.

Вдоль окон асбоцементные корыта под будущие цветы забиты строительным мусором — цементной крошкой, обломками сухой штукатурки, песком, окурками, рванными газетами. На низком, еще не беленом потолке эстакады только что вмонтированные, контрастно выделяющиеся белые новенькие вафельки люстр светильников...

Эстакада обогнула с обеих сторон мощный монолитный ствол железобетонной вентиляционной трубы, не крашенной еще и с четким рисунком отпечатавшейся опалубки...

Палин почти бежал, испытывая враждебность к этому сотворенному человеческими руками атомному гиганту. Это чувство родилось неожиданно, как следствие, наверное, бессилия перед неотвратимой логикой системы, которая, как ему теперь казалось, работает сама, независимо от его, Палина, желаний или нежеланий...

Но кто? Кто виноват?.. Ведь он тоже частица этой системы, одна из ее рабочих шестерен, а в чем-то, быть может, и приводной механизм... И его товарищи, с которыми десятки лет трудился бок о бок... Да-да... Они все вместе построили эту «ядерную телегу»... И она поехала, неумолимо покатила, будто помимо их воли... А они уселись на эту суперколымагу и спокойно едут себе...

Многое случилось за эти годы... Он радовался, горевал, находил и терял. Ему казалось, влиял на что-то... Но нет. Это лишь казалось... Только теперь явственно ощутил, понял свою ошибку, и душу заполнила неудержимая вражда к этой чуть ли не мистической, фатальной неизбежности...

Слабая ироническая улыбка высветила его лицо.

Но ведь «не мы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, — вспомнил он вдруг слова Курчатова, — не мы начали шантаж тотальным оружием...».

Мы пожинаем плоды навязанной нам ядерной гонки... Но списывать издержки только на это сегодня уже нельзя...

Ему вдруг показалось, что он на мгновение понял сложный приводной механизм системы, которая и через двадцать лет сумела привести к тому же, чем проявила себя когда-то...

Все дело в том, что они в общем-то беззаботно едут на атомной телеге, ослабив вожжи... А ею надо продуманно и непрерывно управлять... Да-да!.. Это...

И он вдруг ощутил себя втянутым в сложную опасную игру с этим зловещим, скрежещущим, изрыгающим нечистоты механизмом всеохватывающего, неумолимого атомного движения.

«Но кто же победит?! — вдруг с задором спросил он сам себя и с уверенностью ответил: — Человек! Только человек! Иного выхода нет!»

Миновав санпропускник в административном здании, Палин вышел на улицу.

На асфальтовой площадке перед управлением стояли несколько «Волг», «Москвичей», один желтый «Запорожец». По автостраде туда-сюда сновали автомашины.

«Мир движется, несется куда-то...» — подумал Палин. С тоской посмотрел в сторону леса, невдалеке за дорогой.

Серое, еще без видимых следов раскрывшейся листвы кружево ветвей то и дело меняло орнамент под напором порывистого ветра. Но все же Палину казалось, что лес оживает. Голые ветви деревьев уже дышат и, кажется, излучают жизнь.

Палин остановился, глядя на движение вокруг, подумал, что вот, все они не знают, что творится у них на блоке. И даже сам атомный энергоблок этого не знает...

Палин оглянулся на черный, облицованный глазурованным «кабанчиком» монолитный куб реакторного здания, на величественно вписавшийся в серое небо ствол белоснежной вентиляционной трубы, где-то на высоте ста метров растворившийся в низкой рваной облачности.

«И вот эти авто не знают...» — подумал он и как-то удивленно на них посмотрел.

Вспомнил о Торбине. Ощутил уверенную вражду к нему. Такую вражду, которая влечет за собой действие.

Он побежал. Обогнув здание электростанции, выскочил на территорию промплощадки и, оказавшись у траншеи с черной трубой, торопливо пошел вдоль, время от времени спрыгивая на трубу и плотно приставляя к ней радиометр.

Почти на всем протяжении трубопровода прибор довольно ровно показывал полтора рентгена в час. Палин почему-то вдруг успокоился. Свершившееся, как ему теперь казалось, преступление было столь очевидным, что оставалось как будто только констатировать и поточнее регистрировать факт.

Холодный влажный ветер порывисто подхватывал светлые пряди волос, то взвихривая и забрасывая их назад, то расплющивая и прижимая ко лбу.

Он вначале все измерял, измерял... Все те же полтора рентгена в час. Потом перестал. Вяло опустив руку с прибором, Шел, замедлив шаг, и подумал, что все развивается... предельно откровенно... Именно так...

Инъекция радиоактивной грязью Природе.

«Уму непостижимо! — подумал он. — Все происходит так явно, так классически нагло, что кажется всем должным и закономерным».

Он даже зябко поежился от охватившего его возмущения.

Невдалеке бурлило и накатывало на берег пенистые валы море.

Палин заметил съежившуюся от холода фигуру Федосова. Спихнулся и снова побежал. Ветер упруго и, как ему казалось, враждебно толкал в грудь, лицо, будто не пускал к морю, был ледянисто-холодным, злобным.

«Природа взъярилась, — виновато подумал Палин. — Она все чувствует, ее не обманешь...»

Он бежал, спотыкаясь, от волнения и обиды теряя иногда координацию движений. С маху упал, врезавшись руками и прибором глубоко в рыхлый влажный бугор отвальной супеси.

Подбегая с берегу, Палин увидел, что из черной трубы поток воды лил с расходом около ста тонн в час, вначале довольно тугой, он затем расширялся, теряя упругость, и, подхватываемый и разрываемый ветром, крупными барабаниющими брызгами покрывал акваторию и бетонированные откосы приямка. А чуть в отдалении, где отводящий канал соединялся с морем, бурлил и кипел мощный тысячекубовый разбавляющий вал технической воды от насосной станции.

— Ну вот, видишь... Все произошло... — с горечью произнес Палин, и голос утонул в грохоте моря.

Он посмотрел на Федосова, стоявшего по ту сторону с канала, и беспомощно улыбнулся. Резким толчком слезы обиды надавили на глаза ему, но тут же отпустило...

«Спокойно, спокойно...» — шептал он сам себе, болезненно ощущая собственное бессилие перед случившимся.

Федосов вконец замерз. Расплющенное боксерское лицо его, и без того не отмеченное живостью, теперь совсем застыло. Он глядел на Палина и, видно было, хотел что-то сказать и не мог. Море, ветер и ревущая вода из труб — все это слилось в единый оглушающий шквал звуков. Палин резко махнул рукой в сторону блока атомной электростанции, мол, уходи, уходи скорей!

И вслед за тем крикнул что есть мочи:

— Беги! Беги!

Но понял, что Федосов не слышит, потому что и сам он свой голос не слышал, а ощущал только гортанью.

Федосов уже двинулся с места, перешагнул, легко оттолкнувшись, канаву с черной трубой и, обойдя прямок, подошел к Палину.

— Дерьмо льют? — спросил он в самое ухо. Глаза черные, застывшие. Губы шевелятся с трудом, как у пьяного.

— Да! — ответил Палин. — Льют... Иди! Ты замерз! Я побуду! Пришли Проклова! Пусть теплее оденется!

Федосов кивнул, лицо его вздрагивало. Он двинулся вдоль траншеи по буграм и распадкам супесных влажных отвалов к атомному блоку.

Палин посмотрел Федосову вслед, и ему показалось, что в фигуре удаляющегося человека появилась легкость освобождения. Подумал вдруг, что его, Палина, сопротивление, запоздало проснувшееся сознание ответственности перед Природой и человечеством — сегодня его, Палина, достояние, и только его...

«Сам, сам, сам!» — приказал он себе и быстро прошел к отводящему каналу, черпнул колбой воду на выходе из прямка, посмотрел на свет. В мутноватой воде плавали несколько крупинок смолы радиоактивной пульпы фильтропорошка. Он снова вымученно улыбнулся, словно изумляясь открытию...

— Ах, проклятье! — крикнул он, не слыша своего голоса, потонувшего в грохоте моря и реве ветра. — Проклятье! — он поднес колбу с водой к радиометру, переключил диапазоны.

«Рентген в час... Концентрированную радиоактивную грязь хлещут в море...»

Он поставил колбу с водой на землю. Ощущал лицом мелкие брызги разбивающихся о берег волн. Несколько раз облизнул быстро солонеющие на морском ветру губы.

«Безумцы! Ах, безумцы!.. Бездари!» — Непрерывно нарастающий гневный гул моря будто удесят�ерял силы, злость. Он бросил радиометр на влажный песок, судорожно сжал кулаки. Песок то влажнел и отдавал глянцевым блеском при накате волн, то будто мгновенно просыхал и становился белесовато-матовым, когда волна отходила.

— Простите меня... — сказал он вдруг. Море вторило ему в ответ надсадным грохотом. — Простите... — еще раз сказал он в пространство.

Ему было почему-то стыдно произносить эти слова, стыдно перед самим собой. И если это был не стыд, то очень неприятное болезненное чувство. Он проиграл... Факт... Все его благие намерения привели вот к этому: струя радиоактивной пульпы от атомного блока и вал разбавляющей воды от береговой насосной...

Беспомощность и ощущение фатальной неизбежности случившегося толкали его то во власть отчаяния, то к холодности стороннего наблюдателя. И вместе с тем на фоне колебательного состояния своих чувств Палин ощущал как бы не зависящую от его переживаний, подспудную работу мозга, анализирующего ситуацию.

«Здесь все просто. Тайны нет. Торбину, Мошкину, Алимову надо прикрыть свою несостоятельность... Или это и есть руководство?.. Если это так... Нет, нет, именно так... И еще... Еще кому-нибудь это надо... Срок — это не голая временная категория. За ним чины, награды... Многое, многое... В конце концов — признание, жизненный успех...»

Палин вновь ощутил прилив яростного нетерпения, придавшего ему сил. Он схватил радиометр, полуутонувший в морском песке, колбу с водой и плавающими в ней «икринками» радиоактивной смолы и побежал вдоль траншеи к зданию управления, ощущая на бегу разгоряченный стук сердца. Явственно увидел перед собой прохаживающегося по кабинету Торбина. Сытое пузцо. Руки глубоко в карманах. Круглая литая болванка лица. Уверенно ступает по бледно-зеленой латексной дорожке. Взгляд под ноги. Думает...

Палин ворвался в управление, но за порогом заставил себя остановиться, перевести дыхание. Туда-сюда сновали знакомые и незнакомые люди. Не замечал, кто именно, взгляд не фиксировал. Как обычно, эксплуатационники, строители, командированные. Кто-то приветствовал его. Он не замечал, кто...

Внутренняя сила толкала его вперед.

Он шел, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Поднялся на второй этаж, перешагивая через ступеньки. Сердце выскакивало из груди.

«Спокойно, спокойно...» — шептал сам себе.

Перед дверью кабинета Мошкина Палин остановился, почувствовав внезапную неуверенность, но переборол себя и резко, даже зло толкнул дверь. Остро пахло латексным паласом. В кабинете был один Торбин. Он в раздумье прохаживался вдоль стола заседаний, как-то резко ставя ногу на грань каблука и четко перекачиваясь на носок. Это выглядело смешно. Палин невольно улыбнулся. Торбин в этот момент повернулся к Палину. Захваченный врасплох, покраснел. Ноги чуть в стороны, стойка властная, монументальная. Полы пиджака откинута назад, руки глубоко в карманах. Белоснежная рубаша натянута на животе. Глаза холодные, чужие. Краска еще не сошла с его лица. Некоторое выражение растерянности.

— У вас что? — спросил Торбин глухим голосом.

— Вот что! — Палин протянул ему колбу с радиоактивной водой, не сводя с Торбина глаз и ловя реакцию его лица.

— Что это?

— Радиоактивная вода с пульпой... Видишь, «икринки» плавают?..

Лицо Торбина гневно побурело, но голос прозвучал все так же сдержанно глухо.

— Зачем вы принесли сюда это? Здесь не лаборатория...

— Я принес это с берега моря...

Палин внимательно следил за начальником главка и ощущал в себе постепенно нарастающее раздражение. В глазах Торбина метнулась тень. Он с надеждой посмотрел на дверь, затем отошел к столу заседаний и, прислонившись задом к торцу стола, скрестил руки на груди.

— Ну и что? — грубо спросил он. В голосе прозвучал металл.

Неожиданный спазм перехватил Палину дыхание, в глазах потемнело от гнева. Срывающимся визгливым голосом он прокричал, потрясая колбой и выплескивая на голубую латексную дорожку радиоактивную воду.

— До каких же пор все это будет продолжаться?! А?! Сергуня?!

В глазах Торбина заматались тени, он опустил руки с груди и схватился за ребро столешницы.

— Вы пьяны! — строго сказал Торбин и невольно откинулся назад, словно опасаясь удара.— Вон отсюда, наглец! — выкрикнул он, сильно побледнев. Глаза непрерывно бегали, наблюдая за каждым движением Палина, лицо которого в нехорошем оскале и впрямь становилось страшным.

Палин испытал вдруг момент полной раскованности. И облегчения. Будто прорвало давно мучивший его гнойный нарыв.

Он нетерпеливо дернул головой. Русский чуб сполз на лоб, прикрыв переносье. Глаза возбужденно блестели.

— Не узнаешь, Сергуня?! Ну и сволочь же ты!..

— Что вам надо?! — спросил Торбин придавленным голосом. Лицо его вздрагивало.

Послышался глухой звук падения, смягченный ворситом латексной дорожки: Палин бросил радиометр на пол. Наклонился, не спуская глаз с Торбина, дрожащей рукой поставил колбу на палас. Резко выпрямился. Колба упала набок. Вода, булькая, полилась как ртуть на непромокающий палас. Края лужицы вздуто закруглились. Не заметив, что колба опрокинулась, Палин стремительно прошел и стал вплотную к Торбину. В упор выпалил:

— Ты сволочь, Сергуня!.. — Огромные лапищи Палина судорожно сжимались и разжимались.

Торбин широко открытыми, побелевшими вдруг и полными откровенного страха глазами смотрел то в лицо Палину, то на его страшные конвульсирующие руки.

— Дорвался до власти?! — Палин от возбуждения брызгал слюной. — По твоему приказу эту гадость льют в море!.. — Он резко повернулся, выкинув руку в сторону колбы. Увидел, что она опрокинулась. На ковре покачивался и вздрагивал выпуклый, словно лужица ртути, мениск воды, под которым серебристо поблескивали пузырьки воздуха. Выругался: — Ч-черт!.. — Палина словно захлестнуло страстным желанием действовать, крушить, расправляться.

«Сейчас ударит...» — мелькнуло у Торбина и вырвалось торопливое, заслоняющее:

— Что ты, что ты?!

И вдруг Торбина словно бы осенило. Он быстро глянул на дверь, в глазах метнулись голубоватые тени. Оттолкнувшись от стола, он встал прямо, оказавшись вплотную к Палину. Их лица почти соприкасались.

— Брось дуришь, Вовка!.. — сказал Торбин полудружески, и в голосе его снова скребанул металл и появилась начальственная уверенность.

Палин ощутил лицом теплые толчки воздуха из его рта. Брезгливо сморщился.

«Вот когда признался! — мелькнуло у него, и в голову ударила горячая волна гнева. — За счет «Вовки» решил выкрутиться, стервец!..»

Палин задрожал. Было видно, что он сдерживает себя, но после мгновения заминки он судорожно схватил побелевшего, упитанного начальника главного управления за лацканы пиджака, несколько раз как следует потрянул, то отдаляя от себя, то подтягивая к самому лицу.

— Ты гад, Сергуня! Ты преступник! Ты понял это наконце-ец?!

— Ты-ы... за-за... э-э-э-то... о-о-отве-е-тишь! — прокричал Торбин впервые жалобным голосом, заикаясь в такт встряхиванию.

— Гад! — выдохнул Палин и не особенно сильно толкнул его от себя на стол. Тот опрокинулся на спину, с метр проехал на спине по столешнице длинного стола заседаний, оставив на пыльной поверхности темную блестящую широкую полосу. Потом привстал на локтях и, видимо, ожидая нового нападения полушепотом, исполненным откровенного страха, заикаясь, повторил:

— Ты-ы-ы... е-еще... за-за это о-о-ответишь!..

В серых, совершенно отрешенных, прозрачных от страха глазах дергались тени, словно пытались скрыть незащищенность хозяина. Но тщетно. Страх всегда истинное чувство, и пока оно властно владеет человеком, ложь бессильна.

Торбин все еще полулежал на столе заседаний, но Палин уже как-то обмяк, махнул рукой и сказал:

— Ладно, Сергуня... Бить не буду. А надо бы... И напоить бы тебя этой радиоактивной водичкой, которой ты нас...— Палин отошел от Торбина и обессиленно плюхнулся в кресло.

В это мгновение входная дверь распахнулась и в кабинет быстро вошли директор АЭС Мошкин и запыхавшийся, в борцовском полусгибе главный инженер Алимов. Казалось, он искал, с кем бы схватиться. Они оба на мгновение замерли и вслед за тем почти в один голос взволнованно выкрикнули:

— Что с вами, Сергей Михайлович?!

«Отработанный дуэт...» — подумал Палин и усмехнулся. Он увидел вдруг, как изменилось выражение лица Торбина. Оно вновь налилось свинцовой тяжестью. Большие серые глаза как бы сжались и обрели знакомую уже отрешенность.

Торбин слез со стола спокойно, и при этом в движениях сквозили властность и несколько подчеркнутое, как показалось Палину, чувство собственного достоинства. Он притопнул ногами по полу, словно нащупывая твердь, погладил поочередно одной, затем другой рукой зад, что означало, видимо, стряхивание пыли, приподнял за лацканы и круто дернул вниз пиджак, отчего он плотно слился с ожиревшей фигурой, глубоко сунул руки в карманы, посмотрел в сторону Палина, сказал с металлом в голосе:

— Сей тип осмелился поднять на меня руку...

Фраза прошла спокойно, почти вполголоса. Затем Торбин налился кровью и, сильно размахивая перед лицом Мошкина расхлябанной ладонью, будто срывая на нем зло, закричал:

— Распустили, па-анимаешь, подчиненных! На представителей правительственного учреждения у вас тут может любой подонок руку поднять!.. Я требую немедленно навести пар-рядок!

Завершающую фразу он уже не прокричал, а проревел.

Смертельно бледный Мошкин (Палину показалось, его хватит удар) бросился к телефону и лихорадочно набрал

— Алло!

От громового баса Мошкина у Палина защекотало в ушах, и ему показалось, что звякнула крышка в пустом графине.

— Срочно милицию! На АЭС!.. Да-да!.. Экстраординарный случай! Бешеное хулиганство!.. Спасибо... Кабинет директора... Да...

В это время Алимов в панике прихлопнул себя по бокам руками, будто петух крыльями, и стал беспорядочно носиться по кабинету, причитая:

— Ну ты даешь! Ну ты даешь, Палин! Ну варвар!

Остановился вдруг против него, запечатлевающе глядя, снова прихлопывал себя по бокам.

— Ну ты даешь! Чего удумал!

Он снова побежал вкруговую, наступил на вздрагивающий мениск радиоактивной воды, отбросив носком ботинка колбу, и понес грязь по паласу. Все еще бледный Мошкин подошел к Палину. Огромные как блюдца черные глаза его горели яростью. Палин смотрел на него с легкой усмешкой и видел, что глаза директора вместе с тем какие-то виноватые, и кажется, будто все это означает: «И чего же это ты, парень, натворил?!»

— Встать! — заорал Мошкин.

— Не орите, — спокойно ответил Палин, продолжая сидеть.

Мошкин растерялся, повертел головой туда-сюда, будто ища поддержки, полуобернулся к Торбину, забасил в пространство:

— Он у нас ответит, Сергей Михайлович, будьте спокойны!.. Мы его пропесочим на партийном собрании, понизим в должности, отдадим под суд! Да-да!.. — подчеркнул он, снова глянув на Палина, но, споткнувшись о его спокойный, даже уверенный и чуть насмешливый взгляд, отвернулся и, полный, казалось, клокотавшего гнева, отошел к окну.

В кабинете на мгновение все замолкли, и в этой внезапно наступившей тишине повисла неловкость. Палин тоскливо подумал: «Скорее бы милиция, что ли...»

— Грязь не разносите, — вяло сказал он циркулирующему по кругу Алимову. Тому только этих слов будто и не хватало. Он весь вдруг взметнулся как-то, подскочил к сидящему Палину, стал в борцовскую стойку и, налившись грузной кровью, сипло закричал:

— Ну ты даешь! Ну варвар!.. Притащил радиоактивную воду в кабинет директора!.. Надо же, удумал! Креста на тебе нет! Теперь палас куда прикажешь?!

— Куда... На деактивацию...

Палин улыбнулся. Ему стало почему-то смешно. Вспомнив все только что происшедшее, посмотрел на важно и молчаливо прохаживающегося почти вплотную к столу заседаний Торбина. Видно было, что он внимательно слушал, иногда чуть скашивая глаза в сторону говоривших, и обдумывал происшедшее.

Палин будто увидел всю картину со стороны: и себя, вяло сидящего в кресле, и директора, застывшего у окна, и Торбина, и пританцовывающего рядом Алимова — и вдруг подумал: «Какой конфуз!»

И, глядя прямо в что-то выискивающие глаза главного инженера, засмеялся широко и полно, показав крепкие белые зубы. Он подумал с облегчением, что как хорошо все вышло! Ему легко. Да, ему легко.

Палин посмотрел на директора, главного инженера и начальника главка как-то по-особенному освобожденно, открыто, даже немножко пожалел их и встал. Все трое повернулись к нему, и он увидел, что на какое-то мгновение глаза всех троих дрогнули, кажется, удивлением.

— Ну где же милиция? — спросил Палин весело.

«Хорошо!» — еще раз подумал он, ощутив прилив свежей силы во всем теле, и враз весело напряг, будто разминая, все мышцы...

В дверь постучали.

— Да-да, войдите! — Алимов и Мошкин, оба сильно покраснев и переглянувшись, бросились к двери.

Очень мягко ступая, и даже, как показалось Палину, очень осторожно раздвигая вокруг себя пространство, вошел в кабинет довольно полный, круглолицый майор милиции с планшетом в одной и с ключом зажигания на анодированной цепочке с фигурно отштампованными звеньями в другой руке. Он внес в кабинет еле уловимый запах только что работавшего автомобиля. Лицо его розовело, и Палину показалось, то ли от смущения, то ли естественным, свойственным ему цветом.

Майор остановился и, обведя присутствующих эдаким милицейским, чуть бравым взглядом маленьких, утонувших в складках морщинистых век голубеньких цепких глаз, взял под козырек и строго спросил:

— Что случилось, товарищи?

Палину показалось, что по лицу Торбина промелькнула тень смущения или даже беззащитности. Он остановился боком к майору, и было видно, что он хочет что-то сказать, но не решается.

Палин был спокоен. Майор недоуменно обводил всех взглядом, не понимая, видимо, кто же здесь преступник, кто потерпевший. Похоже, только теперь, с приходом майора, оппоненты Палина поняли, как нежелательно и неожиданно далеко зашло дело.

Палин уже подумал, что начальство решило отработать задний ход, как вдруг Алимов смущенно рассмеялся и сказал, показывая рукой на Палина:

— Вот, товарищ майор, полюбуйтесь, добрый молодец... Чего удумал...

В этот момент майор уже с любопытством смотрел на Палина. Палин же — на Торбина, который повернулся теперь к майору. В глазах у Торбина печальная задумчивость. Лицо медленно бледнело.

«Вот теперь-то до него дошло, — думал Палин. — Теперь-то он испугался по-настоящему. Предстоит гласность... В этом все дело... А этот чудик ничего не понял... Старается...»

Алимов не стоял на месте. Как-то весь дергался, делал нырки головой слева направо, справа налево.

— Чего удумал! Поднял руку на начальника главного управления... Ну ты даешь!.. — снова обратился Алимов к Палину, не сумев до сих пор переварить случившееся и бросая ошалелый взгляд то на майора, то на Палина.

Палин видел, что Торбин теперь смотрит на Алимова как-то тяжело, грузное лицо наливается недовольством и враждебностью.

Мошкин во все глаза смотрит на Торбина. Лицо бледно-розовое, натужное. Дряблые белые складки кожи на шее и затылке мелко вздрагивают. По выражению лица видно, что он тщится принять решение. Но вот, видимо, в нем что-то сдвинулось, он весь дернулся, оторвался от окна, быстро подошел к майору, приговаривая при этом и глядя на Алимова:

— Буде... Буде, Станислав... Ничего здесь такого, чтобы... не произошло...

Палин заметил, что Торбин стронулся с места и стал удовлетворенно, будто видом своим подбадривая Мошкина, прохаживаться вдоль стола заседаний. Голос Мошкина на этот раз был придавленный, глуховатый, заговорщический.

— Сейчас я вам кое-что скажу, товарищ майор... — И с этими словами директор обнял милиционера за плечи и повел, наклонившись и что-то шепча ему, в противоположный угол кабинета.

Потом они вернулись. Майор довольно решительно подкатил к Палину свое чрезмерно упитанное, с небольшим животиком, плотно обтянутое формой и портупеями тело, отдал честь и довольно строго сказал:

— Товарищ Палин, прошу проехать со мной!

Палин открыто глядел в лицо майору, и поскольку оно было теперь очень близко, увидел будто через лупу рыжеватые густые брови, неподвижные холодноватые радужины серых-серых глаз. Потом лицо. Розовое. Кожа грубая. Обветренные, чуть поджатые губы, слегка скошенный назад с ямочкой подбородок. В целом — упитанность и благополучие в лице.

«От тебя теперь зависит многое, майор», — мысленно обратился к нему Палин. И добавил вслух, будто спохватившись и торопливо:

— Поехали, поехали...

До машины шли молча. Палин почему-то с легким чувством на душе. Ощущал подобранность. Майор шел вразвалочку, важно.

«Толстоват...» — подумал Палин, скосив глаза и увидев отчетливо живот стража порядка.

«Жиреем, — подумал. — Держит дистанцию. Все правильно».

Сели в синий с желтым милицейский «ГАЗ-69».

«Достукался...» — подумал про себя Палин со слабой улыбкой на побледневшем лице и зло захлопнул дверцу, плюхнувшись в продавленное сиденье рядом с водителем. Майор по-хозяйски, вразвалочку обошел машину спереди, приподнял капот и зачем-то сунул под него голову. Впрочем, тут же выпрямился. Постоял, посмотрел в сторону атомного блока. Капот захлопнулся — будто сам, с коротким звяком.

Палина заполнило раздражение.

«Важничает власть... Скорее, дорогуша! Сам рыбку будешь по выходным дням ловить... Женушка уху сварганит...»

Он высунул голову и, не скрывая нетерпения, крикнул: Ну едем, что ли?!

Майор фотографирующе посмотрел на него, мол, теперь, голубчик, можешь не торопиться. Власть свое дело знает. И снова отвернулся. Палина взорвало. Он пулей выскочил из машины, подскочил к майору, закричал:

— Чего вы ждете?! Каждая минута дорога! Быстро! Высокорадиоактивная вода с пульпой фильтропорошка льется в море. Вы отдаете себе отчет в том, что и вы, представитель власти, втянуты теперь в эту грязную историю?!

«Нет, конечно же он еще ни в чем не отдает себе отчета!»

Напор был столь неожидан и быстротечен, что весь заряд Палина, похоже, проскочил мимо вдруг задубевшего милиционера. Он весь надулся, налился кровью, но голос сдержал, хотя угроза все же и проскочила.

— Товарищ Палин, вам лучше вести себя потише. Я теперь вижу, что вы действительно способны на проступок... Садитесь в машину.

Майор нахмурился. Оба зло сели на свои сиденья. Газик рванул с места, и они выскочили на шоссе. Дорога — асфальт с выбоинами — шла лесом. Сильно кидало на ямах. Палин держался за скобу и про себя чертыхался. Майор недовольно молчал, наклонив голову вперед. Остро и свежо пахло бензином.

«Подтекает печка», — подумал Палин.

— Я жутко на вас надеюсь, товарищ майор, — сказал вдруг Палин дружелюбно.

— Ваше дело теперь короткое... — ответил двусмысленно милиционер, чуть усмехнувшись и не отводя глаз от дороги.

Но лицо его немного помягчело.

— Как же это так? Интеллигентный человек — и додумался до такого... Поднять руку на начальника главного управления... — Майор метнул взгляд в сторону Палина.

— Я интеллигент в первом поколении, — засмеялся Палин. — Прямо от сохи. Мне можно.

Майор снова, но уже молча зыркнул на него.

Машина вдруг остановилась так резко, будто ткнулась в стену.

«С характером дядя!» — одобрительно подумал Палин, глядя на деревянное, обшитое доской и крашенное синей краской здание милиции.

Мимо дежурного по участку прошли по узкому коридору. Пол под ногами поскрипывал. Накурено. Третья дверь направо.

«Майор Дронов», — прочел Палин табличку на двери. Им владело острое ощущение новизны и любопытства. Слава богу, первый за всю жизнь привод в милицию!

Майор в малом объеме кабинетика как-то изменился, стал, что ли, менее официальным.

«Почему?» — привычно мелькнуло у Палина.

Майор подошел к зарешеченному окну, что-то посмотрел там во дворе, сел за стол, пригласил Палина сесть. Положил руки перед собой, как ученик на парте, навалившись грузной грудью на столешницу. Лицо его стало мягче обычного, и он смущенно кашлянул.

— Видите ли, товарищ Палин... Я хочу начать с другого... — Он смущенно опустил глаза. — Впервые привожу в этот дом атомщика... Вы ведь атомщик...

— Не нравится мне это слово, — ответил Палин, чуть улыбнувшись, — но положим...

— И небось с солидным стажем?

— Двадцать три года...

— И Курчатова видели?

— Знал Бороду... — Палину было невдомек, к чему клонит милиция.

Майор вдруг откинулся на спинку стула, который был плотно прислонен к жидковатой деревянной переборке. Стена натужно крикнула.

— Не думайте, я ведь тоже интересуюсь вашими атомными делами. Читал там всякие ваши книжки про ядро, цепную реакцию... Диву даешься, до чего дошел человек! — Майор смущенно улыбнулся. — Я ведь что?.. Считаю своим долгом... Как-никак милиция при атомном городке... Каждый рядовой милиционер должен в атоме разбираться... Так?..

— Отлично! — весело сказал Палин, отметив, как подобрело лицо майора, и подумал: «Черт возьми! Так это же везуха! Советская власть в лице своего исполнительного органа пылает интересом... Это же то, что надо!»

— Гордость берет, — продолжал Дронов, — чего достигли... Скажите, товарищ Палин, а как насчет соотношения сил? Ну, мы и Америка, положим... Кто здесь кого?.. Имею в виду мирное использование атома.

— Они нас, — жестко сказал Палин, начиная понимать, что майор, кажется, заражен контрольными цифрами наших планов, патриотизмом и тому подобным настолько, что это мешает ему ощущать реальность.

— Скажите, а бергеры у нас есть? — неожиданно выпалил майор, победно поглядывая на Палина.

— Какие бергеры?

— Ну, быстрые реакторы... На быстрых нейтронах?..

— Бридеры, — усмехнулся Палин, внимательно разглядывая лицо майора. Тот густо покраснел, хихикнул, виновато пробубнил:

— Мы еще тут темнота, не все ясно... Да разве сразу такое освоишь?.. у меня к вам просьба, товарищ Палин...

— Я к вашим услугам, — Палина все не покидало какое-то внутреннее удивление и легкая, чуть тронувшая душу досада.

— Вы не могли бы для личного состава нашей части прочесть лекцию об атомной энергетике у нас и во всемирном, так сказать, масштабе?

— С великим удовольствием!

— Ну, лады, договорились, — майор как-то даже по-родственному улыбнулся. — Ну, лады, ну, лады. Я знал...

Наступило неловкое молчание.

«Теперь наступай, наступай!» — приказал себе Палин, но почему-то ощущал апатию, будто о чем-то таком догадывался заранее.

— Ну что? Теперь к неприятной части?.. — спросил он, вяло улыбнувшись. Сидел он на стуле вполоборота и чуть наклонившись вперед, растерянный и усталый.

— Что у вас произошло? — спросил Дронов мягко.

— Происходят дела неважные... — сказал Палин. — Сбрасываем радиоактивную грязь в море, товарищ майор. Прямое нарушение закона об охране окружающей среды, но этого мало...

И Палин подробно рассказал с возможно большей популярностью обо всем, что его мучило последние два дня. Майор слушал молча, и на лице его не мелькнуло ни одной тени. Наконец он спокойно сказал:

— То, что вы говорите, настолько непостижимо, что кажется неправдой. Почему же тогда наше руководство не принимает никаких мер? Вы не преувеличиваете?

Палин в своем рассказе опустил подробности об озере Ильяш, Соушах, и в нем вдруг метнулось желание рассказать и про это, но он сдержался.

— Товарищ майор, вы назвали меня атомщиком. Это неприятное слово. От него пахнет ядерной войной, веет каким-то черным смертным цветом... Но вы правы. Сегодня я атомщик. Я... Да и вы тоже... Сегодня мы враги Природы, сами себе враги... Понимаете, здесь не просто рыба или еще что там гибнет или страдает... Человек наносит удар непосредственно самому себе... Предположим, мы избежали ядерной войны. Предположим... Но сегодня масштабы строительства атомных электростанций таковы, что через двадцать лет ими будет усеяна вся европейская часть Союза... Представляете, что будет, если вот так же, как сейчас у нас, каждый миллионный энергоблок будет безответственно лить высокоактивные сбросы в реки, моря, под землю... Думаю, что тогда через два-три поколения... то есть на наших внуках все кончится...

Палин почувствовал, что чересчур разволновался и вспотел. Посмотрел внимательно на майора.

Хот молча опустил глаза. Не поднимая глаз, тихо спросил:

— Печальную картину вы нарисовали... Неужто так все будет? А что же думает наука?..

— Он снова поднял глаза и подозрительно в упор глянул в лицо Палину. — Академики?..

— Академики и прочие... нуль без Советской власти! — зло выкрикнул Палин, чувствуя, что теряет самообладание.

— Выходит, один товарищ Палин умнее всех? — ехидно спросил майор и как-то весь подобрался, давая понять, что наступил какой-то предел.

«Не дошло... — уныло подумал Палин и опустил голову. — Пустой выстрел... Конечно... Если у самого тебя, который варился в этом дерьме четверть века, самосознание на этот счет проклюнулось вон с каким трудом... Чего уж тут?..»

— Что же вы предлагаете? — вдруг услышал он голос майора.

Немного воспрянув духом, Палин поднял глаза.

— Я в тупике, майор... Видите, я даже бросился с кулаками на того, кого посчитал виноватым... Но виноваты-то все мы, все... Всех нас бить надо... В этом фокус...

Палин увидел, что майор глядит на него испытующе, и решительней продолжил.

— Здесь надо употребить власть!.. Немедленное решение исполкома!.. Я берусь организовать расследование и обеспечить вас объективными уликами преступления... Милый мой, поймите!.. — взмолился Палин.

Глаза у майора забежали.

— Хотите, я вам сейчас прямо отсюда кое-что покажу?.. — Палин схватил трубку телефона и набрал номер начальника смены АЭС на блочном щите управления.

— Болотов, — послышалось в капсуле.

— Алло! Виталий! Говорит Палин...

— Ну и ну! — воскликнул Болотов. — Говорят, тебя уже зацапали. Ты не из кутузки, случаем? Хе-хе-хе!

— Пока еще нет...

— Стало быть, брехня?! Ну трепачи!

— В море еще качаешь?

— А как же... — голос Болотова был спокоен. — Качать не перекачать, Володя. Такая наша планида... Заходил Торбин. Жмет, торопит...

— Значит, качаете? — переспросил Палин и тут же приставил трубку к уху майора.

— Качаем, качаем... Алло! Алло!

— А какая активность?! — крикнул Палин, не отнимая трубку от уха майора и приложившись с другой стороны.

— Почти что «куб»... — ответил Болотов. — Минус четвертая степень кюри на литр. А что делать?..

— Все... Вот так... — Палин положил трубку. — «Куб», понимаете?! Самая что ни на есть грязнотища — и в море!.. Что будем делать, майор?! — Палину уже казалось, что он на коне и дело тронулось.

У майора Дронова снова забегали глаза. Затем он совладал с собой и глухо сказал:

— Темное это дело, товарищ Палин... Умнее всех мы с вами получаемся... Как-то странно все выходит... С одной стороны, гордость в душе за дела наших рук, с другой, получается, надо расследовать и кого-то привлекать... Что-то плохо верится... Сколько уж лет атомными делами страна занята, а что-то ничего особенного не слышать было... Вот такие дела... — Майор улыбнулся и пристукнул ладонями по столу.

Палин уже с минуту слышал в коридоре какой-то шум, выкрики женского голоса в стороне дежурного по участку, но до его сознания не доходило, что это может означать.

— Может, пойдемте вместе к председателю исполкома и я ему все расскажу? Досконально. Тут не понять нельзя. А? — еще раз взмолился Палин, заметив, как по лицу майора мелькнула тень легкой досады.

— Эти дела, товарищ Палин, надо через «верхи» делать. Мы при вашем атомном блоке состоим... Такие дела... Не было бы блока, и этого городка, и нас бы тут не было. Так ведь? — Он весело посмотрел на Палина, чуть наклонившись вперед, и теперь уже и вовсе было видно, что Палина он всерьез не воспринимает.

Палин заметил это и, будто пытаясь еще раз удостовериться в том, упавшим голосом спросил:

— Лекцию-то надо читать?

— Ну конечно, конечно же! — В лице и голосе майора были увертливость и насмешка и какая-то рафинированность выговора. Особенно в этом «конечно, конечно» с нажимом на «ч».

В это время в дверь постучали и в комнату просунулось очень отекавшее сегодня с утра, а теперь еще и заплаканное лицо Сони. Увидев мужа, она как-то ошалело ворвалась в кабинет, плотно прикрыла за собою дверь и даже несколько раз потянула, чтобы удостовериться, что закрыта хорошо.

— Извините, пожалуйста! — сказала она майору подобострастно.

Палин же растерянно смотрел на жену как на совершенно чужую женщину. Из-под высокой, грязноватого цвета шляпки горшочком выбились непричесанные, похоже, волосы. Джерсовое пальто, почему-то теперь только Палин заметил, здорово замусленное и поблескивающее на вздутиях живота, груди и бедер, облегалo ее, будто бочку, и казалось с

чужого плеча. И ноги: острые почему-то, какие-то сиротливые коленки, резкие, по-мужски очерченные икры...

Рог ее вдруг растянулся, из амбразурок глубоко сидящих глаз по малиновым от недавнего плача щекам полились обильные слезы. Глядя на Палина и истерично ломая себе пальцы, она запричитала, адресуя свои слова к майору:

— Товарищ начальник милиции-и-и! Отпустите-е его-о, ирода проклятого! Совсем за семью не думает! Жена больная, крошечка сын... Выращивать еще-е-е-х! Господи! Даром что начальник радиационной безопасности...

Она вдруг взъерилась, и от гнева даже неожиданно высохли слезы, и, воспаленными горячими глазами обжигая мужа, зло закричала:

— Тебе доверили дело, а ты безответственный га-а-ад! Не думаешь ни о семье, ни о государстве! Толечко свою дурь ублажаешь!.. Товарищ начальник! — решительно обратилась она к майору, который несколько в смущении наблюдал за сценой. — Отдайте мне его на поруки! Больше такого не повторится... Клянусь я!.. Он ведь двадцать пять лет, почитай, отстукал, атомную бомбу делал... — Сонины глаза в каком-то полубезумии с примесью обожания обожгли Палина. В глазах майора, было потухших и официальных, при упоминании об атомной бомбе плеснулись вдруг огоньки. Он вновь посмотрел на Палина со значением, будто что-то прикидывал.

— Он хороший, вправду, товарищ начальник... — Голос Сони заюлил. И глаза как-то выразительно прищурились, превратившись и вовсе в узкие щелочки.

— Видно было, что она гипнотизировала майора, и того невольно тронуло ее волнение. Да-да-да... Да-да-да... — бормотал он в ответ.

Какое-то время Палин сидел словно в оцепенении, безучастно глядя на жену. То ли невольно, а может, являясь выражением какой-то внутренней закономерности движения его взбудораженной души, перед его мысленным взором стали возникать вдруг картины его прошлой жизни с женой.

«...В городском саду играет духовой оркестр...» Грустная музыка далекого, такого далекого вальса... По-теперешнему очень наивные слова... И все равно дорогие... Круглая, огороженная высоким деревянным частоколом танцплощадка, прозванная «тетеревиный ток» из-за частых пьяных драк...

Но для него это место памятно. Там он впервые увидел Соню...

Рябой от неподвижной редкой листвы диск луны. Струющаяся, будто с крон деревьев стекающая музыка... Соня танцует. Стройняшка, белокурая... Рассыпчатый шелк волос...

«Березка...» — подумал тогда Палин.

Большие ясные доверчивые глаза... Березка, Березка... Он так и звал ее до того самого дня...

Ах, если бы праздничная комиссия, инспектируя территорию склада, по невежеству своему не сделала тогда предписание сдвинуть в одно место бочки с жидкими радиоактивными отходами солей плутония и пятого урана... Если бы... Тогда все для них с Соней было бы иначе...

Но произошло... Сдвинутые вместе, они образовали крит- массу...

Значительно позднее Палин узнал, что всего лишь пяти килограммов плутония в чистом виде достаточно, чтобы обеспечить ядерный разгон. В сдвинутых бочках было гораздо больше...

Взрыв на складах был очень мощный, хотя и не достиг полных параметров атомного. Позже подобное явление получило название СЯР — самопроизвольный ядерный разгон. Попавшие в эпицентр погибли сразу. Не меньше бед принесло и радиоактивное облако, низко пронесшееся над городом, лесами и полями...

Сонечка Палина, лаборантка объектовской ТЭЦ, и две ее подружки по дороге домой были накрыты облаком взрыва в полутора километрах от места аварии. Оставшийся путь доехали на рейсовом автобусе...

Спустя час — температура, рвота, понос, гиперемия кожи, отеки. С «неотложкой» отправили в медсанчасть...

Доза, ею полученная, составила двести пятьдесят рентген. Кроме того, надышалась и наглоталась активности внутрь. Вся распухла. Выпали волосы...

Палин неделями дежурил у ее изголовья. С содроганием смотрел на жену. Милой Березки больше не было. На койке лежала отекая, облысевшая и сильно постаревшая женщина. Лишилась сна. Лежала с открытыми глазами, тупо уставившись в пространство перед собой...

— Сонечка, милая,— просил Палин,— усни хоть немножко...

Пустые серые глаза. Глухой голос:

— Нету сна, Вова... Мне кажется, я никогда не спала... Странно думать, что где-то спят люди... А ты храпел ночью...

Палин покраснел. Соня пристально посмотрела на мужа и твердо сказала:

— Бросай меня, Вовка... Зачем я тебе такая?..

— Никогда! — ответил Палин.

Соня вдруг сильно побледнела и потеряла сознание.

— Ей вредны эмоции... Положительные тоже... — сухо сказал лечащий врач. — Нервная система еле дышит...

Лечили тогда примитивно. Давали есть сырую печень эмбрионов, кололи витамины и... покой... А там куда кривая вывезет... Вся надежда на природные силы организма...

Соня ела сырую печень через силу. Плакала. Ее тошнило. Палин отирал слезы и кроваво-красный печеночный сок, при разжевывании выступавший по углам рта и струйками стекавший вниз...

Перед аварией Соня была беременна на третьем месяце. После облучения произошел выкидыш...

Отходили Соню с трудом. Вернулась домой — другой человек. Отеки, вялость. Потеряла интерес к работе, жизни. Безразличие к людям, вещам, родному дому...

Медленно, очень медленно возвращались к ней крохи прежних сил и энергии.

По существу, она стала глубоким инвалидом. Моча долгое время была радиоактивной. Неспokoйная кровь. Стойкая лейкопения. Сильно кружилась голова. Ноги плохо слушались. Заново училась ходить. Помощь Палина отвергала, говоря:

— Если не веришь, что научусь сама, лучше уж сразу закопай меня...

Ходила, держась за стену дома. Палин шел рядом, страховал...

Волосы у Сони отрастали очень долго: редкие, иссеченные...

Неожиданно врачи посоветовали рожать. Может быть, роды встряхнут организм и дело быстрее пойдет на поправку... Но легко сказать!.. Долгие годы хроническая лучевая болезнь, привычные выкидыши... Сашку родила в тридцать шесть. Очень слабенький. Синюшный. Еле выходили...

В довершение ко всему у Сони внезапно открылась сахарная болезнь. Высокое давление. Частые гипертонические кризы, никудышные нервы, слабое сердце...

...И вот теперь она, Сонечка, милая белокурая Березка, которую он сразу и на всю жизнь полюбил тогда, с обостренным теперь чувством опасности пытается таким вот своеобразным

деревенским бабьим способом выручить его, Палина, своего мужа, уберечь семью, гнездышко свое...

У Палина сжалось сердце. Он встал, обнял ее за плечи.

— Успокойся, Сонечка, прошу тебя!..

Майор тоже встал и со смущенным выражением на лице вышел из-за стола.

— Не надо так переживать... — сказал он мягко, и на лице его обозначилось сострадание от вида плачущей женщины. — Не надо, прошу вас, успокойтесь...

— Что мне делать? — довольно грубо спросил Палин майора, держа всхлипывающую Соню под руку. — Отсидеть пятнадцать суток или штраф?..

По лицу майора пробежала тень, но он сдержался и, глядя на Палина несколько задумчиво, сказал:

— Вы все же пройдите в исполком... — И, заколебавшись, добавил: — А об остальном после... Потом... Зайдете завтра...

Он проводил их до двери, плотно закрыл ее за ними, и лицо его сразу приняло откровенно озабоченное выражение. Подумал вдруг, что зря «клянул» на это место и переехал так близко к атому... Оказывается... И его вдруг не на шутку охватило серьезное беспокойство за своих детей.

6

Майор Дронов в задумчивости стоял у зарешеченного окна. Тревога не проходила. Смотрел сквозь решетку на маленький заброшенный внутренний дворик, образованный п-образным зданием милиции и глухим деревянным забором.

Взгляд Дронова метался по замкнутому пространству двора, упираясь то в деревянные стены здания, обшитого ссохшейся от времени доской с шелушащейся белесоватой синей краской, то в забор, как-то неровно просевший на грунте, то скользил по прибитой дождями нехоженой рябоватой корке подсохшей пыли...

— Да-а... — сказал он тягуче, отмечая какое-то странно незнакомое звучание своего голоса. Ему стало неуютно. Передернул плечами. — Задумаешься тут... — снова сказал он будто не своим, сдавленным голосом.

В дверь постучали. Майор вздрогнул. Энергично прошел к столу.

— Войдите!

Вошел директор атомной электростанции Мошкин. Неуверенно затоптался у двери. В огромных черных глазах его блуждало удивление. Похоже, он не находил здесь того, кого хотел увидеть.

Дронов узнал директора АЭС. Чувство тревоги и озабоченности отошло куда-то вглубь, но не исчезло, а как-то островато покалывало. Он весь как бы метнулся навстречу большому начальнику, первому человеку в городе, который оказал ему честь и вот теперь стоит на пороге и смущенно топчется. Где-то в глубине сознания у майора все же мелькнуло:

«Все правильно... Советскую исполнительную власть представляем мы...»

— Прошу вас, товарищ Мошкин, садитесь. — И подчеркнул — Рад видеть вас у себя в гостях!..

Мошкин все еще смущенно стоял у двери. Ему очень хотелось узнать, куда подевался Палин. На душе было муторно.

Торбин был с ним сдержан после инцидента, груб. Прямо не говорил, но всем видом своим, неожиданно изменившимся отношением давал понять, что он, Мошкин, перебрал, поторопился с милицией. Дал волю эмоциям... Не подумал...

И тогда Мошкин понял, угадал тайное желание, приказ начальника главка: «Уладить! Замять!»

Поняв это, он не стал звать водителя. Сам сел в «Волгу» и подкатил к милиции.

— Прошу вас! — уже свободней и радушней пригласил Дронов. В глазах его сияли радостно-смущенные искорки. — Чему обязан, товарищ Мошкин?

Директор вдруг свободно прошел и остановился у стола майора. Сел вторым.

— Чем могу быть полезен? — повторил вопрос Дронов, ощущая напряжение во всем теле и подергивая плечами, словно бы пытаясь плотнее вписаться в мундир.

Мошкин смущенно засмеялся, то опуская, то поднимая голову. Он все еще не знал, как начать, проклиная и неожиданную напасть, и своего всегда предельно исполнительного и дисциплинированного начальника отдела радиационной безопасности, и, главное теперь, необходимость просить милицию. И это перед самым пуском. Последним его пуском, который он сам себе определил как последний... Лебединая песня... А там — пенсия... Смерть...

Мошкин устало поднял голову. Огромные черные глаза. Печальные. Это не глаза директора сверхмощной атомной электростанции. Глаза уставшего старого человека. Очень старого... Наконец спрашивает. Голос глухой.

— Товарищ майор... Я, собственно... Поговорить надо...

— Пожалуйста, пожалуйста, — торопливо и вежливо сказал Дронов, еще теснее прижимаясь животом к столешнице и как-то угодливо наклонившись вперед. — Я весь — внимание.

— А Палин-то, что... ушел?.. — спросил вдруг Мошкин, оглядываясь по сторонам, словно бы ища Палина.

— Уш-шел... — сказал майор как-то неуверенно.

— Видите ли, товарищ майор, — Мошкин опустил глаза, — мы, наверное, слегка поторопились... Заварили кашу...

— Ну что вы, что вы! — воскликнул Дронов и откинулся на спинку стула. Деревянная переборка за его спиной крякнула. — Что вы, товарищ Мошкин! В чем вопрос!.. — закончил он, как бы давая понять директору, что готов к компромиссу.

— Атомное дело — нелегкое... — сказал Мошкин глухо.

— Да-да-да... — майор был весь внимание. Казалось, слушали не только его уши, но каждая клеточка лица, каждый волос на голове.

— Вся тридцатилетняя история атомной эпопеи — это героизм... Массовый... И... жертвы... Тоже массовые...

— Да-да-да... Понимаю, — Дронов дернулся, поудобнее устраиваясь на стуле и еще больше подавшись вперед.

— Сам Игорь Васильевич Курчатов не жалел себя... Еще на первом советском реакторе, который был собран на бывшей Ходынке в «Монтажных мастерских»... Никакой защиты... Великий человек ходил вокруг работающего аппарата, прибором измерял нейтронное поле... Конечно, облучался... Стране нужна была бомба...

— Да-да-да... — сказал Дронов с восторженными нотками в голосе. — Сделали бомбу, сделали... Знаю, знаю.

— И там, за хребтом, тоже пришлось хлебнуть... — Мошкин достал большой белый платок и протер лысину и уже потом, как-то нервно, лицо. — Капиталисты грозили нам. Стоял

вопрос о жизни и смерти народа, Советской страны... Мы исполняли волю партии... — Мошкин пытливо посмотрел на майора, словно бы пытаясь понять, насколько тот готов к следующему этапу разговора.

Взгляд Мошкина Дронову не понравился. Ушедшая вглубь, покалывающая тревога вдруг вернулась. Майор насторожился. Картина, нарисованная Палиным, вновь явилась перед глазами. Лицо майора несколько остыло от восторга вызванного приходом и последующей речью директора атомной электростанции.

Мошкин блекло улыбнулся. Опустил глаза.

— Без издержек, к сожалению, не обходится... — сказал он и помолчав, добавил: — Как вы смотрите, товарищ майор, на то, чтобы закрыть вопрос о проступке Палина?..

Мошкин замолчал, чувствуя, как что-то привычное, властное заполняет все его существо. Он как бы вновь обретал плоть.

Майор молчал, ощущая покалывание в сердце. Тревога окончательно выдвинулась из глубины.

— Я говорил с товарищем Палиным, — сказал майор, — и понял, что проступка особого как будто не было, — голос майора был твердым. Он вступил в исполнение обязанностей начальника отделения милиции.

Мошкин вздрогнул. Ощутил, что боль и холод вновь заполняют грудь, а чувство здоровой, властной наполненности истаивает.

Лицо его и складки на шее несколько обвисли и побледнели. Потухшими, с какой-то белесоватой поволокой глазами он тупо уставился в лицо майора.

— Товарищ Палин в некотором роде прав... — Дронов опустил глаза и что-то поискал ими на столе. — Он прав... — суше сказал майор и поднял на Мошкина твердые похолодевшие глаза.

Мошкин отпрянул на спинку стула.

— Я, конечно, не специалист... Но то, что рассказал товарищ Палин... — Голос майора был жесткий, бесстрастный. — Думаю, надо его послушать...

Дронов увидел, что Мошкин весь как-то стал морщиться, морщиться, вроде бы уменьшаться, как бы свертываться. Старик, сидевший перед ним, снова достал платок, нервно стал растирать дряблые морщины лица, складки шеи, лысый череп.

— Значит, будем считать, проступка нет? — глухо проговорил, скорее прошепел директор атомной электростанции, затравленно глядя на вдруг посуровевшего начальника отделения милиции.

— Конечно! — строго сказал майор. — Но мне кажется, к товарищу Палину надо прислушаться...

Мошкин встал. Дронову показалось, что директор стал ниже ростом. Ссутулился. Будто из него стержень вынули.

— Значит, будем считать... — еще раз сказал Мошкин, ощутив, как давящая усталость заполнила все его существо.

— Конечно, конечно! — с готовностью, но холодно ответил майор Дронов.

Они распрощались.

Соня и Палин медленно брели по улице. Сквозь рваную облачность проглядывало солнце.
— Ну зачем ты так? — спросил Палин Соню.

Соня была очень бледна и ничего не ответила, только еще крепче и судорожнее сжала его сильную руку.

— Зайдем в исполком? — спросил он ее, не вполне уверенный теперь, что это надо делать.

Она утвердительно кивнула головой, взглянула на него, испытывая стыдливую нежность, и подумала: не слишком ли она бледна сейчас?

Он ощутил такое родственное, такое теплое чувство к ней, так крепко и слитно представил всю пройденную с нею жизнь, — теперь-то он точно знал, — могущую сложиться совершенно иначе, здоровее, лучше, если бы не эта проклятая бомба, если бы не ненависть людей друг к другу, толкнувшая к ее созданию, отменившему все иные альтернативы существованию, кроме одной — жить в мире. И он ощутил вновь прилив сил и энергии и ускорил шаг. Соня почти бежала за ним.

В здании исполкома они поднялись на второй этаж и вошли в тесную приемную председателя. Секретарша, очень худая белокурая женщина с большим лошадиным лицом, стояла у шкафа и листала подшивку, отыскивая какое-то письмо.

Она была в ярко-синем трикотажном платье, предельно плотно облегающем стройную фигуру. На шум повернулась к вошедшим. Глаза карие, блестят. Сказала строго. Мягкий, не вполне правильный деревенский выговор.

— Председатель не принимают. Смотрят бумаги... — и покраснела.

— Посиди, Сонечка, я сейчас... Просто интересно...

Соня, очень бледная, села. Ее лихорадило. Палин бросил на нее беспокойный взгляд и решительно прошел к председателю.

— Они не при... — начала было протестовать секретарша, но махнула рукой, когда дверь за Палиным захлопнулась.

Председатель исполкома возвышался над столом глыбой и действительно смотрел почту.

Палин знал, что он выдвиженец из сельского хозяйства. То ли председатель колхоза в прошлом, то ли «Сельхозтехники». Очень крупный мужик. Очень. Чувствуется, что здесь ему не по себе. Но сидит же...

Огромное, очень щекастое, пожалуй, даже плотоядное какое-то, продолговатое лицо. Глыбастый лысый череп... Глубоко сидящие глаза-буравчики.

Вдруг щеки председателя дрогнули и кабинет заполнил очень насыщенный интонациями, глубокий утробный бас. Мощная ладонь, гармонично сопровождая голос, указала на стул.

— Садитесь, пожалуйста. Я вас слушаю,— маленькие черные глазки председателя впились в Палина.

Палин подумал, что темнеть и тянуть здесь нечего, да к тому же, кажется, и Сонечка неважно себя чувствует. Как бы не приступить...

— Я начальник отдела радиационной безопасности нашей атомной электростанции...

Щеки председателя снова смешно запульсировали, будто он играл на трубе, и откуда-то из нутра полился наполненный дружескими интонациями булькающий на этот раз бас.

— Очень рад! Очень приятно!

Палин протянул ему свою сильную большую руку, но председатель свободно утопил ее в своей огромной ладони:

— Я вас слушаю, дорогой... — И почему-то добавил: — коллега...

— Мы льем радиоактивную грязь в море... — Палин силился вспомнить имя-отчество председателя, — ...Дмитрий Андреевич.

— Алексеич... — с хитрой улыбкой пробасил мэр.

— Так вот, Дмитрий Алексеевич, льем... — повторил Палин и вопросительно глянул на председателя, начиная соображать, что здесь тоже, видимо, пахнет проколом.

— Льете?.. Ну что ж, где пьем, там и льем... Лес рубят — щепки летят... — председатель откинулся на спинку, казалось, игрушечного кресла, сильно скрипнувшего, и от души расхохотался. Кто же вам приказывает лить-то?! — спросил он, вытирая слезы и видя, что Палин суровеет.

— Начальство!

— Что же, начальству виднее! — сказал мэр и снова расхохотался. — Нет, кроме шуток... — сказал он, успокоившись и наклонившись в сторону Палина, — А разве нельзя, извините мою необразованность, не лить?

— Можно, — Палин оживился. — Можно, но для этого остановить атомную электростанцию.

— Остановить атомную станцию?! — переспросил Дмитрий Алексеевич. — И надолго?

— На три-четыре месяца, пока не будет введен блок спецхимии в полном объеме.

Лицо председателя стало и вовсе серьезным. Он взял со стола свежий номер газеты.

— Вы не смотрели?.. Вот, пожалуйста... — Он зачитал: — «Сверхмощная АЭС... Первая в Европе...» Если не в мире... — добавил он уже от себя. — И это наша с вами электростанция... Я, например, горжусь, что Советская власть в моем лице тоже причастна к этому подвигу. Это прекрасно, знаете... — Председатель уже не шарил глазами по лицу Палина, а заглянул пытливо в глаза ему, пытаясь что-то понять, — А что, это столь опасно? — спросил приглушенно. — Небось все это распадется, или как это у вас там... Но я вас понимаю... — Лицо его продолжало оставаться серьезным. — Вы взрослый человек... Сколько вам лет?.. Сорок три?.. Я на двадцать лет старше... В сорок три я был столь же горяч... Словом, я не хочу сказать, что надо лить в море... Но вы меня понимаете...

— Нет, не понимаю.

Председатель снизил голос до шепота:

— Мы кормимся около вас... В этом все дело...

Палин посмотрел на него с изумлением, испытывая странное ощущение, будто он со всего маху ткнулся в комнату, туго набитую ватой. Он туда, а она его оттуда... И на этот раз будто издалека услышал нутряной, с располагающими интонациями бас:

— Скажите, пожалуйста, а насколько опасна ваша АЭС для местной, так сказать, популяции человек? Для городка нашего, например... Лучи-то ваши достигают домов?..

На этот раз расхохотался Палин.

В это время распахнулась дверь и в кабинет влетела встревоженная секретарша.

— Гражданин, вашей жене плохо!

Ощувив, как у него вдруг прихватило дыхание, Палин, сшибая стулья, кинулся в приемную.

— Сонечка! Что с тобой?! Милая!

Смертельно бледная, жена его все еще сидела, откинувшись на спинку стула. Побелевшие губы конвульсивно вздрагивали. Она очень часто и поверхностно дышала.

«Приступ!» — мелькнуло у Палина, и он на мгновение растерялся.

— Вова... — еле слышно сказала Соня. — Мне плохо... Я хочу домой... Домой...

Он будто только и ждал этих слов. Схватил ее на руки. Она показалась ему легкой, как перышко. И вдруг в эти минуты несчастья вспомнил, какой она была стройной и красивой...

Тогда, в лесу... Он тоже поднимал ее. Она стыдливо отстранялась. Но он бережно нес Соню и то кружился с нею вместе, распираемый все прибывающей силой, то подолгу шел, испытывая глубокую радость. Соня тихо смеялась. Счастливыми глазами смотрела на Палина. Он покачивал ее в руках, словно баюкая. Она закрывала глаза и будто засыпала. Но веки вздрагивали. Видно было, что она силится держать глаза закрытыми. Когда вспыхивало солнце и ало высвечивало вздрагивающие веки, Палин видел тонкие, ветвистые и очень нежные прожилки в них, и такой она казалась ему в эти мгновения хрупкой и беззащитной, так переполнялось его сердце желанием защитить и сберечь ее, что ком подкатывал к горлу, и он поднимал тогда голову и смотрел вверх, на кроны деревьев...

Потом она широко открывала глаза и как-то сухо смотрела в небо. Сильно голубые, по мере движения они отражали то бегущие по небу облака, то шевелящуюся на легком ветру листву деревьев. В эти минуты ей казалось, что зря она так быстро доверилась, что неизвестно, как еще все будет...

На мгновение Палин показался ей злодеем. Страшным коварным обманщиком. С замирающим от страха чувством в груди она тихо спросила:

— А ты любишь меня? Это правда?

Он молчал и только сильнее прижимал ее к себе. Потом пошел вдруг из лесу торопливо, деловитым шагом к дому, и она почувствовала, что это судьба и что она неотделима от него...

На какое-то мгновение перед глазами Палина мелькнула огромная фигура председателя, заполнившая весь проем двери. Щеки мэра вздрагивали. Видно было, он что-то булькал, но Палин не слышал уже ничего.

С женою на руках он выбежал на улицу. Волосы упали на лоб, в глазах застыла боль. Он бежал как лось, мощными прыжками, большой, сильный. До дому было недалеко. Прохожие то шарахались в сторону, то смотрели вслед ему с улыбкой или тревогой. Он бежал и шептал:

— Сонечка!.. Сонечка!.. Сейчас, сейчас, потерпи!..

Дома он положил ее на диван. Огромный, встал на колени. Как ты себя чувствуешь?!

— У меня холодеют ноги... — сказала она чуть слышно.

— Сейчас... Сейчас... Грелку... Валокордин... «Неотложку»...

Он вскочил, ощутив дурную слабость в ногах. Бросился к телефону. Вызвал «скорую». Затем — на кухню... Пятьдесят капель валокордина... Взгляд его скользнул по часам.

«Семнадцать ноль-ноль... Через час из садика забирать Сашку...»

Вбежал в комнату, держа в руке мензурку с лекарством. Соня лежала неподвижно. Рот чуть приоткрыт. Веки спаяны. Страшная догадка оглушила его.

— Соня-а! — крикнул он надломившимся голосом. Бросился перед нею на колени. Прижался ухом к груди. — Соня-а! — снова закричал он, судорожно хватая ртом воздух.

Смертельно бледная, она с трудом приоткрыла глаза.

— Ну вот видишь... — сказала очень тихо. — Меня уже не хватает на эту жизнь... — И, помолчав, добавила: — Не могу жить... Не хочу жить, Вова...

Он лихорадочно сжимал ее похолодевшие руки, грел их поцелуями и шептал:

— Надо жить, Сонечка, надо, надо...

Запас до Нерв Зита

1

— Почему нет радости? — хрипло спросил Лепикин в темноту, уже проснувшись, но еще не открыв глаза.

Он испытывал какое-то странное ощущение отчужденности собственного тела. Огромное, в мощных узлах мускулатуры, оно будто само приходило в сознание, то напрягаясь все сразу, то вздрагивая отдельными мышцами.

Евгений Фролович подумал, что, если бы не работа, не долг, хорошо бы заснуть надолго, а то и навсегда...

Дурной, какой-то провальный сон, сваливший его под самое утро, Лепикин изгонял, выдавливал из себя, словно зубную пасту из давно отжатого тюбика. Пасты уже нет почти, а он все давит, давит. И будто что-то выдавливает. Но тюбик как был отжатым и сплюснутым, так и остался...

Лепикин чувствовал, что потягивания не приносят того привычного удовлетворения, какое бывает после здорового, освежающего сна. Что бессонница последнего месяца сделала свое дело. Он уже почти не спит. В теле ощущает постоянное нездоровое напряжение, какую-то нервическую убыстренность, а порою вдруг провалы, приступы апатии или внутреннее паническое мельтешение. Будто носится он внутри самого себя. Ищет выхода. А круг, пространство, захватываемое сознанием, все более сужается...

И снова плечи его вдруг потянуло к спине. Руки сами вскинулись, судорожно сжались, будто это было не потягивание после сна, а столбнячные судороги. Он рывком сел. Руки, вскинутые вверх и согнутые в локтях, мощно и с хрустом оттянулись к спине. От чрезмерного напряжения мышцы хрустнули и стали горячими, дернувшись болью. Он сразу весь как-то обмяк и лег, осторожно, пожалуй, даже бережно опустив свое тело, словно стараясь кого-то не напугать. Лепикин натянул одеяло до подбородка и уставился глазами в темноту перед собой.

Был поздний ноябрь. За окном пустынно посвистывал ветер, и казалось, что там, за окном, не огромная атомная стройка, вся перерытая и будто нарочно залитая сверху разжиженной глиной, не довольно уже большой городок атомостроителей, а пустынный яр. И его, Евгения Фроловича Лепикина, нового директора строящейся АЭС, квартира — одна на этом яру. А он сам — одна живая душа здесь. И дует, дует ветер огромными кудлатыми вихрями, то бросаясь в окно, то сворачивая мимо. Потому и звук ветра за окном какой-то прерывистый — то завоет нудно и пустынно, будто покинутый всеми, то исчезнет. Недавно выпавший обильный снег теперь бурно тает от надвинувшейся с запада волны сырого, чуть выше нуля

градусов, промозглого воздуха. За окном по жести барабнят капли как-то не в лад, вразнобой. То крупной и редкой, то мелкой и частой дробью. То будто пригоршнями.

Лепикин почувствовал себя очень одиноким в своей однокомнатной квартире, где до его приезда на работу сюда была гостиница для посещающего стройку столичного начальства. И постоянный нежилой запах, и весь казенный, холодный уют квартиры, обставленной шикарной полированной мебелью,— как бы усиливали ощущение одиночества. Раздражал стойкий запах в холодильнике, дергающееся изображение на экране телевизора, телефон, который плохо работал. АТС была еще маломощная и сильно перегружена.

Все время по вечерам и ночью звонили. Он подбегал к телефону с внутренней надеждой, что звонят ему, что звонят издалека. Из того самого далека, где осталась жена, с которой он прожил девятнадцать лет и только недавно, перед отъездом на атомную стройку, развелся. Из того далека, где осталась родная квартира... Да, именно родная квартира, а не дом... Родной дом... Отец, мать, деревня... Как далеко это все... И давно. Не верится даже... Родная квартира... Там родились и выросли его дети, там он жил долго и поначалу счастливо. В любви и согласии с женой. Пока «царская водка» жизни как-то незаметно, исподволь, не разъела, не разрушила всё... Все его связи, казалось крепкие и незыблемые, с близкими и любимыми людьми...

Но нет. Звонили не оттуда. Звонили местные. Здешние, рабочие и бетонщики, слесаря и водители. Зачастую навеселе, хриплыми разухабистыми голосами, в которых не ощущалось высокой культуры, но слышалась, чувствовалась неустроенность быта, жизни. Какая-то, что ли, временность, быстротечность их существования здесь, на этой могучей, но плохо организованной стройке. За этими голосами чувствовались характеры жесткие, грубые, бесшабашные. Принадлежали они, наверное, и проходимцам, и проходимочкам. И такие бывают, проходят через внезапные, как ком рождающиеся, огромные скопления людей на малых участках земли...

И странное дело!.. Из прошлого тоже шли, наплывали голоса, выкрики, речи... Митинги, митинги... Статика фиксируется прочнее. Митинги... По случаю забивания первого кола, выемки первого ковша грунта из котлована, укладки первого куба бетона... Есть в этом что-то особенное. Как во всяком начинании...

«Выстоим!.. Выстоим!.. Построим!.. Побе-е-е-дим!.. Превратимся в коллективы! В жителей и работников нового, невиданного, созданного своими руками города... В работников сложнейших производств...»

Лепикин на мгновение сильно зажмурился. Прошрое легко отходило, оттеснялось живыми шумами, реальными голосами сегодняшнего дня. Голоса эти вертелись в голове у Лепикина, звучали в нем, хрипели, смеялись, звали, матерились, грозили...

«— Верка! Это ты?! — орал хриплый мужской бас. — Верка! Ты со мной не шути!.. Пришибу!..

— Это квартира директора, — отвечал Лепикин.

— Какого еще, к черту, директора?! Слышь, ты, позови Верку! — Голос был сильно выпившего человека. Из трубки, казалось, несло перегаром...»

«— Это кто? Это кто? — призывно кудахтал звонкий девичий голосок, и Лепикин, привыкший уже к неожиданным телефонным ребусам, отшучивался:

— Это я! Кого вам надо?..

— Мене Федю... — Голос девушки сникал.

— Федя нету.

— А где он?..

— И вообще... Тут квартира директора...»

Ту-ту-ту-ту...»

«— Это морг?

— Вы ошиблись. Морга в городке еще нет.

— Разве? А я и не знала...»

«— Баня! Баня!..

— Это не баня...

Ту-ту-ту...»

Иногда он снимал трубку, чтобы позвонить, но гудка вызова не было. В капсуле играла музыка, слышался смех, звон стаканов, женский визг, чавканье... Бывало, в трубке просто хрюкало.

«Хрю-хрю-хрю...»

Бесконечное «хрю-хрю».

Порою он врвался в чужой разговор и сразу же опускал трубку на аппарат. Но однажды Лепикин, будто споткнувшись, испытывая чувство стыда, трубку не положил. Слушал долго, затаив дыхание, стараясь не выдать своего присутствия.

«— Ася, Асенька... Милая... — Голос парня был тихий, почти шепчущий.

— Аиньки, милый?.. Аиньки?..

— Ты слышишь меня, Асенька?.. Жить без тебя не могу... Когда?.. Когда?..

— Валёк... — Голос девушки казался Лепикину бархатистым. — Валёк, хороший мой... Ну?..

— А?..

Потом было молчание. Напряженное и выразительное. Казалось, чувства говоривших передавались по проводам. И будто это еще больше сближало их.

Лепикину стеснило грудь. Стыд душил его, но он продолжал слушать, словно дышал из кислородной подушки.

— Валёк! Валёк!

— Асенька!

— Ну что, милый?.. — Асенька несколько раз сладостно вздохнула. — Милый!

— Асенька!

— Ну что, что? Я не могу больше! Я не могу без тебя, Валёк!.. Не могу... — Ася заплакала. Всхлипы в капсуле отдавали металлическим призвоном».

«А почему бы вам, ребята, не пойти друг к другу в гости?» — подумал Лепикин, зажал ладонью микрофон и гулко перевел дыхание. Он тогда очень аккуратно, даже нежно, положил трубку на аппарат. Невольно представил себя и Ольгу в молодости. С грустью подумал: «Надолго ли у вас, ребята?..»

Ощущая тепло в сердце от соприкосновения с чужим счастьем, постепенно переходящее в чувство обиды, прошел из коридора в комнату и лег на койку...

А звонки продолжались. Изо дня в день. Из ночи в ночь.- Чужие голоса, очень разные, глухие и звонкие, хриплые, молящие и угрожающие,— звучали, жили в нем. Он пытался представить лица этих людей. Мужчин и женщин, заброшенных сюда судьбой, так же как и он, директор строящейся АЭС, в поисках работы, тепла, уюта, счастья и радости...

Но сегодня здесь лишь разжиженная глина, свинорой, скелеты строительных конструкций, продуваемые воющим осенним ветром, глыбы железобетонных армопанелей и очень туго, медленно, с надрывом поднимающийся из земли главный корпус будущего атомного энергетического гиганта...

Обходя стройку, вглядываясь в лица рабочих, мастеров и прорабов, мужчин и женщин в робах и сапогах, вымазанных по колено жидкой грязью, он пытался угадать по голосам, по

отдельным услышанным фразам и выкрикам тех телефонных ночных людей, которые звонят ему каждый день, к звонкам которых он привык, без которых не ощущает уже полноты жизни...

«Но почему нет радости?..»

Лепикин все еще лежал на койке, натянув одеяло до подбородка, всё так же глядя перед собой в редеющую уже темноту. За окном зачинался день. Было воскресенье. Машина сегодня за ним не приедет. Не будет призывного гудка за окном, который как бы отключал от тревожных дум, тяготящих душу, грызущих совесть, отравляющих смутными догадками о непоправимости выбора. Он знал, что назад дороги нету. И вспомнилось вдруг время успеха... Перед глазами на фоне редеющей темноты вспыхнул на воображаемом матовом табло очень яркий текст, обозначавший и как бы напоминавший этапы пройденного пути...

«Заместитель министра энергетики союзной республики... Управляющий делами Совета Министров союзной республики...»

Текст на табло горел ярко. Даже ослепительно. Потом Лепикин стал как бы упорядочивать, переставлять пластики этого табло в хронологической последовательности.

«Школа... Ученик... Золотая медаль... Студент-политехник... Диплом с отличием... Инженер на строящейся ТЭЦ. начальник цеха. Заместитель главного инженера... Ясная голова. Ясная голова! Ясная голова!..» — замигало на табло в памяти, обдавая сердце теплом. Так говорили все. Все говорили... Директор электростанции... Орден Ленина... Управтрестом... Ясная голова! Ясная голова!.. Могучий ум! Заместитель министра энергетики союзной республики!.. Почет, положение, слава...

Табло горело золотыми буквами на темно-матовом фоне.

«Как надгробная плита...» — усмехнулся Лепикин.

И вдруг в стороне несколько от остального текста и побледнее замигало: «Управляющий делами Совета Министров...» — и многоточие.

— Да-а... — произнес Евгений Фролович и вздрогнул. Оттуда судьбе было угодно спустить его вниз. Собственно, нет. Он сам это сделал. Он сам от всего отказался, сам все разрушил, сам попросился назад в жизнь, долой от бумажной стихии и чиновничьей опустошенности...

И вот теперь он лежит здесь один, натянув до подбородка верблюжье одеяло, в этой однокомнатной секции, из которой никак не выветривается нежилой запах.

«Но почему нет радости?.. Как все это произошло?..»

Воображаемое табло вдруг погасло. В комнате было холодно. Лепикин поежился под одеялом. Потянул носом воздух. Несло противным нежилым запахом, особенно обострившимся, когда он начинал думать об этом.

— Не-ет! — сказал он сначала тихо, но твердо. — Нет! — рывкнул он. — Нет! Не может этого быть!..

В голове его вдруг ожили и поплыли картины прошлого. Энергичного, успешного, потрясающе результативного. Он буквально схватился, уцепился за воспоминания, как за спасательный круг. И поплыл, поплыл. К спасению, к жизни...

2

Лепикин вспоминал с легкой грустью, с улыбкой снисходительной, с внутренним удивлением своей молодости, полноте сил, неисчерпаемости желания работать, действовать, двигаться вперед и выше.

Лежа теперь здесь, с натянутым до подбородка верблюжьим одеялом, пахнущим шерстью, он всматривался в стройного высокого юношу в черном демисезонном пальто, туго перехваченном поясом, в клетчатом кепи, немного набок и назад. Слегка продолговатое, сухощавое румяное лицо. Черные глаза, горящие энергичным, каким-то устремленным блеском. С легкой горбинкой крупный нос, поджатые губы, крутой подбородок... Таким он увидел себя в огромном, во всю стену, зеркале Дворца энергетиков, куда вбежал запыхавшись с легкого мороза, торопясь на праздничный вечер...

Образ этого юноши, в стремительном движении и вполоборота отраженный в зеркале, запомнился Лепикину на всю жизнь, хотя видел он себя множество раз потом и другим. А теперь и вовсе он не такой — какой-то глыбастый весь, раздавшийся костью и покрывшийся жиром поверх мышц, тренированных долгими годами греблей и штангой. Ему казалось теперь, что он стал походить на огромного пупса, у которого голова и конечности как бы притянуты к телу за крючки резинками и вот-вот могут быть оттянуты и отторгнуты прочь. Когда-то пышная шевелюра, черными волнами выпиравшая из-под кепки, а без головного убора набегавшая модным коком на высокий белый лоб, с годами все более редела и испарилась куда-то наконец, обнажив розовую плешь до самого затылка.

...Машзал тепловой электростанции был еще не закрыт, тепловой контур не подан, но монтаж шел уже полным ходом. Вездесущий молодой Лепикин появлялся тут и там, быстро сошелся с монтажниками, вникал в каждую мелочь, пока не постигал дело до тонкостей. Говорил с мастерами, прорабами и рабочими громко, возбужденно, но не зло. В голосе и во всем облике ощущались озабоченность, какая-то истовая заинтересованность делом. Рабочие и мастера привыкли постепенно к несколько странной манере его речи, поверили в него, потянулись к нему, а вскоре и вовсе признали за своего...

Лепикин вздрогнул, словно въяве услышав гром железа котелен и машинных залов... Остро ощутил кисловатый привкус стальной пыли, взвихренной наждаками... Блики и запах дыма сварки, едкого и щекочущего дыхательные пути... Сварочный загар, стягивающий кожу лица, щемящую боль в глазах от вольтовой дуги... Особенно по ночам... Сквозняки, внезапные, пронизывающие, с воем в металлоконструкциях... Утробный гул мостовых кранов, натужный, когда с грузом, и ухающий как из пустой бочки, когда порожняком... Вскрики рабочих, резкие и отдающие эхом в высокой пустоте котелен... Удары кувалд, лязг, скрип, тоже с эхом и перекатами в пространстве... Запах холодного, а потом разогретого и пахнущего теплыми красками уже дышащего жизнью энергоблока — все это мелькало в памяти, наполняло грудь теплым чувством признательности первым «железным» годам трудовой жизни, когда дни и ночи смешались в один сплошной, все углубляющийся поток времени... И это неожиданное чувство, когда не то чтобы усердие, но въедливость в дело, результативность его работы заметили... До поры до времени прямо об этом никто не говорил...

Директор ГРЭС высокий, прямой, будто аршин проглотил, мордатый мужик в толстых роговых очках, всегда, казалось, злой и сверх меры строгий, а может, напускавший на себя чересчур начальственный вид. Большею частью кого-то распекавший или дающий ценные указания... На Лепикина поглядывал строго, спуска ни в чем не давал, но однажды на оперативке, сильно окая, сказал прямо в глаза ему, хотя явно было, что говорил для всех и как бы в назидание.

— Из машзала криков о помощи не слышно. Дело, стало быть, идет. О чем это говорит? — И обвел всех испытующим взглядом, посверкивая толстыми линзами очков. — Это говорит о том, что если товарищ Лепикин завершит работы в машзале на пятнадцать дней раньше намеченного срока... Но... Ладно... Ждать не будем... Подготовьте приказ о назначении

Лепикина начальником турбинного цеха,— сказал и строго посмотрел на Евгения Фроловича, но затем вдруг улыбнулся обворожительно, белозубо. Улыбка исчезла так же молниеносно, как и появилась.

В тот день и час Лепикин полюбил этого человека. И пронес уважение и любовь к нему через все последующие годы...

Директора через пару лет после того сняли с работы. На партийном собрании перед тем коммунисты выступали зло. Вспоминали о наказаниях. Про дело ни слова...

«Передал... — с горечью подумал тогда Лепикин о директоре. — Передал...»

...Работы после назначения Лепикина начальником цеха стало еще больше. Электростанция вошла в последний и самый напряженный период пуска наладки и освоения мощности. От того времени остался очень стойкий отпечаток в душе — веселая головная боль... Именно. Веселая... Голова болит оттого, что дел много... Но дела идут... Хорошо идут... Лепикин не уходил с работы сутками. Если требовалось, сам становился к станку или за штурвал машиниста турбины... Решения являлись быстро, но их было много... Пропускной способности мозга не хватало... Веселая головная боль... И устремленность... И доминирующий запах того времени. Пары турбинного масла пахли хлебом...

Председатель государственной пусковой комиссии заметил его, и через год и два месяца после начала работы на энергоблоке Лепикина назначили заместителем главного инженера...

В это же примерно время Евгений Фролович Лепикин встретился с Ольгой Щегольковой, будущей своей женой. Войдя по делу в ПТО (производственно-технический отдел) электростанции, он сразу заметил новую сотрудницу, девушку с чуть холодноватой застывшей красотой. В светло-коричневой, вышитой цветами болгарской замшевой безрукавке поверх белой кофточки, в плотно облегающей талию замшевой коричневой юбке, девушка стояла лицом к Лепикину и, казалось, будто поджидала его. Ее красивые рассыпчатые каштановые волосы, на вид казавшиеся очень легкими и воздушными, волнисто обтекали плечи. Контрастно черные брови дугами слегка вздрагивали, выдавая зародившееся волнение. Внимательные серые глаза ее, опущенные каймой темных коротких ресниц, смотрели на Лепикина в упор, вначале с легким изумлением и даже испугом, но постепенно обрели какое-то странное выражение. Глаза ее как бы только для него по-особенному раскрылись и впускали в себя Лепикина.

«Входи, входи!» — словно бы говорили они.

— Здравствуйте, — сказал Евгений Фролович, глядя на нее во все глаза, увидев ее сначала в целом, ослепившую своей красотой, ощущая, что не в силах оторвать от нее взгляда, и начав теперь жадно рассматривать каждую черточку ее, как ему показалось, очень благородного лица: прямой, очень аккуратный носик с чуткими тонкими ноздрями, в меру полные, не тронутые помадой губы, что он отметил про себя как положительный признак, остренький, какой-то трогательно нежный матовый подбородок. Правда, вторым или третьим планом подумалось вдруг: «Кукольная красота», но Лепикин с досадой отогнал это непрошеное предостережение.

«Прелесть, прелесть!» — стучало в голове, но одновременно где-то глубоко в душе он отметил все же некоторую податливость ее глаз, не сумев, однако, понять — хорошо это или плохо.

Разглядывая ее, он ощущал почему-то, что эту девушку уже где-то видел, что она органически ему необходима. Эта мысль, это чувство быстро утвердились в нем.

— Прекрасное лицо, прекрасное лицо... — прошептал он еле слышно и шагнул к ней.

— Здравствуйте! — повторил он и протянул свою лапищу. — Лепикин Евгений Фролович. Будем знакомы.

— Оля, — сказала девушка, смущенно улыбнувшись, и крепко пожала руку Лепикина своей маленькой белой ручкой с какими-то очень гладкими, будто отполированными пальцами. Рука девушки была сухой и горячей.

«Ах, как она была мила!» — подумал теперь Лепикин и, дрогнув под верблюжьим одеялом, плотнее подтянул его к подбородку...

Он не интересовался тогда, кто она, откуда. Кто ее родители. Узнал только, что молодой специалист, после института. И все...

Тепловая электростанция, где работал Лепикин, да и городок при ней находились в степи. Растительность в округе повыжгло нещадным в тех местах солнцем да золой и серным ангидридом, тысячами тонн вылетающими из станционной трехсотметровой трубы и пуще солнца выжигавшими все живое вокруг. Ржавая мертвая степь, пыльные бури и мощная ЛЭП (линия электропередачи), уходящая на ажурных опорах в сторону столицы республики, — составляли основные примечательности пейзажа тех мест. Но летние ночи в тех краях были хороши. Черное бархатное небо, густо усыпанное крупными белыми звездами, выше которых в несколько ярусов располагались звезды поменьше и побледнее, завораживало Евгения Фроловича. Лепикин любил в такие ночи уходить в степь, долой от огней электростанции и городка, когда устанавливались тихие погожие времена летнего безветрия. Из глубины степи легким дуновением воздуха доносило свежие запахи полыни и каких-то других, незнакомых Лепикину трав. Можно было идти в ночь много километров, не теряя из виду огней электростанции и городка, прислушиваясь к шуршанию своих шагов и ощущая, как едковатый запах серы и золы слабеет. Где-то на десятом километре начинают трещать цикады, раздаются какие-то ухающие и свистящие звуки, вскрики, степь все более оживает, насыщается дурманными запахами и ароматами, будто спешит пожить ночью в безветрие и теплынь, пока нет солнца и пылевых бурь...

Часто Евгений Фролович встречал на улицах городка невысокого коренастого человека в синем костюме и желтой сорочке без галстука. Человек был бородат, плешив. На висках и затылке волосы курчавились. Черная окладистая борода с сильной проседью. Чуть вытянутое прямоугольное лицо, всегда бледноватое, имело выражение глубокой сосредоточенности. Серые глаза смотрели пытливо, и взор их был не по душе многим, в том числе и Евгению Фроловичу. Звали человека Борис Яковлевич Пронин. Когда-то, много лет назад, он был директором тепловой электростанции в этих местах, давно отжившей свой век и демонтированной. По какому-то делу Борис Яковлевич (никто не знал, по какому именно) в те давние времена привлекался к суду, отсидел какой-то небольшой срок, но тронулся умом и был выпущен на свободу...

Однажды Лепикин видел, как на окраине городка, на границе со степью, за Прониным бежала группа ребятишек. Мальчишки громко, вразнобой кричали ему вослед песенку:

Боб-боб-Яшка,
Желтая рубашка,
Синие штаны,
Хуже сатаны!..

Пронин долго шел, не обращая внимания на преследователей, но потом вдруг резко обернулся, сделав вид, что хватается за камень. Пацаны вихрем разлетелись в разные стороны, с криками и гиком, а Пронин продолжал свой путь, углубленно-сосредоточенный, с печатью раздумий на сером лице...

Евгений Фролович часто видел Пронина на строительстве. Заложив руки за спину, с начальственным видом прохаживался он, осматривая объекты и ни на кого не обращая внимания. Порою он подходил к кому-либо из рабочих, о чем-то коротко спрашивал, ему также коротко отвечали. К глубокому своему огорчению, Лепикин обнаружил вскоре, что все на стройке между собой звали Пронина за глаза Боб-Яшка, но относились к нему тепло, уважая в душевнобольном неугасающий интерес к делу, к родной энергетике. Как-то на переходе из деаэрационной этажерки в машинный зал Лепикин столкнулся с Прониным нос к носу. Борис Яковлевич в упор смотрел в глаза Евгению Фроловичу. От этого жесткого припечатывающего взгляда Лепикину сделалось не по себе. И внезапное ощущение боли в голове. Будто стали сжимать мозг, не трогая черепа. Какое-то очень странное ощущение...

Тогда впервые почему-то Евгений Фролович стал звать про себя Пронина не Борис Яковлевич, а просто Боб-Яшка...

Пронин вдруг улыбнулся уголками рта и мягко спросил:

— Ну что, браток? Как дела?

— Невпроворот... — сказал Евгений Фролович, ощущая, как боль в голове отпускает.

Глаза Пронина подобрели, стали влажноватыми, неглубокими и слегка смущенными.

— Держись, браток! — сказал он напутственно и одобрительно тронул молодого инженера за руку.

Прикосновение Пронина было Лепикину неприятно. Он даже вздрогнул, когда тот отошел.

Вообще-то Евгений Фролович заметил, что Пронин появлялся на самых ответственных участках стройки или тогда, когда что-то не ладилось, будто общая атмосфера и настроение на строительстве улавливались им каким-то особым образом...

Но время шло. Лепикин неотступно думал об Ольге. Думы о ней не давали возможности сосредоточиться на делах. В нем росло какое-то упрямое, неудержимое чувство влечения к ней. Оно постепенно превратилось как бы в естественное его состояние. Он начинал злиться, внутренне порываться, дергаться, будто его кто-то держал, сжимая в тисках.

В этом каком-то натужном состоянии, в преодолении внутреннего сопротивления, весь покрывшись испариной, он однажды подошел к ней, ощущая странную отупелость в башке и несколько как бы отдаленную готовность к ее отказу, и пригласил Щеголькову в кино.

С того самого момента, как Евгений Фролович Лепикин увидел Ольгу, помещение производственно-технического отдела стало для него таинственным и запретно-притягательным. Вся атмосфера, весь воздух помещения казались ему горячими, даже раскаленными, загустевшими, потому что его всякий раз обдавало жаром, когда он открывал дверь в этот отдел...

Ольга восприняла предложение Евгения Фроловича смиренно, будто давно ждала его. Только легкая, едва заметная тень растерянности пробежала по ее лицу. Глаза ее при этом будто уменьшились и помельчали. Эта неожиданная вегетативная реакция (изменение оттенка и рисунка радужин) словно бы выдала ее слабость. Лепикин почувствовал, что Ольга колеблется, пригласил решительно и в то же время ласково, тронув ее за руку еще и еще раз. И она вдруг после какого-то провального молчания сказала немного хрипловатым голосом:

— Хорошо, хорошо, Евгений Фролович... — Она запоздало улыбнулась побледневшими губами, и во всем облике, в повороте головы, немного запрокинутой назад, в чуть растерянных движениях маленьких пухлых ручек, взявших вдруг коричневую сумочку и прижавших ее к груди, во всем этом уже ставшем дорогим ему существе Лепикин заметил, почувствовал заполнившее Ольгу удовлетворение.

Когда он покидал комнату, глаза у Ольги были еще красные, но лицо ее уже сияло, светилось, как солнышко, лучезарной улыбкой. Она часто кивала вслед ему головой и повторяла, будто испугавшись, что он не слышал:

— Хорошо, хорошо, Евгений Фролович! Я приду обязательно...

Они несколько раз сходили с нею в кино. И все это молча и в кинозале, когда они сидели под стрекочущим и вздрагивающим лучом, и когда шли улицей, не касаясь друг друга, каждый с ощущением густого, дурманящего счастья, когда все вокруг — и земля под ногами, и пыль даже, и лужи, если после дождя, куда, ослепленный, нечаянно влетишь и промокнешь до щиколоток, и однотипные пятиэтажки из серого силикальцитного кирпича, и бегущие куда-то люди, и резная листва карагачей и кленов — все это ощущалось ими теперь как нечто единое, слитное, органически принадлежащее им. Все это имело вкус, цвет и запах зародившейся в них любви, надвигающегося на них, казалось, ошеломительного счастья...

Они уже каждый вечер бесцельно бродили по улицам, никого не замечая, переполненные друг другом, и однажды ушли из города и углубились в ночную степь. Они не заметили, сколько прошли по ночной степи, горьковато пахнущей полынью. Ночь была душная. Звездное небо казалось неустойчивым, вздрагивающим, то набегающим на них, то соскальзывающим куда-то за невидимый ночной горизонт. Ольга молчала, испытывая непрекращающееся сердцебиение и какую-то неожиданную сверхъестественную легкость в теле. И внезапная от волнения глухота. Степь, полная до того разнообразных звуков, вдруг словно затихла, притаилась. Ольга чувствовала несколько влажноватую, нервно вздрагивающую руку Лепикина. Он судорожно сжимал ей ладошку. Боль была какой-то странно приятной. Евгений Фролович потянул Ольгу к себе, впервые ощутил сладковатый вкус ее губ, нежную персиковую шершавость щек. Она сильно прижалась к нему, он ощутил сминающееся упругое надавливание ее груди. Задохнулся. Потом все дрогнуло, и они будто исчезли, растворились в этой горькой полынной ночи.

Близость что-то изменила в Ольге. Она стала деловито-заботливой по отношению к Евгению Фроловичу. Он, в свою очередь, настаивал, чтобы она немедленно переехала к нему. Горячился, требовал быстрой регистрации их брака. Но Ольга не особенно торопилась, мягко настаивала на поездке к ее родителям, а потом уж...

Евгений Фролович не стал откладывать. Тут же оформил десять дней в счет отпуска, и они уехали в столицу республики, где отец Ольги, оказывается (для Лепикина это было как гром среди ясного неба), был председателем республиканского Госплана. Узнав об этом, Евгений Фролович призадумался. Озабочился даже...

«Ну, подумаешь — председатель Госплана.. — успокаивал он сам себя. — Я-то тут при чем?..»

И все же показалось ему в этой новости что-то странное, может... даже какая-то угроза... Во всяком случае, ощущение внутреннего дискомфорта долго не покидало его. Он почему-то стал думать о том, например, что всего в своей жизни достиг сам и ни в чьей поддержке не нуждается... И все же... Угроза его Судьбе? Начавшейся энергичным и бурным натиском, первым заслуженным успехам? Наконец, его свободе выбора путей и средств движения к цели?..

Какая-то заданность, обойма, что ли, куда его, казалось, собирались втолкнуть, будто зазяла перед ним.

Не тогда ли? Не тогда ли все для него пошло не так? Не естественным ходом живой, единственно неповторимой жизни?..

Неожиданно со злым чувством подумал:

«И не смеху ли подобно?.. Тогда, в те не столь вроде и давние времена, крупные начальники, подобные Олиному отцу, не боялись еще отпускать своих деток в отдаленные точки на производство, где горячо и не столь безопасно... Будто как раз для таких, как я... Чтобы можно было влипнуть... — подумал так и подосадовал на себя: — И при чем тут «влипнуть»? Ну влип, ну и что?.. — но раздражение не проходило. — Теперь вот начальство другое... Пристраивают своих детишек в загранку... В места потеплее, где можно «поклевать» сертификатов и чеков... Да...»

Евгений Фролович дрожал под своим верблюжьим одеялом. Воспоминания лихорадили его. Он гнал их прочь, но они окутывали, напелзали жидкой липкой глиной...

Ольга в поезде была загадочной. В глазах, на лице ее читались какие-то думы. Хорошие, видимо, потому что вся она светилась ровным счастливым светом. Да! Она мечтала, она моделировала уже в уме своем их с Евгением Фроловичем ближнее и дальнее будущее. И ее отец в этих планах и мечтах занимал не последнее место...

Отец Ольги — рыженький сухонький мужичишка небольшого роста, казалось, весь был обметан золотисто-рыжими волосками, которые довольно густо покрывали его руки (он был в голубой шелковой рубашке с короткими рукавами и в черных спортивных брюках), выбивались из-за ворота на груди и очень контрастно выделялись на белокожих ногах, которые он, сидя в кресле, положил поверх шлепанцев, пошевеливая аккуратными пальцами.

Евгений Фролович сидел в кресле рядом. Их разделял журнальный столик, на котором красовалась довольно большая модель царь-пушки. В смущении Лепикин, не зная поначалу, куда деть руки, хватанул было эту пушку, но она оказалась настолько тяжелой, что он тут же оставил ее в покое. И вообще Евгений Фролович заметил, что вся обстановка, вплоть до мечей и безделушек, в квартире председателя Госплана основательна, фундаментальна, что ли.

Они беседовали, мельком поглядывая на экран телевизора, Лепикин все больше не на экран, а на крупную надпись по-арабски сбоку корпуса. Председатель Госплана заметил это и пояснил:

— Это мне Насер любезно подарил... Мы много тогда потрудились в Египте... Что и говорить, наша помощь была существенной...

Говорил отец Ольги, которого звали Павел Иванович, размеренно, очень внятно и безапелляционно, фразами несколько тягучими и назидательными. Лепикин тогда еще подумал про него: «Да-да... Не привыкли эти ребята к возражениям... Вещают...»

Глядя на экран, Евгений Фролович боковым зрением ухватывал все же, как Павел Иванович нет-нет да и дернет, стрельнет глазами в его сторону, да при этом посмотрит остро, оценивающе, прицельно. Все в доме будто притихли вокруг них.

«Какая-то зона стерильности... — мелькнуло у Лепикина. — И Ольга... Будто и не существует на свете... Все ясно... Ждут решения...». Легкий холодок тронул его сердце.

Ольга с матерью, женщиной откормленной, несколько рыхловатой и внешностью походящей на рязанскую крестьянку, где-то и впрямь спрятались и секретничали. Вполне быть может, прислушиваясь к тому, о чем говорили мужики в гостиной, но так, что действительно казалось, будто их и нет в доме...

Расспросив Лепикина досконально и даже дотошно, с паузами перед каждым очередным вопросом, в которых читались нечаянно проступавшая озабоченность и даже, пожалуй, страх, председатель Госплана бодро вскочил с кресла, чуть потягиваясь телом и пряча зевоту в судорожно дернувшейся челюсти, подошел к тоже вскочившему с кресла Евгению

Фроловичу и, с некоторой тревогой глядя ему в глаза и блекло улыбаясь, сказал, потянув руку к плечу будущего зятя:

— Ну и вырос ты, Евгений, не достать...

Евгений Фролович невольно чуть подогнул колени, и Павел Иванович родственно похлопал его по плечу.

Неожиданно в голове у Лепикина мелькнула холуйская мысль: «На колени!»

От мысли, от внутреннего вскрика этого он покраснел и весь одеревенел как-то.

— Ну молодцом! Молодцом!.. Круто взял... — сказал Павел Иванович, уже помягчев глазами и весь засветившись рыжими волосками. И добавил многообещающе: — Далеко пойдешь!

В это мгновение в комнату влетела Ольга. Бросилась к отцу на шею с каким-то сначала радостным визгом, а потом выкрикнула:

— Папочка!

Она несколько раз, сильно побледнев при этом, крепко расцеловала отца и, отойдя от него, взяла Евгения Фроловича за руку. Толстая мать Ольги стояла в дверях. Лицо ее лоснилось от жира. В глазах стояли слезы радости.

— Олечка у нас единственная дочь... — услышал Лепикин ее вкрадчивый голос.

Где-то снова в посередившем пространстве комнаты перед Лепикиным вспыхнуло световое табло и на нем замигало, запрыгало, замельтешило: «Почему нет радости? Почему нет радости? Почему нет радости?..»

Ольга родила Лепикину одну за другой двух дочерей. Светочку и Танечку. Одна рыженькая, как солнышко, излучающая свет и тепло, похожая на мать. А Танечка вышла черная, как галчонок, и вся — копия папа...

Потом вдруг две взрослые девицы — в джинсах, с распущенными волосами — возникли перед Лепикиным и уставились на него... О Господи! Да ведь это же его девочки, его доченьки... Лепикин дернулся под верблюжьим одеялом. Видения исчезли...

«Почему они такие рафинированные, такие чистенькие и не приспособленные к жизни?.. Чего они ждут от него, одинокого и покинутого всеми в этом мире?..»

Работы не становилось меньше. Евгений Фролович пропадал на электростанции сутками. Блок шел за блоком. А всего их предстояло построить восемь. Директор не ладил с республиканским главком, свирепствовал... Хлестал в основном кнутом. А сроки все равно уходили из-под ног. Главковское начальство, что называется, било наотмашь. Но директор принимал удары стойко. Надует только и без того круглые, выбритые щеки, набычитесь весь и «спускает собак» на подчиненных. Приказ за приказом о наказании за упущения, за нечаянные промахи, естественные в обстановке нервозности и дьявольского напряжения сил...

Лепикин мертвой хваткой, как бульдог, вцепился в дело и тянет, тянет... Откуда только и силы?.. На наказания не реагирует. То есть реагирует одним — еще большим напряжением сил. Порою, встретившись с директором где-то на переходе с отметки на отметку, поймает мимоходом его внимательный одобряющий взгляд — и вся благодарность...

Придет домой, свалится на койку, отлежится, помоемся, поест и в сон...

И так долго, очень долго. Ловит на себе внимательные, порою страннынатые взгляды жены, но...

И наконец... На директора посыпались жалобы. Сначала одиночные, потом групповые. Поток жалоб. Лавина... Приехало республиканское начальство из главка, представители обкома. Состоялось бурное партсобрание, и большинство коммунистов в запальчивых и гневных выступлениях потребовали отстранения директора от должности...

Отстранили... А через десять дней Евгений Фролович был вызван в министерство и вернулся оттуда с приказом на руках о назначении его директором электростанции...

— Ну вот... — сказала Ольга, когда он несколько в растерянных чувствах пришел домой. — Далеко пойдешь...

Лепикин тогда вздрогнул, как от удара, узнав в голосе жены интонации председателя Госплана республики. Впервые тогда его будто осадило на скаку. Хлобыстнуло словно хлыстом по морде. Он затравленно зыркнул на жену.

— Ты это брось! — сказал он тогда впервые грубо и с неожиданной угрозой. — У меня у самого сила есть...

— Да ты что?! Ты что?! Женечка, успокойся! Я ведь добра тебе желаю и удачи. Ты действительно далеко пойдешь... — Она схватила Лепикина своими горячими ладошками за щеки, притянула его лицо к себе и несколько раз со звоном поцеловала в губы.

И впервые тогда Евгений Фролович почувствовал, что поцелуи эти какие-то холодноватые, прикрывающие что-то скрытое, непонятное ему. Да и жестковатые тени, мелькнувшие в серых глазах жены, будто морозным ветром хлестнули

На какое-то мгновение чувство отчуждения к Ольге охватило вдруг Евгения Фроловича, и он, глядя ей вслед, когда она уходила на кухню, заметил впервые какую-то широкую холодную спину жены, ее чрезмерно напряженные, больше обычного оттопыренные и вздрагивающие в нервной походке ягодичы...

Холодок пробежал тогда по телу Лепикина.

«Что же произошло?! Что же произошло?.. Ах!.. — осенило его. — Они делают мне карьеру...»

И впервые тогда что-то надломилось в нем.

3

В директорстве своем Лепикин первое время не особенно преуспел. Вначале, как и следовало ожидать, обозначился четкий спад в деятельности коллектива. Особенно сильно, в отрицательном смысле, новое назначение сказалось на строительстве вводных энергоблоков. Почему-то не стало хватать денег для расчетов с рабочими и оплаты этапов строймонтажа. К тому же из-за неверных действий Лепикина по сдаче оборудования в монтаж Стройбанк снял со счета финансирования стройки десять миллионов рублей, что еще более усугубило положение. Лепикин явно буксовал. Попросту — не знал, что делать. Конечно, не хватало опыта. Но главное тут заключалось в том, что теперь самое основное и окончательное решение по ходу эксплуатации и строительства электростанции должен был принимать он — новый директор ГРЭС. И хотя все проекты решений готовили для него подчиненные службы, но... Неуверенность и сомнения одолевали. Евгений Фролович ловил себя, например, на том, что боится подписывать финансовые документы...

Начальники участков, прорабы, бригадиры строителей и монтажников толпами торчали у него в приемной, да и в кабинете не пустовало. Новый директор задерживал подписание формы «два», документа о завершении этапа работ, тем самым срывая сроки выплаты зарплаты рабочим и фактически деморализуя строительство...

Но он хотел разобраться, хотел понять, за что платит государственные деньги, тем более что план строймонтажа еще при старом руководстве длительное время не выполнялся...

Однако стройка ждать не может. Она просто органически не имеет возможности ждать, пока новый директор научится премудростям управления...

В это время все чаще на строительстве стал появляться Боб-Яшка. Он взволнованно прохаживался по территории прома. Какая-то несбалансированность ощущалась во всем его облике. На иных участках безо всякой видимой причины он вдруг переходил почти в бег, что-то напевая себе под нос. Потом также неожиданно останавливался в глубокой задумчивости...

Однажды он без стука вошел в кабинет к Лепикину и резным шагом прошел к столу. Вид он на этот раз имел растерянный, взгляд блуждающий. Остановившись около стола и сконфуженно переминаясь с ноги на ногу, он глядел то мимо Лепикина, то неожиданно и как-то скользко заглядывал ему в глаза. Спросил мягко, скорее сочувственно:

— Ну, как дела, браток?

— Невпроворот, Борис Яковлевич, — вежливо ответил Лепикин.

— Держись, браток! — сказал Боб-Яшка и, парадно чеканя шаг, покинул кабинет.

После этого своего посещения он долго не появлялся на стройке, и Лепикин даже стал забывать о нем.

А дела шли неважно. Стройка «вздыбилась». Тут и там стали раздаваться голоса: «Долой Лепикина!», «Возвертай старого директора!»

Лепикин слышал и видел все это. И пока набирало силу, накапливалось недовольство, пока организационно складывались группы сопротивления, Евгений Фролович с головой окунулся в изучение финансового и проектно-сметного дела. Сон урезал до двух часов в сутки, дома почти не появлялся, спал в кабинете...

Непрестанно рядом с ним находились то главный бухгалтер, то начальник управления капитального строительства. Главбух заглядывал в глаза директору. Пытался разгадать, какая судьба ждет его в работе рядом с этим огромным детиной, в блестящих черных глазах которого ничего нельзя прочесть. Глубина в черноте не проглядывалась. На любой вопрос Лепикина он угодливо скороговоркой отвечал:

— Полсекунд! — и тут же начинал перелистывать финансовые документы, лежащие перед ним. Если чего-то недоставало, снова выкрикивал: — Полсекунд! Сей минут! — и бежал к себе в кабинет. Возвращался запыхавшись, громко переводя дыхание и повторяя: — Вот, вот, Евгений Фролович, полюбопытствуйте...

Начальник отдела капитального строительства, тучный круглолицый мужик, с вечно просветленным, даже каким-то наивным взглядом водянистых заплывших глазок, которые вдруг стекленели и наполнялись в гневе темной мутноватой голубизной, говорил размеренно и длинно, с обширными пояснениями и уходами в сторону.

— Без закидонов не можете? — спросил Лепикин, изучающее глядя на начальника ОКСа.

— Как это понимать? — спросил тот и потемнел лицом. С ненавистью посмотрел на директора..

— Я говорю, короче, лаконичнее... — пояснил Лепикин

— А-а... Могу... Это другое дело... А то... Могу...

— Пожалуйста...

И так каждый день... Евгений Фролович столкнулся с вопросом колоссальной текучести на стройке. Не хватало жилья Три с половиной тысячи семей рабочих жили на частных квартирах, селились в районном центре, в соседних хуторах и деревнях...

Слух о том, что новый директор взялся за решение жилищной проблемы, быстро разнесся по стройке. Люди притихли затаились, ждали...

Евгений Фролович по несколько раз на день звонил домой. Просил Ольгу войти в положение, понять его.. Наскоро, с оттенком вины в голосе, спрашивал о детях, но Ольга чувствовала, что все — Лепикина забрало дело, что он, как крот в земле, зарылся в нем, что

толку от него не жди. Отвечала сухо, почти официально, что она все понимает и что не надо длинных объяснений. Лепикин виновато улыбался, смущенно поглядывал на сидевших в кабинете людей, короткие гудки на полуслове обрывали его, и он опускал трубку с чувством досадного недоумения.

«Ах, ладно! Потом разберемся...» — успокаивал себя и снова нырял в дела.

И вот, наконец, когда он почувствовал, что ухватился и потянул за нужную нить, когда машина управления все реже выносила его на «ухабы», когда он с невероятными усилиями раздобыл через республиканский Госплан и министерство фонды на пяток малосемейных пятиэтажек, добился отгрузки крупнопанельных блоков и срочно запустил их в строительство...

...Ольга встретила его скандалом. Располневшая, она энергично носилась по квартире, внезапно останавливаясь перед мужем с искаженным от гнева лицом, обжигая его уничтожающим взглядом.

— Ты не руководитель! Ты осел, египетский негра! Дурак так может работать! Заставь трудиться подчиненных. Вот искусство! А то... Я ошиблась в тебе! Ах! Подумайте только!.. Молодой талант! Чудо природы!.. Ты о жене и детях подумал?!

Обе девчонки залезли под стол и, высунув оттуда черную и рыжую головки, дружно ревели. Мать истерично, с визгом прицыкнула на них.

— Не реви-и-те! — И затопала ногами.

Девочки на мгновение замолкли и вслед за тем затаили еще громче.

Евгений Фролович стоял побледневший, то зажмуриваясь, то широко открывая глаза. Выкрики жены ранили его, в груди похолодело. Внезапный гнев было вспыхнул в нем, но он подавил его. Та, прежняя, солнечная Олечка, то появлялась, то исчезала перед ним, сменяясь этой вот кричащей и размахивающей руками, с искаженным гневом лицом, некрасивой, неприятной ему женщиной, лицо которой как-то странно стало полнеть в последнее время около ушей, и она, его жена, все более и более стала походить на свою раскормленную мать...

Но почему такая ярость?! Все это трудное время, где бы он ни был и что бы ни делал на энергоблоке, он сердцем был со своей семьей, с Олечкой, с дочурами... Ему казалось, что он творит важное дело, борется с трудностями и побеждает ради них, что они должны гордиться им, ибо он ломовая лошадь, сотворен для работы в этой жизни. Плоды этой работы нужны людям, а, стало быть, он, Лепикин, на месте... Что за черт?! Откуда эта ярость?! И вместе с тем хоть смутно, но уже догадывался, что весь этот внутренний монолог для Ольги сущий нуль, что для нее, как, наверное, и для большинства женщин, работа и сверхзадача мужа, тем более сокрытая в душе, — форменные пустяки... Положение! Вот что!.. Но при этом чтобы блеск, лоск, мишура, жгуче слепящая глаза... И главное... Главное, что говорят другие...

— Я еще проверю, где ты ночуешь! — Вновь появилась перед ним Ольга и, размахивая указательным пальцем перед его носом, выпалила: — Лю-лю, наверное, завел?! — И побежала в другую комнату. Оттуда доносился ее воющий крик вперемежку со всхлипываниями. — Я не могу так жить!.. Ни кино, ни театров... Кухня, дети... А у этого кобеля работа... Скот... Скот ты!.. Разве можно столько работать?! Мой папа ошибся в тебе...

— Но при чем тут твой папа? И что такое лю-лю? — Лепикин удивлялся своему спокойствию, но отмечал, что горестное чувство в груди мало-помалу стало сменяться ноющей болью в сердце.

— Любовница! Вот что такое «лю-лю»!.. Проститутка!..

Евгений Фролович тупо как-то замотал головой из стороны в сторону, громко по-лошадиному фыркая.

— Ничего не пойму... Глупость какая-то... Форменная глупость... Что ты говоришь, Оля?..

Евгений Фролович в ту ночь лег спать один в маленькой комнате, приспособленной им под кабинет. Он лежал на спине и напряженно рассматривал на темном потолке узкую полоску света от уличного фонаря. Странно. Будто все извилины распрямились, словно некто вдруг выгладил мозг невидимым утюгом. Пустота и чистота полная в черепной коробке. И только где-то в темноте сознания вспыхивает мигающим огоньком красная точка. Как сигнал тревоги. Вспыхнет, погаснет...

«Что же это такое? Почему?» — никак не мог сосредоточиться и обмыслить случившееся Евгений Фролович.

И вдруг в голове все убыстрилось, завихрилось, запрыгало. Перегоняя, сшибая одна другую, мысли лезли, наваливались друг на дружку. Какие-то доводы, вскрики, мольба... Доказательства... И все об одном и том же — работа, работа, работа... Это главное, это... Он впрягся в телегу, он тащит... Не мешайте... Кто не мешайте?.. А жена, дети?.. Дочки в последнее время не ластятся к нему, посматривают подозрительно, с опаской... Неужто Оля настраивает?.. Но у них же все есть... Абсолютно все!.. В ушах его снова прозвучало ее визгливое:

«Папа в тебе ошибся!..»

«Да пошел он, твой папа!.. На кой ляд он мне сдался?.. Сами с усами...»

Но вдруг Лепикин внутренне осекся. Споткнулся вроде... Чего? Чего же он сам хочет?.. Что отстаивает?.. Чего добился он, Лепикин Евгений Фролович, за эти мигом прошмыгнувшие восемь лет?.. И вдруг тяжелый темный образ... Скорее ощущение тяжести, всеохватной и неумолимой... Да, она... Работа... Сплошная, тягучая. Воз по бездорожью... Ощущение сплошной отупелой занятости. Набитости. Именно, а не наполненности... Набитости всего существа делом завальным, надрывным, требующим полной отдачи сил каждый час, каждый день... Месяцы, годы... Энергия!..

«Олечка, ты хочешь света и тепла?.. Все время, всегда?.. Я солдат, я раб энергии...»

Евгений Фролович уснул тяжелым сном. Во сне барахтался в грязи, его заваливало бетоном... Трубно гремел пар, продуваемый в атмосферу через только что сданные паропроводы... Грязь, свинорой стройки... Ночь, звезды, степь — ржавая, выгоревшая... Запах серы и золы...

Утром он проснулся с ощущением жгучей вины. Ольга сидела рядом с ним на диване, присмирившая, распухшая от ночных слез.

— Ну, что будем делать, Женя?.. Так жить нельзя... Ведь если ты работаешь, как египетский негр, тянешь за десятерых, то, значит, кто-то работает меньше или вовсе не работает. Какая у тебя цель в жизни?.. Ты об этом не думал?.. Вламывать, пока не упадешь на дороге?.. Так?.. Да?.. Но ведь этим никого не удивишь... — Голос Ольги был спокойный, тихий, уговаривающий. — Знаешь, что я решила?.. Я забираю девочек и уезжаю к папе... — Ольга говорила все это, опустив глаза и с силой водя вкруговую указательным пальцем по колену, словно бы втирая в плоть, материализуя сказанное.

Евгений Фролович завороченно следил за пальцем жены, старательно выписывающим круги. Подумал, какие красивые у его Оли колени. Полные, матовые какие-то, с нежными голубовато-розовыми прожилками, просвечивающими сквозь тонкую кожу... Она заметила его взгляд, улыбнулась. У него потеплело в груди. Захотелось обнять ее... Но, вспомнив все, что произошло, вновь ощутил отчужденность, внезапную «выглаженность» мозга, отсутствие способности реально, спокойно осмыслить происходящее. Красная сигнальная

точка снова появилась и замигала перед глазами... И кто-то, будто в стороне, спрашивал монотонным голосом: «За что?... За что?..»

Мокрый ноябрьский ветер вдруг завыл на высокой ноте за окном. И до того уныло стало у Лепикина на душе, до того явственно ощутил он удар в голову тягучей, удушливой волны тоски, что почувствовал вдруг головную боль, заложило уши, и он несколько раз в нетерпении резко открыл рот, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Легкий вихрящийся парок дыхания задымил в воздухе перед глазами. Он ощутил плешью холод и, весь сжавшись в комок, натянул верблюжье одеяло на голову...

Вскоре Ольга с детьми уехала к отцу. Надолго ли — Евгений Фролович не знал. Чувство тоски и осиротелости, сосущее, разламывающее душу чувство, не покидало ни на работе, ни дома.

А между тем два энергоблока исправно работали без аварий, поломок и брака. Третий строился. Дела шли не так чтобы уж плохо. Впервые за долгое время два месяца подряд выполнили план строительно-монтажных работ. В рекордные сроки смонтировали «малосемейки» — пятиэтажные дома, которые Евгений Фролович раздобыл всеми правдами и неправдами. Более полутора тысяч семей рабочих справили новоселье. Словом, дело шло, и новый молодой директор, что называется, держал руку на пульсе стройки...

Но сиротство... Это бессмысленное, внезапно свалившееся на него сиротство... Он бродил по пустой квартире, опустошенный, опустившийся, с по-бульдожьей обвисшими вдруг щеками. Годы напряженной работы не прошли даром. Заметно изменилась его внешность. Лицо потеряло румянец молодости, волосы сильно поредели и почти уже сползли с темени ближе к макушке. И этот легкий темный пушистый покров, сквозь который как-то стыдливо просвечивала контрастно-белая плешь, вызывал в Евгении Фроловиче раздражение, и он ловил себя на желании обрить голову...

Через месяц после отъезда Ольги с детьми Лепикина срочно вызвали в Министерство энергетики республики. Евгений Фролович обрадовался вызову, даже не подумав, что это может для него означать. Прежде всего он увидит Ольгу и детей. Это главное. Сам он все хотел, хотел поехать, поговорить с женой, но как-то не решался.

Порою же он словно бы ловил себя на чем-то ускользающем от его пристального, трезвого взгляда. Собственно, кто же он? Он же ведь трезвый, трезвый и все понимающий мужик! В чем же дело? Почему он так охотно идет на поводу? Ведь можно «крутануть баранкой» — и все к черту! Все сначала... То есть все по-своему, по-лепикински... Единственно и неповторимо... Ведь его дурачат... То есть... Нет... Его делают... Ах!.. Это все равно... И Ольгу он чувствует... Чу-увст-вует... Но семья... Это особое... Чувство особое... Так было вначале... Очень ясно, тепло, светло... А теперь все скомкалось... Будто их четверых закинули в большой прозрачный полиэтиленовый мешок и кто-то гигантский несет их на плечах, то и дело вскидывая мешок поудобнее. И они в мешке бьются друг о дружку, давят... И все видно... Но он чем-то привязан... Что-то сосущее... От самого сердца это... Нельзя так просто...

Прибыв в столицу республики, он сразу же направился к жилому дому работников Госплана. Но подойдя к подъезду, вдруг заколебался. Походил около в нерешительности. Вновь чувство досадного недоумения на грани с чувством вражды нахлынуло на него. Внутренний порыв, дотоле владевший им, весь будто растворился во внезапно заполнившем чувстве обиды, и он вдруг решительным, излишне энергичным шагом направился в сторону министерства...

Начальник главка встретил его ласково. Вышел из-за стола. Какой-то пританцовывающей расхлябанной походкой подошел к Евгению Фроловичу, обнял за плечи, проводил к креслу.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой директор! Рад тебя видеть. Хорошие люди у нас растут. Молодо, да не зелено...

Начальник главка как-то вяло захекекал. Выглядел он неважно, то и дело страдальчески морщил лицо, не замечая, видимо, этой своей гримасы, всякий раз сопровождавшей болевые ощущения в желудке. Он очень часто глотал слюну, дергая кадыком. Смотрел на Лепикина добрым, но каким-то полуотрешенным взглядом.

Евгений Фролович смотрел на начальника главка с неосознанным чувством вины своей перед ним за свое здоровье. Да-а... Он по сравнению с ним конечно же бык, готовый к корриде. Евгению Фроловичу стало стыдно за тонус, который он ощущал в себе, за эту обидную и беспощадную неумолимость жизни, забирающей у людей здоровье и силы на самом взлете способностей, знаний и опыта...

Перетерпев очередной приступ боли и слизнув белые полосы вспененной слюны с уголков рта, начальник главка тихо произнес:

— Мы тебя, Евгений Фролович, забираем... — он сделал паузу, будто давая Лепикину возможность осмыслить услышанное. — Пойдешь управляющим трестом. Хозяйство большое. Десять строек. Нужна твоя энергия... И умение ухватывать главное звено... — И уже загадочно добавил: — У тебя, кажется, и семья здесь...

Кровь хлынула к лицу Евгения Фроловича.

«Ах, вот оно что!.. Снова Олин папа влез...». Лепикин ощутил удушье, внутренне вскинулся, метнулся, словно ища выхода. Тело налилось тяжелой свинцовой силой. Он с хрустом сжал кулаки. Хотелось орать, стучать, колотить, возмущаться. Но Лепикин был человек дисциплины и долга. Он сдержался. Набывчившись, молчал.

— Соглашайся... — сказал начальник главка, с любопытством разглядывая Лепикина. От него не ускользнула буря, случившаяся в душе молодого директора. — Наладишь дело, а там и до моего кресла рукой подать... Я, сам видишь... Долго не протяну... — сказал он глухо. — Соглашайся... Ты мужик ходкий... Глядишь, и в Совмине окажешься. Там такие нужны... — пять же — блага... — Начальник главка откинулся на спинку кресла и вновь захекекал.

Это хехеканье с подтекстом стало раздражать Лепикина, но он, как и в тот раз с Ольгой, молчал, огорошенный внезапным капризом судьбы, не готовый внутренне к новым испытаниям.

Бланк министерства с отпечатанным приказом о назначении проскользил в воздухе и упал на приставку стола перед Евгением Фроловичем.

— Не годится так... — глухо, но твердо пробасил Лепикин, глядя в стол, и отодвинул от себя бланк приказа, даже не прочитав его.

— Почему же? — мягко спросил начальник главка, и в глазах его заискрилось любопытство.

Лепикин пальцами нервно отбивал по столу барабанную дробь. В упор и угрюмо посмотрел в исхудавшее, серое, несколько асимметричное горбоносое лицо. И вдруг невнятно буркнул:

— Не дело так вот...

Начальник главка потускнел. Встал, потирая рукой живот против желудка, подошел сзади к Лепикину, наклонился к его уху и в изнеможении прошептал:

— Ну что ты думаешь? Соглашайся... Иди-и...

И снова понеслось, поехало!.. Десять строек!.. Аппарат управления треста обстановкой не владел. Ни один из отделов не смог представить Лепикину более-менее четкой и цельной картины состояния дел на местах. Лепикин чуял уже, что ковыряются здесь в частностях. Основная работа — подготовка справок вышестоящему начальству. Океан справок... Но кто готовит справки? Те, кто сам нуждается в них. Приток же информации со строек в трест не отлажен. Значит, наверх из треста уходит вранье...

Начальники строек обнаглели. Зашунтировали трест, выходя непосредственно на министра, Совмин или ЦК союзной республики...

Обругав последними словами начальников отделов и своих замов, обвинив их в некомпетентности и потере управления делами, Евгений Фролович приказал секретарю никого к себе не впускать и попытался сам из тысяч разрозненных фактов слепить, построить модель ситуации. После нескольких дней размышлений ему показалось, что он уловил какую-то закономерность, а главное, что его больше всего обрадовало, — это связь со своей прежней работой. Картина мало-помалу поляризовалась. Он выделил из хаоса фактов четыре момента: материально-техническое обеспечение, проектную документацию, технологическое оборудование, трудовые ресурсы и жилье.

Вот те четыре угла, или опоры, если хотите, на которых он будет строить всю свою работу... И информация... Непрерывная, достоверная, оперативная. Тогда будет решение. Будет дело!..

Лепикин собрал руководство треста, изложил программу действий. Дал указания, а затем сел в машину и помчал по степям и долам, со стройки на стройку, сквозь дожди и пылевые бури, через пески и непролазную грязь...

«Ну и что? — думал он, трясясь на сиденье «Волги», — Чего ты хотела, Ольга?.. Ясно теперь, чего ты хотела... Не прирученный домашний муж нужен был тебе... — Лепикин ощутил подступившую обиду. — Не-ет!.. Тебе нужна была столица республики... Папочка с мамочкой под боком... Снабжение из закрытого распреда да «куски» от папиного пайка... Кино, театр?.. Она-то ходит... А я... — Евгений Фролович горестно усмехнулся. — Я, Ольга Павловна, египетский негра, как видите... Вы не возражаете?.. Нет, конечно... Куда уж там!.. Удобный негра... Почетная должность... Но заметьте, Ольга Павловна, и ответственной, провальная, смертельная, если хотите... Вас это не пугает?.. Нет, конечно... Вы уверены в моем здоровье?.. Конечно, конечно!.. Я для вас таран, касса... Оставляю за собой широкую штилевую полосу в бушующем океане жизни... Кино, театрики, икорка, сервелатик... — Евгений Фролович разгневался, дыхание перехватило, сердце застучало где-то у самого горла... Кулаки сжались до хруста. — Фу-ты! — перевел дух. — Отчего это я?..»

Машина ровно неслась по широкой бетонной ленте дороги. Приближалась столица республики. Появились густые насаждения вдоль трассы. В дальнем свете луча возник на дороге суслик. Крупный, жирный. Сделал стойку на обочине и замер статуэткой...

Лепикину почудилось, что в свете фар мелькнула так хорошо знакомая ему фигура Бориса Яковлевича Пронина... Боб-Яшка!..

Он приказал остановиться и сдать назад... Но нет... Он ошибся. Никого не было. И суслик исчез...

Машина снова рванула вперед. Лепикин с удивлением и грустью подумал о Пронине.

«Что означает это видение?.. Странно...»

Он задумался, и как-то незаметно мысли его вновь вернулись к семье, к детям.

«...Глазки суховатые... Конечно... Растут без меня в основном... Но тут наверняка и материна работа... И раскормленная теща, похоже, старается... Не теплые, видать, слова о мне вдалбливают детям...

— Ты, папа, только деньги привозишь, а так мы тебя и не знаем... Все своими делами занят... А до детей тебе и дела нет... — услышал он однажды от черноголовой Танюшки.

— Вот видишь, даже дети это замечают... — не замедлила добавить Ольга».

Лепикин усмехнулся своим мыслям.

«Вроде как в вольер загнали... Чудно даже...»

Он огляделся вокруг — ночь. В просвете припущенного стекла дверцы машины в ночном небе, как на бархатном черном экране, вздрагивали низкие звезды. Слышен завывающий лавинный шелест шин. Близкая поросль по обочинам с громкими шипящими вздохами вихрем уносилась прочь...

Личное владело им недолго. Невольная отягченность сердца от мысленного соприкосновения с семьей исподволь пугала, отталкивала его от этих дум. Так и не понятая Ольгой его тяга к ней, его, пусть странная, любовь к семье. Любовь занятого человека, занятого предельно не только потому, что этого требовала вся логика, сущность его профессии, но и потому, что в этом чудовищном коловороте дел, в этом вареве энергетического строительства, начатого и длящегося многие годы на огромных пространствах, не все нагрузки были равномерно распределены. Кто-то везет за десятерых, тут Ольга права, кто-то отсиживается на работе и кормится за чужой счет, фактически только занимая должность и присутствуя при сем...

И снова видения строек, в совокупности своей странно собирательной, что ли, индустрии века, вбирающей, стягивающей к себе, как мощным магнитом, силовые линии железных и бетонных дорог, накатанных зимников с отвалами снега по обочинам и раздавленные колесами «КрАЗов» и «БелАЗов» грязевые колеи степных беспутий. Свистки тепловозов и железный грохот составов, порою на сотни километров один за другим растянувшихся по путям... Дымовой завесой белесая пыль из-под колес надрывно ревуших самосвалов; сивые от цемента цистерны; жирный, с маслянистым отливом бетон, нафаршированный гравием и коровьими лепешками, выплескивающийся из кузовов на дорогу; осыпавшийся откосами голубоватый гравий; оборудование для строящихся блоков в огромных, развороченных местах ящиках, горами скопившихся на складах; черные потеки нефти на бесчисленных цистернах, лязгающих буферами на пристанционных путях; эстакады приемки топлива с черно-жирной от нефти, с синеватым отливом земель вокруг; угледробильные заводы, закопченные черной пылью и содрогающиеся в грохоте угольных мельниц; огни, пар и дым работающих энергоблоков — этих бездонных гидр, в топке которых ежесуточно проваливаются составы с углем и нефтью, черные вонючие терриконы шлака; щелочной щекочущий запах золы и серного ангидрида, выдуваемый из них степными ветрами, — все это мельтешило, кувыркалось, гремело и гудело в Евгении Фроловиче, обдавая холодком внезапно подступившего ужаса от сознания, что он не сможет, не сумеет овладеть этой неуправляемой или плохо управляемой стихией огня, железа, бетона, движущихся составов и машин, многотысячных коллективов людей, каждый из которых был единственным и неповторимым в своем роде...

Встанет порою где-то у переезда «Волга» Лепкина, а мимо, будто без руля и без ветрил, несутся с ревом по пересекающим трассам замызганные пылью и грязью самосвалы с грунтом, бетоном, строительными конструкциями. Несутся будто по мановению волшебной палочки, изо дня в день — недели, месяцы, годы...

Эта множественность, панорамность грохочущих видений огня и стали на огромных пространствах поначалу раздавливала Лепикина. Мороз по коже ощущал он при мысли о невозможности совладать с этим ревушим, скрежещущим и изрыгающим огонь чудовищем. Ему даже порою становилось не то что жаль, нет, более того, он проникался искренним удивлением, уважением к своему предшественнику. Глубоко понимал теперь его более всего, наверное, объективно объяснимую беспомощность...

Но постепенно дробность, вырванность в общей картине дел, в управлении этими делами все более проявлялась в уме Евгения Фроловича. Поначалу как бы высвечиваясь мгновенными озарениями, а потом уж и закрепляясь в его сознании. И когда это произошло, Лепикин вдруг словно кудесник омертвил, остановил в себе всю эту чудовищную, кошмарную машину из огня, стали и бетона. Все это варево, где люди, творцы рукотворного хаоса, почти уже не проглядывались. Стоп-кадр!.. И все остановилось, замерло. И он, как исследователь, через увеличительное стекло мышления, стал рассматривать, изучать каждую деталь сложного процесса и постепенно пришел к единственно правильному, как ему казалось, пусть пока в первом приближении, но выводу...

«Раздробленность целого на части... Разрывность картины... Вырванность усилий и действий, не работающих или плохо работающих на общую задачу... Да... Да... Это... Но почему?.. Кое-что ясно — много строим, плохо успеваем. Вся страна в стройках... Понятно... Но при этом «тяп-ляп» — как основной метод строительства... Хватай больше, кидай дальше... Тяни-толкай, соседа подставляй... Выработка на одного рабочего болтается где-то в пределах трехсот — пятисот рублей в месяц при плане — тысяча... Что еще?.. Еще... Некомпетентность руководителей... Это... Да, это...»

И Евгений Фролович начал шерстить руководителей строек... Когда он ознакомился с личными делами некоторых из них, оказалось, что более половины «начальников» разных уровней и звеньев — люди случайные, прикатолившие в «горячие точки жизни нашей» за должностями, действуя по принципу: лучше быть в деревне князем, чем в городе холопом.

Подбив бабки, Евгений Фролович попытался в общих чертах сформулировать для себя, вчерне набросать эскиз сложившейся ситуации, по возможности проявив причинно-следственные связи.

«Итак... Холопское, в высшей степени безнравственное и безответственное отношение к делу... Недостаток специальных знаний и необходимого опыта... Все это порождает маразм в руководстве, очковтирательство, выпячивание деталей в ущерб целому, в ущерб результату — пуску энергоблоков в установленные сроки. Почти большинство подобных деятелей, обладая куриным кругозором, вместе с тем отлично понимают всю выгодность своего положения, спешат хапнуть для себя, втереться в доверие к партийным и советским властям... Некомпетентность, как снежный ком, плодит круговую поруку, замкнутость круга руководства, рассечение и подмену информации. Ее сокрытие от «невыгодных» людей, подсовывание «выгодным», рвущимся, примазывающимся к большому делу, но по несостоятельности своей нуждающимся хотя бы в урывках уникальных знаний, которые можно было получить только от временщиков при горячих событиях... Словом, идет торг знаниями, информацией в ущерб делу, в ущерб требованиям и движению времени...

Вот откуда и почему так ловко стройки обходят трест и суются напрямую к министру, в Совмин, в ЦК... Информационный голод наверху поощряет подобные действия — самореклама начальников строек перед высшей властью. Де, мол, управляющий трестом дурак, а мы вот герои, прямо из окопов...»

И как завершающий вывод — ослепительная вспышка:

«Организация, при которой добрые, то есть компетентные, знающие люди в загоне, — обречена на гибель!...»

...Теперь уже, лежа в своей холодной однокомнатной секции, Евгений Фролович вновь будто пережил то давнее свое открытие, вернувшее ему силы и ставшее переломным в жизни его духа... Он рывком сбросил с головы тяжелое верблюжье одеяло. Как-то судорожно и коротко хохотнул. Ощувив сухость в глотке, закашлялся. Все настоящее, гибельное для него, отошло в сторону, и он поплыл дальше, наслаждаясь ощущением злорадной силы и желанием крушить несправедливость...

За короткое время, активно используя переаттестации, он подобрал и вывел на исходные позиции способных, компетентных ребят. Издал приказ по тресту и стройкам о неукоснительном соблюдении субординации. Потребовал четкой и оперативной передачи информации о делах строительства непосредственно в трест. И прежде всего в трест...

И все же Лепикин ждал провала. И было отчего...

Дело в том, что за каждой стройкой министр закрепил в качестве куратора и председателя государственной пусковой комиссии одного из своих заместителей. Решение было не лучшим, но позволяло дублировать ответственность и гарантировать высокое представительство в местах событий. Но вместе с тем каждый замминистра был специалистом в своем узком вопросе: в проектном ли деле, в эксплуатации линий передачи, в оборудовании или ремонте — не охватывал ситуацию в целом и в ряде деталей, но зато своим присутствием девальвировал непосредственного руководителя строек — специализированный трест...

Так оно и вышло, как думал Лепикин. Стройки на его приказ не среагировали. Тем самым управляющий был поставлен перед фактом прямого неподчинения...

Евгений Фролович взъярился. Несколько дней кряду не находил себе места, болезненно переживал провал. Наконец закрылся у себя в кабинете. Закусив до боли губу, взял трубку правительственного телефона и набрал номер министра.

— Я слушаю тебя, Евгений Фролович! — послышался в трубке глуховатый голос. — Что у тебя?.. Быстро, а то мне надо в ЦК...

Лепикин на мгновение замешкался, отметив про себя, что рано звонит, что недостаточно все продумал. Но отступать было некуда.

— Я, Сидор Иванович... С жалобой...

— Что еще такое?! — Голос министра приобрел более высокую тональность. — Не успел заступить на работу, и уже жалобы. Смотри! А то я могу и освободить тебя...

— Не надо освобождать... — Странно, но Лепикин совершенно не испытывал подобострастия к министру. Голос его был ровным, даже холодноватым. Министр, видимо, это заметил. На том конце провода молчали. — Начальники строек, — спокойно продолжил Евгений Фролович, — демонстративно не выполняют мой приказ о строгом соблюдении субординации. Я хочу снять с должности наиболее нерадивого...

— Кого? — коротко и резко, будто стрельнув, спросил министр голосом несколько отчужденным.

— Никандрова...

— Я запрещаю тебе! — Министр начал орать. — Па-а-ни- маешь, деятель! Без году неделя его назначили управляющим, и он тут же за мордобой... Брось ты мне это! Работай с людьми!..

— Я отсечен от информации... — вяло и неудачно возразил Лепикин. — Нужно налаживать систему...

— Ну и налаживай... Нечего тут своевольничать... Все... Будь здоров... Работай... — И где-то уже в отдалении министр, видимо, потянул руку с трубкой к аппарату, послышалось: — А то, понимаешь...

Ту-ту-ту...

Евгений Фролович задумался. Фактически выходило, что его назначение было запрограммированным провалом. Он, Лепокин, — подставная фигура, козел отпущения...

Оплывшее лицо Ольги высветилось вдруг перед ним. Глаза ее, некогда столь прекрасные и завораживающие его, заметно уменьшились, смотрели суховато и с некоторой усмешкой: «Ну что, Женя, кишка тонка?..»

Раздражение заполнило Лепокина. Он не мог понять, почему это появилось на внутреннем экране видение в образе его женушки. Не стал гадать, что бы это могло означать, но... Все же, видимо, это что-то означало... Видимо, что-то глубоко в нем позвало ее. Зачем-то она понадобилась ему...

Евгений Фролович переключил мысли на другое. Действительно, что же это получается? В его подчинении десять мощных строек, сотысячная армия работающих... Армия... Ничего не скажешь... Де-юре — он командующий... Де-факто — мальчик для будущего избиения... Что же делать?.. Уходить или... Или брать власть в свои руки... Этот неожиданный вывод заставил его улыбнуться. Ему вновь представилось лицо Ольги. На этот раз она хитро улыбнулась и подмигнула ему. Евгений Фролович подмигнул ей в ответ и почувствовал, что краснеет...

Обычно Евгений Фролович, когда не был в отъезде, приезжал домой поздно. Трест со скрипом, но выкруливал все же на дорогу компетентного управления. Ежемесячные рассмотрения строек в тресте, чего не было раньше, непрерывные селекторные совещания, введенные Лепокиным, структурная перестройка и налаживание более четкой работы служб... А главное, несмотря на все принятые им меры, — продолжающееся невыполнение плана строймонтажа как в целом по тресту, так и по каждой стройке в отдельности — все это переполняло его непреходящей заботой, занозой сидело в голове. Углубленность в себя, какая-то затаенность, будто перед броском,— делали его будто отсутствующим в своем собственном доме. В сердце как бы не оставалось места теплоте и нежности, хотя дочек он любил очень, без подарков домой не приходил. Впопыхах неуклюже прижимал черную и рыжую головки девочек к груди, всегда при этом каких-то пугливых и скованных. Он уже привык к этому. Принимал скупые подаяния семейного счастья как-то смиренно и покорно, но при этом никогда не помышлял об иной личной жизни...

Потом снова надолго уезжал. В отдалении казалось, что лучше его семьи на свете нет. Думал о жене и детях с нежностью, и далекий теплый огонек дома будто согревал его. Но, вернувшись из поездки, вновь ощущал холодность Ольги, настороженность дочек. Старался не показывать виду, что это гнетет его. Ольга, чувствовалось, чего-то ждала. И так шло и катилось его семейное «счастье»... И дом, ставший для него словно бы вторым казенным домом, где он жил с видом официальным и неприступным, внешне деланно грубоватый, а внутренне уязвленный...

Но сегодня, после стычки с министром, Евгений Фролович почувствовал усталость. Пожалуй, впервые за время работы. Человек не может жить без выхода, без ощущения перспективы и простора впереди, без сознания возможности выполнить справедливо и с толком возложенную на него задачу.

Он сидел в своем рабочем кабинете один, как-то безвольно опустив руки на колени. Потом руки будто сами сползли с колен вниз и повисли плетями. Он расслабленно откинулся на спинку кресла и с силой зажмурил глаза.

«Черт знает что!.. Тупик какой-то!.. Но нет!.. Так просто меня не свалить!..»

Лепикин вызвал Никандрова.

Тот прилетел к вечеру. С аэродрома прямо в кабинет к Евгению Фроловичу. Одет неопрятно. Черный галстук в пыли. Несвежая сорочка, засаленный галстук...

«Смотри, какой деловой», — подумал Лепикин, но неопрятность подчиненного начальника строительства кольнула его.

— Не успел переодеться? — тихо, с затаенной яростью спросил Лепикин, разглядывая лицо Никандрова, большое, одутловатое, круглое, ровно сизоватое, обветренное, с крупными упрямыми складками щек, с выражением уверенности и силы. Большой, с приплюснутыми сизыми ноздрями горбатый нос внушал особое уважение, и Лепикину на какое-то мгновение показалось, что не он, управляющий трестом, вызвал Никандрова, а Никандров его...

Переборыв в себе это неприятное чувство, он вновь с досадой отметил, что Никандров, не дожидаясь приглашения, как-то очень свободно сел в кресло и, внимательно, будто даже изучающе и с легкой насмешкой глядя на Лепикина, сказал:

— Прибыл по твоему приказанию, Евгений Фролович.

И опять в голосе и в самой фразе Никандрова Лепикин уловил издевку. Мол, кого хочешь голыми руками взять!.. Попробуй!..

Лепикин был недоволен собой. Он не хотел начинать с крика, с грубого разноса. Хотя и было острое желание сразу осадить нахала, сбить с него форс. Евгений Фролович сдерживал себя, молчал, это сковывало, мешало спокойно начать беседу. И все же он подавил гнев, вслед за тем сразу ощутил приподнятость духа, даже легкую веселость.

— Ну как долетел? — спросил Евгений Фролович и приветливо улыбнулся.

Никандров нахмурился.

— Зачем вызвал, Евгений Фролович?.. Говори прямо-

— Ну, ты так со мной не разговаривай, — вскипел Лепикин, — ты гость, а ведешь себя как хозяин...

По лицу Никандрова пробежала легкая тень нетерпения. Мол, не тяни...

— Почему не выполняешь мои распоряжения о передаче информации в трест?

— Это ведь не так просто сделать, — возразил Никандров, явно готовый к этому вопросу, — раньше, то есть до тебя, мы этим делом не занимались, строили себе... Переговорим разок-другой по телефону с управляющим, и все ясно...

— Теперь будет иначе!.. — строго сказал Лепикин. — В двухдневный срок выдели в производственном отделе стройки группу для сбора и передачи информации в аппарат треста... — И с усмешкой добавил: — А наши с тобой разговоры по телефону тоже не отменяются...

Никандров набычился.

— И вообще, Евгений Фролович, мне непонятно... Ты очернил меня перед министром... Так мы долго не проработаем... — Угроза была явно в сторону Лепикина. — Зачем?.. Подрываешь мой авторитет?.. И вообще стало заметно последнее время в прессе... Критикуют старых опытных руководителей... Неверно это... Этих писарчуков рано или поздно поправят...

— Кто поправит?

— Найдутся умные головы... Руководитель руководителя должен поддерживать... А так ведь... До чего докатимся?.. Кто будет управлять?..

Лепикин рассмеялся.

— Ты голова, Никандров, в незаменимые лезешь...

— Да при чем тут?! — Никандров досадливо махнул рукой, — И все же министр правильно смотрит на вещи... Это обнадеживает... Старые опытные кадры надо беречь...

— Но ты ведь уже который год валишь план... — мирно сказал Лепикин. — И я с тобой вместе... Ты думаешь, нас с тобой таких долго будут терпеть?..

На лице Никандрова появилось загадочное выражение. Мол, тебя-то явно не будут терпеть... А меня вот... Сидор Иванович в обиду не даст...

«Понимаю, понимаю...» — внимательно следя за выражением лица Никандрова, подумал Лепикин.

— Стало быть, покрывать друг дружку предлагаешь?.. Вась-вась? — спросил Лепикин.

— Зачем же?.. — уклончиво ответил Никандров. — При чем тут?..

— А при том! — строго сказал Лепикин и несильно хлопнул ладонью по столу. — Никаких «вась-вась»! Понял, товарищ Никандров?! Дисциплина, информация, план! Не будешь подчиняться — уволю!..

Никандров рванулся было что-то сказать, но промолчал посерев лицом, резко встал с кресла.

— Так, значит? — угрюмо спросил он.

— Значит, так! — твердо сказал Лепикин. — Только так, и не иначе!.. Ты свободен!..

Никандров как-то нехотя удалился.

«Поехал к министру жаловаться... — подумал Лепикин. — Пусть идет... Это тоже не в его пользу...»

Ольга сразу заметила в Евгении Фроловиче перемену

— Что-нибудь стряслось, Лепикин? — спросила она суховато, оторвав взгляд от вязания.

Лицо Евгения Фроловича, обычно озабоченное, задумчивое или просто отсутствующее, сегодня как бы просветлело. На нем читалось несколько смущенное желание о чем-то поговорить или поведать что-то. Будто тайна, жившая в нем, рвалась наружу и не было ей удержу.

Лицо Ольги тоже вдруг просветлело. Она отложила вязание и уже смотрела на мужа прямым и ясным взглядом, вся озаренная легким внутренним светом. И, несмотря на полноту, здорово ее изменившую, на какую-то приглаженность с годами волнистых волос, напомнила вдруг Евгению Фроловичу ту солнечноликую девушку, которую он когда-то впервые увидел в степном городке...

Лепикин сел в кресло с чувством какого-то внезапного внутреннего освобождения. Где-то в глубине, еще не вполне сознаваясь себе, он все же решил, что, пожалуй, надо уходить из треста, что задача не по плечу ему, что...

— Да ничего, собственно, не случилось... Мне кажется, что я не на своем месте...

Глаза Ольги забежали. По лицу мелькнула тень.

— Что это значит?

— Да ничего не значит... — И вдруг спокойно, даже с некоторым безразличием, рассказал ей коротко о сложившейся ситуации. Помолчав немного, добавил: — Так что, видишь, услуга твоего папы вроде как сыграла против нас...

Ольга покраснела и заговорила скороговоркой, возбужденно перескакивая с мысли на мысль:

— Я давно заметила, Женя, что ты неблагодарный. У тебя семья! Дети... Я не вполне здорова... И вообще... Тебе не кажется, что ты самоустранился от воспитания девочек?.. Папа зря ничего не делает... Он сказал, что ты далеко пойдешь, и я этому верю... Несмотря на то что жить с тобой — мука... Ты ведь не муж — египетский негра, ломовая лошадь... Так будь же ею!.. Будь же этой лошадью!.. Назвался груздем — полезай в кузов...

— Вот я и залез... Только, кажется, не в тот кузов...

— Что же ты хочешь делать? — Лицо Ольги пошло красными пятнами. — Что же ты решил?..

— Надо... Или уходить... Или... Брать всю полноту власти свои руки... Фактически мой трест — это маленькое министерство. А у меня путаются под ногами все кому не лень... И мешают... Мне в этих условиях нужны полномочия заместителя министра... Как минимум...

Лепикин смотрел на жену с любопытством. Весь облик ее на глазах менялся. Она хорошела, наполнялась достоинством и важностью. Глаза ее вновь посветлели и заискрились голубыми искорками.

— Ну что, золотая рыбка, поможешь моему горю? — спросил Евгений Фролович с грустью, — Тут уж мы полностью с тобой сойдемся... Я стану патентованным блатмейстером... Хотя ко мне такое звание не вполне подходит... Блат предусматривает непременный въезд в рай на чужой заднице или за чужой счет, как хочешь... А мне придется вкалывать еще больше... Что называется, с полной выкладкой... И еще хочу подчеркнуть — это нужно для пользы дела... Надо пошуровать в этом муравейнике и хотя бы попытаться поставить все на свои места... Поляризовать то есть...

— Я тебя поняла, я тебя поняла... — затараторила Ольга.

Лицо ее сияло. Она вскочила с кресла. Энергично вскидывая бедрами, пробежала к телефону, походя кинув на сервант вязание. Одна спица свалилась и зазвенела по лакированному паркету. Но Ольга не обратила на это внимания. Схватив трубку телефона, яростно стала накручивать диск. Сказала отцу, что сейчас подскочит к ним. И через десять минут Лепикин услышал, как внизу грохнула с размаху дверь подъезда, и с грустью подумал: «Ишь как хочет стать женой замминистра... Вот оно женское тщеславие...»

Он обхватил ладонями лицо и, надавив пальцами на глаза, долго сидел так в каком-то оцепенении.

Девочки гостили у деда с бабкой. Лепикин был один. Смятенное чувство, заполнившее его, какое-то упорное внутреннее сопротивление чему-то как бы наталкивали его размышления на одну волну...

«И зачем все это?.. Усталость налицо... Двадцать лет работы и... Уже на излете... Даст ли что новая должность? Системы не изменишь... Ну, переломаешь, переколотишь кое-что... А там ведь подсекут... Как пить дать...»

Нет должной уверенности в душе, что это надо. Не лучше ли плыть по воле волн?.. Ведь все равно все делается, строится, выполняется в конце концов. Какой ценой?.. Но не такова ли природа любой власти?.. В формальном понимании этой категории... Ломовая лошадь тащит воз... Возница погоняет, правит. Но дорогу видят оба... А туда ли прем?! Ломовика ли это дело — определять путь?.. Не-ет! Мы ломовики особой породы! Думающие. Возница отпустил вожжи! Сбросить его к чертовой матери!.. Сбросить!..»

Образы Никандрова, тестя Павла Ивановича и какого-то странно житейского, что ли, министра замаячили вдруг перед ним, но Лепикин досадливо отмахнулся от видений...

5

Наконец Ольга вернулась от отца. Была очень подвижна. Возбужденно бегала из комнаты в комнату. Любопытно или со значением поглядывала на Лепикина. Фиксировала весь его облик затяжным взглядом, будто просвечивая насквозь, запоминая, соображая что-то. Но весь ее вид человека, переполненного радостным возбуждением, говорил сам за себя.

Леикин не расспрашивал ее. Ждал, пока уляжется в ней внутренняя буря, а там... Впрочем, по опыту прошлых лет он знал, что об этом, то есть о каких-то там блатных ходах, лучше не говорить. Лучше молчать и, более того — лучше вовсе не ждать ничего... Выйдет так выйдет... Будто само собой... И тем более что все это ему не нужно. Решился он на это по крайнему случаю, загнанный фактически в угол.

«Делай, как все, или... крышка!.. — подумал Леикин и усмехнулся. — Влип ты, парень...»

Ему вдруг стало неловко. Выходит, он как бы оправдывается перед собой... Но ведь не поздно еще и уйти. Бросить все! Признать свое банкротство перед сложностью, запутанностью ситуации... Впрочем, что значит запутанностью?.. Узлы-то он видит... Но развязать их не удастся... Эти узлы круговой поруки, блата, кумовства и своячества...

«Ты мне — я тебе» — не просто железная формула — философия потребителя. Гордиев узел... Но попробуй разруби!.. Дело-то все равно идет. Худо-бедно, рано или поздно, с опозданием на год, два, три... пять... Не все ли равно?.. энергоблоки будут пущены!

Государство все равно как из бездонной бочки будет обеспечивать стройки финансированием, материально-техническими ресурсами, оборудованием... Словом, всем тем, что необходимо, без чего не построить. И в этом потоке всяческого народного добра — хапай, урывай, сбывай, отгрызай свои куски, временщик, паразитирующий на огромном здоровом теле народа и государства...

Порою ему казалось, что он преувеличивает. Хороших, честных людей много. Очень много. Несоизмеримо больше, чем хапуг и рвачей... Но в том, что хапуги и ловкачи есть, сомнений быть не могло. Не они ли так ловко шунтируют его трест, да и самого управляющего?.. Но полноте! Он знает некоторых по именам. Многих не знает. Они безлики и многолики. Они невольные винтики и шестеренки несовершенного трестовского механизма...

«Нет!» Глаза Леикина вспыхнули яростным блеском. А Ольга между тем загорелась и начала молниеносно прокручивать в голове возможную перспективу: «Отец не посмеет отказать... Не посмеет... Единственной дочери... Он бы, конечно, отказал... Но он знает Женю... Этот человек не подведет...»

Она уже мысленно называла себя министершей. Мысленно же шла улицами республиканской столицы. Ловила на себе завистливые взгляды знакомых. Говорила с ними тоном безапелляционным, таким же, как папа... Вещала, и они не смели возражать... Конечно же она и сейчас могла вести себя похожим образом, но... Отец не вечен... Вчера у него был сердечный приступ... Его мучит застарелый радикулит... Недавно полтора месяца лежал на вытяжке... Надо успеть закрепить эффект, обеспечить преемственность, продлить на обозримое время в будущем свою тепличную, привилегированную жизнь, страх утратить которую, даже мысль об этом, приводили ее в состояние гнетущего уныния. Собственно, она не виновата в этом. С колыбели ни в чем не нуждалась. Жила жизнью, не омрачаемой голодом и холодом. Но в семье отца обитал какой-то негласно утвердившийся ритуал каждодневного подчеркивания, даже выпячивания своей особой верности партии и народу. Верности, которая, пожалуй, повыше той, какую исповедует большинство.

По праздникам, да и не только по праздникам, они пели революционные песни. Отец много и нудно разглагольствовал о благородном предназначении российской советской интеллигенции, о необходимости быть во всем примером — и в работе, и в верности России...

Отец, правда, тщательно умалчивал, что выходец он из крестьянской семьи, интеллигент в первом поколении. Что начался его бурный взлет в конце тридцатых годов с должности председателя одного из алтайских колхозов. Что долго еще потом от него пахло землей и

навозом, но... Дело не в том... Он об этом просто не говорил... А Ольга следовала указаниям отца. Она примерно училась. Окончила школу с золотой медалью, институт с отличием. За все годы учебы не получила ни одной четверки, не говоря уже о двойках и тройках. Поехала даже на работу в глубинку. Тоже заветы отца... Но вот что-то не вышло в ней. Подсохло, подрастрялось на каком-то этапе жизни. И здоровьишко тоже не вышло. Все толстеет и толстеет. Врачи определили преддиабет. Предполагали давнее и обильное употребление сластей...

«Если бы только сласти... А дефициты?..» — отметил тогда про себя Лепикин.

Но другого пути она для себя не видела. Все время была беспокойна. Ее постоянно тревожило будущее. Как оно сложится... Нестерпимо тревожило. Звало к действиям, единственно возможным в ее положении. Она спешила закрепить эффект...

Тайком наблюдая за взволнованной женой, Евгений Фролович ждал от нее каких-то слов. Впрочем, не особенно и ждал. Больше дивился самому себе, судьбе, жизни... Как странно порою сходятся люди. На какой зыбкой почве вдруг набежавшего чувства строятся иные семьи, дается начало новым поколениям людей...

И вскоре телефон с гербом, который стоял на отдельном столике по левую руку управляющего трестом, зазуммерил, разорвал тишину лепикинского кабинета. Звонил министр. Лепикин небрежно снял трубку и услышал тихий, какой-то даже затравленный голос. Интонация была особой. В ней не угадывалось ничего доброго, и казалось, будто говорящего осадили на всем скаку, ошеломили чем-то. Он только что пришел в себя и был не то что удивлен, но весь переполнен затаенной яростью. И не жди уж тут ничего хорошего.

— Евгений Фролович, — сказал министр, — подскочи ко мне. Машина при тебе? А то я пришлю... — И бросил трубку, не дождавшись ответа управляющего.

«Началось...» — подумал Лепикин и, подойдя к окну, выглянул наружу. «Волга» была на месте...

Через двадцать минут Евгений Фролович был уже в министерстве. Пройдя на «чистую половину», встретил в коридоре помощника министра Колокольчикова.

— Привет, Станислав Иванович! — поздоровался Лепикин. — Хозяин у себя?

— У себя, — устало сказал Колокольчиков, вытирав большим платком пот со лба.

«Молодой парень, а уже весь серый от седины...» — подумал Евгений Фролович. — Разжирел, лицо унылое...»

— Я только от него... Репетировали его выступление на конференции.

— Как это? — удивился Лепикин.

— А вот так... Я был «зал», он был оратор... Собственно, я редактировал... Много мусорных слов... — Колокольчиков махнул рукой. — Ему трудно, конечно... Речь смолodu не поставили, а теперь попробуй... Основное слово-паразит — «панимаешь»... Лепит к месту и не к месту... — Помощник печально улыбнулся и побрел к себе. Серый пиджак съехал у него к спине, собравшись продольными складками и придав фигуре какую-то болезненную обреченность. Давно не глаженные брюки сгофрировались у колен, в целом обвиснув, как у клоуна.

«Опустился Слава, — с грустью подумал Лепикин. — Неужели и я до этого докачусь?..»

Министр был несколько вял. Лицо его, обычно малиновое, казалось сегодня бледноватым, будто его слегка припудрили.

«Седой, седой... Совсем седой...» — подумал Лепикин, вспомнив, что два года назад Сидору Ивановичу торжественно справили юбилей по случаю шестидесятилетия. — Но суховат, подтянут... Молодец!..»

Сидор Иванович будто мимоходом сунул Лепикину руку, несколько вывернув ладонь кверху. Евгений Фролович увидел, как склеротически блестит буроватая кожа ладони с синими пузырьками сосудов на сгибах пальцев. Рука министра была очень сухая и горячая. Он поначалу не смотрел на Лепикина — то в окно, то куда-то мимо, в пространство, то вверх посмотрит, будто собираясь с мыслями. И вдруг словно выстрелил, взглядом пронзив Лепикина до затылка.

Выцветшие глаза министра, его упругий взгляд в следующий миг уже скользили мимо, будто отталкиваясь от лица Лепикина.

«Чур! Чур! Сгинь!» — как был значилось в его глазах. Министр все пытливее всматривался в нового зама, словно пытаясь угадать в нем что-то. Новый заместитель навязан из Совмина республики. Ситуация несколько необычная,

— Организуешь скоростной ввод пятисоттысячника? — вдруг спросил министр, и в глазах его метнулись светло-голубые молнии.

— Я не совсем понял... — пробурчал Лепикин.

— Па-анимаешь, тоже мне... Как замминистра, оставаясь в то же время управляющим трестом... Можем себе позволить такую... Такую роскошь?.. Я думаю, меня поддержат... Бери на себя одну стройку полностью... Маневрируй, что в пределах, понимаешь... Покажи себя... С энергией голод, особенно в нашем районе... Энергоемкие производства, металлургия, понимаешь...

Лицо министра набрало свой густой малиновый цвет. Глаза в целом сияли ровным деловым светом, но нет-нет в них все же вдруг прорывался всплеск изумления, выдавая скрытое недовольство неожиданным нажимом сверху...

«Министр затаился... Это ясно... — мелькнуло у Лепикина. — Но теперь уже все...»

— Приказ я подписал... Пройдешь в канцелярию... Тебя тут все знают... Дополнительного согласования не требуется... Все...

Министр встал, сунул Лепикину свою отполированную ладонь и вдруг улыбнулся широко, обнажив редкие желтые пеньки зубов. И теперь не только глаза, рот — все лицо его смеялось, осветив Евгения Фроловича острым, недобрым, каким-то злорадным светом. Мол, ну, товарищ Лепикин, теперь держись! Не провали! Провала тебе не простим... Захотел быть умнее всех?! Попробуй!.. Но, гляди, не спотыкайся...

— До свиданья... — вяло буркнул Евгений Фролович, на какое-то мгновение похолодев, и услышал участвовавший неровный стук сердца. Уходил под острым, сверлящим взглядом министра.

«Ладно... — подумал. — Посмотрим... — А где-то сбоку стучало: — Западня!.. Западня!..»

6

Воспоминания всколыхнули чувства. Разболелась голова. Нежилой затхловатый запах комнаты ощущался теперь острее, и Лепикин в брезгливом нетерпении замотал головой, будто пытаясь избавиться от этого неотвязчивого, вызывающего тошноту запаха. Быстрым движением скинув одеяло, Евгений Фролович резко сел на кровати. Все в голове убыстрений кружилось. Картины плыли, плыли перед глазами, как на бесконечном ролике, тревожа душу и сердце. Евгению Фроловичу уже не рад был этим видениям. Но воспоминания приходят независимо от наших желаний.

— Да-а-а... — протяжно произнес Евгений Фролович, с удивлением прислушиваясь со стороны как бы к очень новому и чужому звучанию своего голоса. Снова повторил: — Да-а-

а... — И судорожно поежился. Легкая, какая-то безумная полуулыбочка брезжила в углах рта. Большой, мускулистый, он с видимым трудом встал, подошел к столу. Кинул в рот две таблетки седуксена и проглотил, запив водой из мутноватого, захватанного стакана.

Он устал. Не хотел больше вспоминать, не хотел... Может быть, транквилизаторы оглушат его, помогут забыться... Он не хотел вспоминать...

Похрустывая суставами, он крадучись прошелся по комнате, с неприязнью представив себя со стороны огромным пупсом с узловатыми вздутиями мускулатуры. Бледное лицо имело выражение потерянное, даже по-детски беспомощное. Неуверенно, будто с какой-то опаской, он выглянул в окно. Равнодушно пробежал взглядом по глиняной жиже, заполнившей улицы соцгородка до верха бордюров. Гладкая поверхность грязи отливала свинцом. Из-за поворота осторожно вырулил «Москвич», поднимая невысокие хлюпающие буруны жидкой глины. Попадая на кузов, глина липко растекалась темной желчью. Вяло и недолго колыхалась затем на том месте, где проехал автомобиль, напоминая трясину.

Лепикин сморщился как от боли. Прошел к кровати и, поежившись с передрогом, снова лег, натянув вонючее верблюжье одеяло на голову...

Седуксен не помогал. Напротив. Голова стала яснее, видения четче. Только разве ролик памяти завертелся чуть быстрее, проецируя на внутреннем экране картины минувшего. Евгений Фролович стал было отмахиваться от них. Но куда там! Они, словно лавинный ком, обволокли его и потащили, покатали за собой... Где-то ему удавалось отбиться от них, закрыться руками, отвернуться. Где-то они вдруг исчезали, проваливались, но фрагментарно все же наплывали на него, и он перестал сопротивляться...

— Ну показывайте, товарищ Никандров, показывайте стройку. — Лепикин оглянулся.

Целая свита руководителей строительства мощной тепловой электростанции, чуть поотстав, шла вслед за ними — новым заместителем министра и как-то неуверенно семенящим рядом начальником стройки.

Густо налитое кровью, оплывшее лицо Никандрова отдавало синевой. Неожиданное явление в образе замминистра вчерашнего управляющего трестом Лепикина, которого он ни во что не ставил, явно обескураживало его...

«Молокосос, понимаешь (это мусорное слово Никандров полюбил, переняв у министра. От него веяло какой-то уверенностью и силой), захотел всадить стройки в рамки приказов и инструкций... Не-ет, брат! Шутить! Тут стихия! (Никандров любил и это слово.) Тут нужен свободный художник, носом чующий ситуацию! (Лепикин называл это — держать нос по ветру.) Не-е-ет, брат!.. А какой навар будет мне от всей этой собачьей жизни на юру, ветру, в свинячьей грязи, без культуры и доброго людского тепла?.. Инструкция?.. Не-е-ет, брат!.. Шалишь!..»

И Никандров был самый стойкий и злостный противник и неисполнитель нововведений управляющего трестом. Игнорировал селекторные совещания, не являлся на ежемесячные рассмотрения в трест, направляя вместо себя второстепенного зама. И только один раз явился по вызову Лепикина, когда отвертеться было невозможно. Тогда они так и не договорились. Никандров поспешил к министру, нажаловался...

— Работай спокойно... — сказал ему Сидор Иванович.

И Никандров работал... «Глухая оборона», «шунт», «байпас» — вот как называл Никандров свою политику по отношению к тресту. То есть, минуя трест, выход прямо на министра, в ЦК, Совмин... А то, понимаете!.. И вдруг — на тебе!.. Никандров все еще молча и искоса поглядывал на нового замминистра.

— Докладывайте, Никандров! Что в молчанку играете?! — крикнул Лепикин, глотая ледяной степной ветер.

Но Никандров докладывать не мог. Он, по его собственному определению, занимался округой, то есть внешними объектами за пределами промзоны — поселком, районом, в конце концов, связями с городским, областным и республиканским начальством. Никандров то и дело оглядывался назад, ища кого-то в толпе следующих за ними. Непривычно сидящая на его голове красная пластмассовая каска сползла набок... Он хотел подмигом, кивком головы, не делая шума, позвать того, кого искал. Но лица идущих сзади будто слились в одно, и он никак не мог выделить в этой сизовой от холода «физиономии свиты» горбоносое лицо главного инженера, который как раз и вел у него на стройке промзону. То есть фактически вел строительство. Наконец луженая глотка Никандро́ва, от выкрика которой вздрагивал даже привыкший к шуму Лепикин, прогудела:

— Зураб! Где ты там?! Иди!..

Лепикин гневно перебил его:

— Снова, товарищ Никандров, занимаетесь облицовочной плиткой и обустройством дипломатических дел?! А стройка?! Вы — первый руководитель! Вы!.. — И уже обращаясь к протиснувшемуся главному инженеру: — А ты, Зураб Кулбатович, как выючная лошадь, навалил на себя и чужие обязанности? Добренький, да?.. Вот так мы бездельников и разводим, — Сказал и невольно подумал, улыбнувшись, что точно так же выговаривала ему в минуты гнева его Ольга.

В это время из свиты сопровождения просунулся вперед невысокий старик в белом овчинном полушубке, с поднятым воротником, но без шапки. Малиновую от холода плешь его обрамлял сильно поредевший венчик курчавых седых волос. И только абрис лица, серые немигающие глаза и прямой, строгих линий нос.

«Боб-Яшка!..» — мелькнуло у Лепикина.

— Пронин?! Борис Яковлевич?! — спросил он подошедшего к нему вплотную человека.

— Он самый, Евгений Фролович! Он самый!.. — четко, звонким голосом ответил Пронин, хотя взгляд серых глаз был немного потерянный. Глядя на Лепикина, он вдруг несколько раз заговорщически кивнул в сторону Никандро́ва.

Лепикин крепко пожал руку старика. В сердце метнулась теплая волна.

«До чего же предан делу!.. Золотой человек...»

— А ну-ка, Боб, пшел отсюда! — заорал Никандров. — Зураб, я сколько раз говорил тебе не пускать придурка на территорию!..

Пронин мигом отскочил от Лепикина. Чуть закинув голову назад, стал махать указательным пальцем перед самым носом Никандро́ва, издавая мычащий звук. Потом вдруг стал отходить от него, резко тыкая в сторону Никандро́ва пальцем.

Один из прорабов подошел к Пронину, что-то сказал ему, и они, мирно беседуя, удалились в сторону выхода с территории прома.

— Зачем обидел старика? — глухо спросил Лепикин, ощутив прилив гнева.

Никандров ничего не ответил. Молча отвернулся.

Главный инженер, невысокий, стройный, в белой каске с козырьком, сбоку которой была выгравирована дарственная надпись, держался подтянуто, то и дело шмыгая длинным, посиневшим на ветру горбатым носом. Из-под каски торчали курчавые с густой проседью волосы. Он вопрошающе смотрел большими светло-коричневыми глазами то на Лепикина, то на Никандро́ва. Стильная ниточка усов то и дело вздрагивала и растягивалась вправо.

— Вот я Зураба и поставлю начальником стройки! — выкрикнул Лепикин, грозно наступая на стоящего чуть поодаль насупившегося Никандро́ва. — Докладывай, Зураб!

Лепикина еще и раньше забавляло, как менялась тональность голоса главного инженера при высоком начальстве. Голос его становился как бы собеседующим, совещательным.

Грузинский акцент придавал ему особую доверительность. Но зато на оперативках, на блоке, среди своих подчиненных — это был орел, штурмовик! Заражал энергией, налетал коршуном, валил навзничь, требовал, чтобы поверженный просил пощады. Потом, если это происходило, сам ставил побитого на ноги, снова озадачивал, давал символического пинка под зад и — дело двигалось дальше.

«...— Встань, Кремаловский, встань! — вспомнил Лепикин одну из оперативок, которую наблюдал сквозь открытую дверь из соседней комнаты, будучи еще управляющим трестом. — Кто я такой?! А? Кто, я тэбэ спрашиваю?! Главный я инженер? Ыли ти главный инженер? — И ладонью, и ладонью по столу, аж грохот непрерывный. — Пыши, Люся. В пратакол пыши — Кремаловский апяты нэ выпольнил задания... Срок сам назначал?! Спрашиваю, а?! Па-а-чэму прямок нэ забэтанировал?! — И металлический баритон Зураба, сопровождаемый непрерывными ударами о фанерную столешницу, возвысился до невиданной мощи.

Кремаловский стоял бледный, как смерть. Вялое узенькое губастое лицо его с вытянутым утиным носом дергалось. Он порывался что-то сказать, шевелил губами...

— Видь отсюдова, видь! Нэ магу сматреть на тэбэ!..

— Ладно, пойду... — угрюмо в паузу вставился Кремаловский.

— Что-о?! Я тэбэ пайду! Ишь какой красавец! Он сэбэ пайдет, а прыямк главный инжэнэр будет бэтанировать!.. — И вдруг голос Зураба упал почти до шепота: — Ладна... Криста на тэбэ нэт... Кремаловский... Ти скажи... У тэбэ дэти ест?.. Есть канэчна... Она кушать просит?... Просит канэчна... Ти пачэму прямок нэ сделал?..

И тут Кремаловский взмолился:

— К вечеру будет готово, Зураб Кулбатович. Запишите, пожалуйста...

Зураб замычал, отечески качая головой.

— Э-э-э-х, Кремаловский... И как тэбэ земля дэржит?.. Запыши, Люся — вечером прямок будэт гатов...»

И так каждый день. Четыре оперативки. Да еще летучки на самом энергоблоке при обходе... Дни, недели, месяцы, годы... Штурмовик, орел!

Вспомнив все это, Лепикин улыбнулся.

— Асобенность здэсь у нас, канэшна, есть, Евгений Фролович... — начал Зураб вкрадчиво с такими подкупающими кавказскими интонациями голоса, что хоть сейчас садись с ним за чебуреки с добрым кувшином вина.

«Друг ты мне, да? И я тэбэ друг!» — будто говорят, кричат его светло-коричневые глаза.

В такие вот минуты Лепикин ловил себя на удивительном чувстве: «Какое прекрасное, изумительное существо — человек! Господи! Да что же это такое?! Почему же люди так плохо живут между собой?...»

— Да-а... Канэшна, ест... — продолжал Зураб. — Островное расположение котельных отделений с установкой в них свэрхмощных котлов... Вон там, пасматрытэ... — Он показал рукой вверх, где, продуваемые ветром, на вертикальных блоках трубных пучков плотно копошились монтажники. Ветер завывал в трубах экранов, будто играя на гигантском струнном инструменте. То там, то здесь, на разных высотных отметках, вспыхивала сварка. Летели веером сначала яркobelые, постепенно краснеющие и тухнувшие на ветру искры. Громыхал в этой симфонии железа, людей, огня и ветра мостовой кран, накладывая на завывающий звук стихии свой утробный гул. — Павэрхности нагрэва, — кричал Зураб, — подвешены к жесткому диску и хребтовым балкам... Во-о-н там!.. Они опираются на строительные конструкции здания... Ето приводит к значительному увэличению трудоемкости работ из-за усложнения монтажа блоков котлов... Блоки идут — ничэго болшэ

нэ идет... Так живем, Евгений Фролович... Вся зона котельной является опасной по ТБ... Зона Действия кранов очэн ограничэнна... Вельма сложная транспортная схэма... Но ничэго... Нада, значит, нада...

Лепакин отработал на монтаже этого уникального теплового энергоблока более года. Почти безвыездно... Выгнал со стройки Никандрова... Министр долго упирался, но в конце концов уступил. Начальником управления строительством назначили Зураба Кулбатовича... Но фактически все время своего пребывания там вел стройку заместитель министра Лепакин...

С Ольгой как-то все притупилось. Порою Евгению Фроловичу казалось, что ее и нет вовсе, его жены, Ольги Павловны. Как-то незаметно за многие годы — работа, работа, работа — все-все в нем перемолола... И семью перемолола, и...

«И вот получилась мука... А что еще?..»

Мука получилась... Аморфная, бесформенная, сыпучая масса... Девочки выросли незаметно... Длинноногие, стройные... Милые его сердцу дикарки... Конечно, он всего себя отдал... Нет! Всего его забрала работа. А девочки фактически росли без него... Ольга как-то вся припорошилась мехами, успокоилась... Даже дорогие домашние халаты оторочены тонкими изящными полосками горностая. Руки в кольцах и браслетах.

И снова где-то вдалеке-вдалеке солнечно вспыхнул перед Евгением Фроловичем облик молоденькой ясноокой Оленьки... И можно ли было угадать тогда в ней сегодняшнюю скучную и разжиревшую женщину?..

А потом эти выкрики министра на коллегиях... Запомнились... И звучат, звучат...

«Вы нам, товарищ Лепакин, зубы не заговаривайте... А то, понимаешь, то да се... Скажи прямо, Евгений Фролович, блок пустишь?..»

«Пустишь, пустишь, пустишь... Пустишь?.. — гулко ухало в тишине. — Пустишь?.. Пустишь?..» Голос министра постепенно обретал цветные очертания. Сначала перед глазами Лепакина неотчетливо поплыли, заколыхались на темно-лиловом фоне муаровые узоры... Медуза не медуза... Какая-то фиолетовая вуаль... Булькающие звуки... Узоры все более светлели, светлели, накалялись... Красное! Красное!.. Обагрённое кровавыми отсветами, появилось вдруг лицо Боба-Яшки, его вспыхнувший розовым светом седой венчик волос на голове, пытливые немигающие серые глаза с отсветами пламени. И голос. Строгий, звучный:

— Держись, браток!..

— Огонь! — закричал Лепакин и, в ужасе вытаращив глаза, привстал на локтях. — Огонь!

Перед ним в памяти полыхало красное зарево колоссального ночного костра.

«Горит, гори-и-т!..»

Евгений Фролович обессиленно опустился на спину и заслонился верблюжьим одеялом от нестерпимого жара...

7

На работу в аппарат Совета Министров республики его отозвали тогда внезапно и безоговорочно. Назначили начальником топливно-транспортного отдела...

И пошли эшелоны... Эшелоны... Эшелоны... С углем, с мазутом. К топкам тепловых электростанций... День и ночь... Недели, месяцы, годы... Критический запас топлива. Месячный, недельный, двухдневный. Страх, опасность погасить топки. Особенно зимой... Все это как дамоклов меч повисло над его головой...

Но сидение за столом, в своем кабинете, в залах заседаний — тоже дни, недели, годы — не прошло даром. Лепикин еще более облысел. Стал плешив с затылка. Бугристые мышцы огромного тела покрылись жирком. Ниже затылка вспухла упругая холка. Он стал похож на огромного пупса...

В ту зиму морозы ударили поистине крещенские. Сухой воздух, казалось, трещал. Пятьдесят градусов ниже нуля! Евгений Фролович не уходил домой. Все более нарастающее внутреннее беспокойство заставляло его то и дело вскакивать из-за стола и ходить взад и вперед по кабинету, разгоняя тревогу. Невольно всплывала из памяти история двухлетней давности, которая была словно предупредительный сигнал. Тогда в такие же морозы распалась энергосистема Средней Волги. Потухли пять крупных электростанций. Разморозили отопление в сотнях домов Приволжска... Жителей, кажется, развезли по деревням... Теперь похожий случай... Три крупнейшие тепловые электростанции республики — Хребтовая, Степная и Озерная в любой момент могли погаснуть. Запас топлива на них колебался от двух до пятидневного...

Перед Лепикиным на столе лежала карта, на которой он ежечасно отмечал движение эшелонов с углем и мазутом... Только вчера было восемнадцать градусов мороза — и на тебе! Такой катастрофический для энергетиков скачок!

Рука Лепикина в нервном нетерпении все время тянулась к телефону, хотя топливно-транспортное управление министерства каждые полчаса уточняло для Совмина республики местоположение составов с топливом.

Лепикин заказал по правительственному телефону все три станции, но связи не было. Наконец дали Хребтовую, слышимость ни к черту. Откуда-то из преисподней голос директора ГРЭС надрывался в тщетной попытке донести до Совмина хотя бы суть ситуации. Ничего не понятно! Но даже в этом слабом, шелестящем, будто потустороннем звуке, Евгений Фролович угадывал безысходность. Разобрал после длительного прослушивания лишь отдельные фразы. Но это было в сегодняшней ситуации, пожалуй, самое главное.

— Уголь... монолитится... за-амёрз... Глыбы... Угледробилка... дребезги... Поняли?! Нет... Скоро... Тухнем...

— Приказываю держаться! — рявкнул Лепикин так зычно, что стекла в окне звякнули на неплотностях.

— А-а-а... У-у-у... — ответила Хребтовая. — А-а-а-у-у...

Евгений Фролович с досадой бросил трубку.

Недавно только звонил директор городской ТЭЦ. Станция мазутная. На ней держится отопление северо-западного района города. Остальные районы — на индивидуальных газовых котельнях...

— Как с мазутом? — спросил Лепикин.

— Двухнедельный запас, Евгений Фролович! — бодро начал директор ТЭЦ, но затем сбавил на полтона. — Загустел мазутишко, будь неладен!..

— Грейте! Подбавьте парку! Что, первый раз родился?! Учти: потухнешь — ответишь перед партией и судом!..

— Вместе ответим, Евгений Фролович! — сказал директор зазвеневшим вдруг голосом, но стараясь сдерживать волнение.

— Я не боюсь ответственности... Интенсивней грей мазут! Не жалея пара!.. Смотри мне!..

Звонок от диспетчера энергосистемы:

— Хребтовая погасла, Евгений Фролович!.. У них семидневный запас угля. Пути забиты эшелонами... Уголь смерзся. Омонолитился. Тормозит разгрузку. Сломалась угледробилка... Дело дрянь... Степная и Озерная держатся пока, но разгрузка мазута из-за сильного

загустения топлива идет туго. На Степной заморозили или вот-вот заморозят эстакаду. Эшелоны с мазутом подпирают станцию. Что будем делать, Евгений Фролович?..

Лепикин молчал. В трубке сухо потрескивало. Слышались перезвоны предупредительной сигнализации на щите управления...

— Не знаю... — наконец произнес он. — Подумаю... Но одно ясно: надо держаться... Работать, работать, работать... Через не могу... Понял?

— Понял, Евгений Фролович!

Прошло еще двое суток. Мороз не спадал. Степная и Озерная держались. Городская ТЭЦ потихоньку «снискала»...

Вышагивая ночью по кабинету, Лепикин думал: «Вот она где, наша слабость... Убрали печки из домов, завязались на централизованное тепло — и на тебе! Дед Мороз только усы покручивает... Не-ет! Что ни говори — автономность, то есть печка, — дело недурное...»

Он вспомнил вдруг детство, деревню. Огонь в печи. Всю огромную семью — взрослых и детей, сидящих против жерла топки... Красный, жаркий, но добрый огонь. Слезающиеся поначалу, а потом пузырящиеся кипящей смолой торцы поленьев... И он, Женька, малец, сунул палец потрогать эту пенящуюся смолу... И ожог, и боль, и липкий загустевающий тяж... Но он не заплакал... Отец время от времени проталкивал в топку раньше не влезавшие, а теперь свободно подвигающиеся в огонь головешки... Хорошо! Запах дыма, смолы, огня... Искры стреляют из печки под дружные веселые вскрики и хохот ребятни... Да-а...

«Вот тут-то и нужны атомные «бестопливные» электростанции... Никаких тебе забот с топливом...» — подумал Лепикин.

Раздался настойчивый, почти истеричный звонок. Взял трубку. Вялость в голове. Третью ночь не спит.

— ТЭЦ погасла... — услышал Лепикин надтреснутый голос директора. — Эстакада замерзла. Мазут хоть ножом режь, пилой пили. Не мазут, а битум...

— Безответственный ты человек, Странцев! — с расстановкой, твердо отчеканил Лепикин. — Сейчас я приеду. Покажу, как надо работать, — а у самого в груди похолодело. В воздухе перед глазами запрыгало, замигало, разбросалось вкривь и вкось колющее слово:

«Прокол... Прокол... Прокол... — от многочисленного повторения слово потеряло первоначальный смысл, словно бы превратилось в набор фигурных узоров из проволоки. — Прокол... Прокол... Прокол...»

«Не паникуй!.. — зло одернул себя. — Удивительное дело — с каким-то недоумением и уже спокойно подумал Евгений Фролович, — впервые в жизни сижу как идиот и не могу реально вмешаться в процесс...»

Звонкий голос Странцева вернул Лепикина к яви.

— А что ехать, Евгений Фролович?.. Пара нет. Я дренирую все технологические системы к чертовой матери. Иначе через час-другой разморожу все оборудование. Вот тогда под суд и из партии — это уж точно... Но не век же морозы!

— А северо-западный район? О людях подумал? Пятьдесят градусов ниже нуля... Разморозим всю систему отопления... Эх, Странцев!

— А что я могу сделать? — и вдруг голос директора прояснел. — Евгений Фролович! Надо срочно переселять северо-запад... Хотя бы детей... В другие районы... По деревням... А там — будь что будет!.. Помните два года назад? Приволжск...

«Он тоже помнит...» — подумал Лепикин, но ничего не ответил. Бросил трубку. События разрешились печально. Теперь это ясно. Машинально стал писать ручкой на чистом листе бумаги внезапно прилипшее к нему слово. «Прокол... Прокол... Прокол... Прокол...» — выводил слово старательно, красиво, в шахматном порядке заполняя лист. Неожиданно

слово «прокол» вновь обрело свой резкий перфорирующий смысл. Он увидел вдруг себя со стороны всего изрешеченного дырами. Сказал вслух и громко:

— Прокол! — и сразу почувствовал, как все его существо заполняет вялая теплая волна расслабления. Сжал голову руками. Стиснул виски до боли и обмяк. Густые дурманские волны поплыли перед глазами. Чудовищно захотелось спать. Глаза слипались. В череп словно полилась, все более наполняя, сладко-ядовитая истомная жидкость. Сон... Усилием воли вскинул кулаки. Обрушил на столешницу. Гром удара. Подпрыгнула трубка. Коротко дзенькнул звонок телефона. Лепикин вскочил. Накинул тулуп, малахай. Выбежал в коридор. Уже когда закрывал дверь, услышал грозный зуммер телефона зампреда Совмина.

«К черту!.. Надо спешить на северо-западный...»

Выйдя на улицу, сразу ощутил, как сухой пятидесятиградусный мороз прихватил волосы к слизистой ноздрей. При шмыганье носом в дыхательных путях больно подергивало. (С корнем вырывало примерзшие волосы.) Несмотря на тулуп, малахай и сапоги на меху, Лепикину показалось, что он легко одет. Резкий сухой холод забирался под одежду. С тревогой подумал: «Холод вмиг проморозит дома... А там...»

Мозг заработал четче, уверенней... Стремглав бросился назад, к себе в кабинет. Отдал приказ транспортной колонне кочегарить автобусы и быть наготове. Затем позвонил министру:

— Сидор Иванович! Лепикин! Здравствуйте!

— Да-да, Евгений Фролович! Я тебя слушаю!.. — голос министра по интонации где-то был на равных, и все же в нем, как показалось Лепикину, ощущалась еле заметная неловкость.

Когда Лепикина два года назад после успешного пуска пятисоттысячника неожиданно «вырвали» в Совмин, министр обошел это событие гробовым молчанием. И потом, разговаривая по телефону или встречаясь с Евгением Фроловичем, делал вид, что ничего, собственно, не произошло. Будто Лепикин и не работал никогда под его началом, а чуть ли не в Совмине и родился...

— Сидор Иванович! Положение тяжелое... Погасла ТЭЦ... На ней «висит» весь северо-западный район... Там все вымерзнет в два счета... Надо выручать...

— Знаю, Евгений Фролович... Уже собирается аварийная бригада ремонтников из персонала энергосистемы и строительно-монтажного треста. Организовано круглосуточное дежурство на диспетчерском пункте... Дежурит автобус с работающим мотором... — вдруг министр попросил. — Подожди немного. Звонит диспетчер ОДУ. — Чуть в отдалении в трубке слышалось: — Да ты что?! Вконец плохо!.. Срочно рембригаду! — И уже Лепикину: — Еще одно событие. Обесточилась подстанция северо-западного района... Ни тепла, ни электроэнергии... И минус пятьдесят...

Судорожная холодная волна пробежала по спине Евгения Фроловича.

— Сидор Иванович... — Лепикин помолчал, соображая, что же делать. — Я выезжаю через пару минут в северо-западный район... Там пятьсот домов... Дети... Надо выручать... Прошу вас все ремонтные бригады направить на теплотрассу. Разморозит — не сможем подать тепло и через неделю... Я свяжусь с МВД и военным округом. Буду просить о срочном направлении в район бедствия спасательных бригад и военных для оказания помощи... Армия всегда помогала...

Говоря все это, Лепикин ловил себя на каких-то странных, совещательных интонациях.

«Вот дожил!.. Влип в историю...» — подумал он, ожидая ответа министра, но тут же сморщился от неприязни к самому себе. Что это он забеспокоился вдруг? Ведь не о собственной Шкуре заботится сейчас... Тогда — что это? Инстинкт? Подсознание?..

И Лепикин безжалостно подавил нечаянно подкравшийся страх.

— Добро... Действуй... — услышал Евгений Фролович. Голос министра отдавал хрипотцой.

«Волнуется старик... Но за компанию волноваться легче», — мелькнуло у Лепикина.

— Я тоже здесь раскручу и приеду, — закончил министр, — Успеха тебе!

«Волга» поджидала с работающим мотором. Выхлопные газы в морозном воздухе тут же конденсировались. Влажно и тошнотно пахло бензином и гарью. На снегу, под выхлопной трубой, намерзла темная жирная и расходящаяся полоса наледи.

— Северо-запад! — выдохнул Лепикин, ввалившись в кабину. — Там плохо, Витек!.. Бензином запасся?

— Полный бак! — с готовностью ответил водитель, молодой парень с челкой. Лицо озабоченное. Совсем мальчишка. Полтора года, как из армии. Но водитель — ас.

— Жми! — приказал Лепикин. — По дороге на минутку заскочим в автоколонну. Надо поднять весь автотракторный парк... Весь!..

«Волга» с хрустом рванула с места. Скаты гулко скрипели по промороженному и накатанному шинами заснеженному асфальту центра города. Воздух, казалось, на глазах густел и опускался из морозной ночной выси, растекаясь по улицам. Вертикальные галло от уличных фонарей заледенело мерцали искрами в чахлых кристалликах редкой сухой изморози на лобовом стекле. Тонкие, сухие, казалось, вымороженные лучи света вращались, пробегали перед глазами Лепикина, и ему чудилось, что эти острые световые иглы не то льда, не то света будто пронзают все его существо, и он даже в кабине с работающей печкой вдруг ощутил острый озноб.

«Дети... Дети...» — непрерывно и тревожно вертелось в голове.

И вдруг чувство, что сейчас, в эту суровую морозную ночь, происходит нечто очень важное, главное для его жизни, — заполнило Лепикина. Да... Кажется, события подводят его к черте, за которой... За которой неизвестно что...

Но почему-то от чувства, от мысли этой он ощутил где-то, очень глубоко в себе, подобие облегчения. Будто вся прожитая жизнь не просто предельно утомила его... Нет... Она в чем-то, очень главном, мучила, терзала... Но в чем? В чем?.. Почему он так жаждет освобождения?.. А может быть, это та самая невидимая «обойма», в которую вщелкнул, запрограммировал его тесть Павел Иванович много лет назад?.. Может, это?..

Лепикин с улыбкой и теплым чувством подумал вдруг о морозе. Ему представился огромный, краснощекий, курносый великан в белом тулупе. Старик улыбнулся Лепикину и многообещающе подмигнул. Да-а... Получается, что этот беспощадный мороз не только враг ему, но и друг... Да, вот почему-то надежда... Надежда на какую-то перемену...

Но перемена ожидает не только его. Неизвестно, как-то еще будет его тестю, Павлу Ивановичу...

Евгений Фролович явственно представил его, хитроглазого, маленького, солнечноликого. Рыженькие волоски излучали благополучие и жизнерадостность, и во всем облике этого человека была удивительная взбадривающая ясность. Словом, родное, очень родное лицо...

Лепикин долго не мог найти объяснения этому ощущению. Потом вдруг сразу как-то понял, вспомнил: «Как у Сталина... Как у вождя... Тоже ведь очень родное лицо... Как это им удастся так?.. Верховная уверенность?.. Ощущение всемогущества, но при этом осознание миссии творца добра?..» Когда Лепикину показалось, что он понял это, выражение лица тестя стало раздражать его. «Превосходство!.. Да!.. Превосходство и милость... Державная милость...»

Осенью на октябрьские торжества собирались в доме у тестя. Решили праздновать в кругу семьи. Так хотел Лепикин, и все согласились. Но неожиданно явился незваный гость — друг

юности и хороший приятель Павла Ивановича, министр мелиорации и водного хозяйства республики Андрей Иванович Поддавченко. Шумный, очень быстрый и жизнерадостный мужик. На лице непреходящая легкая, хитроватая улыбочка. Скороговорка. Но что больше всего поразило Евгения Фроловича — лицо министра мелиорации, маленькое, со смазанными чертами, утиным носом и заплывшими серыми глазками, тоже казалось родным. Каким-то очень родным...

«Как это им удастся?..» — снова мысленно удивился Лепикин, наблюдая за гостем.

А Поддавченко уже быстро и неслышно прохаживался по ковру гостиной, молниеносно потирая руки, словно в предвкушении чего-то очень приятного.

— Давненько, давненько я у тебя не был, дорогой мой Павел Иванович!.. А живешь ты, скажу я тебе, ничего! Весь в коврах. Солидно и удобно!.. Ха-ха-ха!.. Но мещанином не назовешь, ты уж прости за дружескую бесцеремонность... Вон книг сколько!.. — Поддавченко остановился возле импортных книжных полок, где собраниями сочинений были представлены чуть ли не все западные и русские классики. — Все читал?.. Ха-ха-ха! — И, не дождавшись ответа улыбающегося Павла Ивановича, сам подытожил: — Конечно, все... А зачем тогда их иметь?.. Правильно я говорю?.. А я вот — не успеваю... Не успеваю...

Павел Иванович все это время улыбался, молча и с любовью глядя на друга юности. Поддавченко тем временем взял с серванта очень тонкого литья статуэтку Пушкина (миниатюрную копию опекушинского памятника в Москве). Повертел ее в руках и, перевернув Пушкина вниз головой, долго рассматривал надпись на цоколе, пытаясь что-то там прочесть.

— Пятнадцать рублей... — сказал он наконец. — Хорошая вещь... И поставил статуэтку на место.

Телевизор, подарок Насера, работал. Круглолицый губастый поэт, стоя в позе Маяковского и на этот раз почти не заикаясь, читал стихи о том, что на земле на каждого человека накоплено уже по пятнадцать тонн взрывчатки...

— Не нравится мне он, — сказал Поддавченко. — По-моему, поэт должен декламировать свободно, с легким дыханием...

— Да-да... — улыбаясь и очень как-то мягко, но важно сказал Павел Иванович. — Я, например, признаю только Александра Сергеевича Пушкина. Вот это был поэт! Как льется стих! А сколько любви к России!..

— И к женщине, заметь... — сказал Поддавченко, схватив чугунную модель царь-пушки. — О-го-го!.. Ну, брат, чуть не надорвался... Кто это тебе подарил такую?

Павел Иванович, улыбаясь, кивнул другу и загадочно сказал:

— Было дело...

Лепикин подумал о своем министре Сидоре Ивановиче Полном: «Нет... У того лицо неродное... Это, наверное, хорошо... Он деловой, рабочий мужик... Но без свояков чувствует себя неуютно... Да-да... Опора на свояков... Пускай будет тупой, но свой...»

Ольга с матерью Валентиной Петровной закончили накрывать на стол.

Все было красиво и просто. На столе, крытом белоснежной скатертью, почти не было свободного места. Заливной судак на розовом фарфоровом блюде. Много семги, нарезанной большими ломтиками, красное мясо сочилось жиром и вкусно пахло, блюдо тонко нарезанного сервелата, нежной вареной колбасы и рядом кусок побольше в естественной с прожилками, а не целлофановой обертке, салаты из огурцов и свежих помидоров и еще какие-то другие и пряно пахнущие, в высоких хрустальных вазочках красная и черная икра, коньяк для мужчин, мускат для женщин...

— Умеют же твои хозяйюшки! — удивленно воскликнул Поддавченко и, утробно хохотнув, взял кусочек батона и толсто намазал красной икрой. — Слюну, понимаешь, вышибает...

Он жевал сосредоточенно, весь, лицом и глазами, обращенный внутрь, словно приглядывался и принюхивался к вкусу съедаемого продукта.

Появился с большим паром тушеный картофель и жареный гусь в гусятнице. Гости сели за стол.

«Благополучный министр... — подумал о Поддавченко Лепикин. — Сидор Иванович другой... В энергетике дела посложнее, видать, чем в мелиорации...»

Ольга выглядела счастливой. Ее всегда привлекали и радовали застолья. Лепикину нравилось в ней это. Тяга к гнезду, обеспеченности и сытости, прежде всего детей, — не это ли одна из важнейших сторон в женщине?..

И в это мгновение о себе подумал с неприязнью, что не хозяин для дома, ест всегда на ходу, не ощущая порою как следует вкуса съедаемого...

Нет, Ольга права... Он во многом виноват перед ней...

Валентина Петровна все приговаривала:

— Ешьте, ешьте, дорогие мои... — и краснела при этом, словно бы стесняясь и своих слов, и что кушанья не понравятся.

— Да, брат, — начал Поддавченко, обгладывая ножку гуся. — Скоро нас, Павлуша, спишут с тобой... Да-а... Скоро... Думаешь ли об этом?.. А?.. Нет?.. Пора и мемуары писать... Нет у тебя такой задумки?..

— Да вот... Друзья говорят, — улыбаясь, сказал Павел Иванович, — пиши книгу, товарищ Щегольков, такая жизнь за плечами!.. Да-а... Жизнь была, ничего не скажешь... прожита большая и трудная жизнь... Сколько мы переделали с тобой дел, Андрюха, не пересчитать, а?..

— Да-а... — сказал Поддавченко мечтательно. — Нарботали мы с тобой немало... Я вон — всю засушливую землю оросил в республике... Ты — заводов понастроил, ворочаешь гигантским хозяйством... И заметь — все ведь сами дорогу себе прокладывали... Первопроходцы... Никто нам не помогал, волосатой руки не было...

Заключительная фраза мелиоратора кольнула Лепикина. Он нахмурился.

— Ты что-то не туда гнешь, Андрей, — заметил Павел Иванович. — Партию забыл?.. Она нам помогла, она нас двигала и растила...

— Так я ж не о том... — обиделся министр.

— Так вот, товарищи, — Павел Иванович наполнил рюмки мужчин коньяком, женщин — мускатом. — Тост мой первый, — он встал, за ним остальные, — тост мой за нашу партию, за Октябрьскую революцию!

Все выпили стоя и сели. Потом, уже сидя, пили за хозяек дома, за дорогого гостя, за мир во всем мире и чтоб не просыхало...

Стариков быстро разморило. На экране телевизора появилась Алла Пугачева. Все повернулись к телевизору.

— Не люблю я ее! — сказала Валентина Петровна, сильно покраснев.

— А я люблю! — воскликнула Ольга.

— Что же, — сказал Павел Иванович, — мы тоже имеем право иметь своих шансонэ... Почему же?.. Приличная русская певичка... Модернизированная, правда... Но ведь сейчас весь мир модернизирован... Все изменилось, но я вам скажу, что не во всех случаях в лучшую сторону...

— Ну, это уж ты зря... — сказал Поддавченко, жуя бутерброд с икрой. — Взять хотя бы твоего зятя... Мужик с головой, энергия бьет ключом, чем не замена таким, как мы?..

Лепикин недовольно нахмурился, давая понять, что разговор о нем ему неприятен.

Павел Иванович встал, убавил громкость и предложил:

— Давайте споем! Сегодня революционный праздник, товарищи! Я предлагаю «Вихри враждебные».

— Я согласна, — тихо сказала Валентина Петровна.

Машинально дирижируя недоеденным бутербродом с икрой, Поддавченко затянул первый:

Вихри враждебные

Веют над нами...

Все подхватили, кроме Лепикина, которому было почему-то стыдно. Но он все же шевелил губами, произнося слова песни шепотом.

Грозные силы

Нас злобно гнетут...

В бой роковой

Мы вступили с врагами...

Евгений Фролович заметил, что Ольга сильно покраснелась и обмахивалась салфеткой, как веером.

— Душно что-то, — сказала она, встала и вышла из комнаты.

Все поднялись из-за стола. Поддавченко предложил Лепикину выйти на лестничную клетку покурить, но тот отказался.

— Пойдемте, Андрей Иванович, — сказала Ольга, взяв Поддавченко под руку, — мне что-то очень душно...

Они ушли, но вскоре Ольга вернулась и, запечатлевающе глянув на Лепикина, прошла на кухню помогать матери.

Когда все разошлись, Ольга взяла Лепикина за руку и повела на лестничную площадку, куда выходила только одна дверь. Было тихо.

— Поцелуй меня, — сказала Ольга.

Лепикин нежно поцеловал жену в губы.

— Сильнее! — приказала она. — Укуси!

— Что с тобой?! — взволнованно спросил Лепикин, удивленно глядя на жену.

— А вот что!.. Андрей Иванович хоть и старый, но так схватил меня за груди, так вцепился зубами в рот, что до сих пор опомниться не могу...

У Лепикина потемнело в глазах. Мысленно представил Андрея Ивановича рядом. Удар. Тот летит к стене. Еще удар. Еще... Упал, кровь изо рта...

— Я его прощаю, — сказала Ольга. — Он был пьян... И ты прости его... Но он сказал правильно. Что он министр, и поэтому ему нельзя ничего человеческого... Сказав так, он сделал...

— У него что, нет жены? — спросил Лепикин.

— Почему же?.. Просто человеческая слабость, понимаешь?..

— Не понимаю... Ты хочешь изменять мне?..

Ольга молчала.

Вновь перед мысленным взором Лепикина появился министр мелиорации. Он стоял смущенный, и лицо его теперь не казалось Евгению Фроловичу родным.

«Ну ладно, — мысленно же сказал ему Лепикин, — больше так не балуй, а то...»

Лепикин крепко закрыл и затем открыл глаза, возвращаясь к яви. За дверцей «Волги» снаружи минус пятьдесят пять... Мерзнет правое колено...

Над территорией автоколонны поднимались клубы пара и прозрачного дыма, быстро тающего на уровне автобусных крыш. Моторы гудели. Водители были на местах.

Помигивали фары и подфарники. На морозе все излишне парило, дымило, клубилось, как в долине гейзеров...

Ворвавшись в кабинет к начальнику автоколонны, Лепикин с ходу выпалил:

— Восген Иванович! Голубчик! Заводи все, что может ехать, светить, перевозить!..

— А что? Так плохо, Евгений Фролович?.. — выскочив из-за стола, с тревогой спросил Восген Иванович Казарян маленького роста человек с мощным серповидным носом и с редкими мелкими кудрями, сквозь которые просвечивала смуглая кожа черепа. Глаза у него были раскосые наоборот. Внешние углы глаз загибались вниз, что придавало его лицу в сочетании с развитым носом и маленьким ртом с опущенными краями впечатление вечного удивления.

— Очень плохо, Восген! Потухла ТЭЦ, и отрубилась подстанция Северная... Нужны не только автобусы. Заводи весь тракторный парк. Бульдозеры, тракторы, скреперы. Все, что на ходу... И в северо-западный! Надо действовать... И быстро!.. Дети... Ты понял меня?

— Вай-вай! Евгений Фролович, понял... Как же, как же... — «Же» он произносил очень мягко. — Через тридцать минут введу всё калоной. Можешь бить спокоем, Евгений Фролович...

«Волга» понеслась в Заречье, к мосту, по длинному пустынному перегону вдоль теплотрассы. Где-то там, вдали, где обычно виднелось марево северо-западного района города, сейчас была зловещая глухая темнота. В дверь машины поддувала ледяная струя прямо против правого колена Лепикина. От холода ногу сводило болевой судорогой. Ветра, похоже, не было. Но мелкие, редкие, какие-то иссушенные стужей снежинки взметало из-под передка машины невидимыми завихрениями воздушного потока, и они как-то растерянно и одиноко металась в створе лучей фар.

Он вспомнил студенческие поездки на Чукотку. Был там и зимой. И здорово его тогда удивило, когда заметил, что чуть не в каждом автобусе установлена железная печурка с дымоходом в окно, заставленное вместо стекла куском жести. А рядом запас дров или угля. На всякий пожарный случай. А вдруг мотор на перегоне заглохнет? Тут печурка и спасет. С морозом шутки плохи!..

Уголь или щепа хрустели под ногами, а люди ничего себе — едут спокойненькие...

«Далеко ушли от печек, далеко!..» — подумал Лепикин и вспомнил, как хорошо горят в такие сухие морозы дома, сараи и прочие постройки... Огонь вдруг заметался перед его взором. Жаркий, красный огонь давнего, еще в детстве, пожара. И потом груды углей и пепла. И дымящиеся головешки. Едковатый запах дыма. И что-то ищущие в пепле погорельцы...

И тут Евгений Фролович увидел впереди огонь въяве. Мощные коптящие языки красного пламени взметались вверх, прыгали, перебегали на огромной длине, может, с километр или два. Огненная змея вздрагивала, горбилась, будто ползла. Лепикин сразу понял — горела теплотрасса. В иных местах на фоне красного пламени то и дело мелькали фигурки людей.

«Поджог!» — мелькнуло у Евгения Фроловича. И приказал:

— А ну-ка поддай газку, Витя!

— Почему огонь?! — зычно гаркнул Лепикин, выскочив из машины и бросившись к человеку в валенках и меховой куртке, который плескал из ведра солярку на поленницу дров подле опоры трубопровода.

— Почему, почему... — пробурчал тот, не оборачиваясь. — Спасаем теплотрассу от размораживания... Облили ее всю мазутом да соляркой и подожгли... Надолго ли хватит?.. — Он поднес горящий факел к поленнице, она вспыхнула коптящим пламенем, и огонь обволок незаизолированную часть труб в районе опоры.

— Сколько опор, столько и этих голых кусков... — недовольно пробурчал рабочий и отвернул лицо от огня.

Лицо его было сухое, в оспинах. Нос длинный и узкий, здорово сплюснутый с боков. Страшно было, как же он дышит. Правая щека, обращенная к огню, сморщилась от жара. Зеленые глаза то высвечивались огнем, то притухали, когда причудливая тяга обдавала стоявших копотью.

— Гиблое дело... — сказал он и стал тереть кулаками глаза, которые ело от дыма.

Лепикин оглянулся назад, в сторону огней правобережья. Там уже явственно было видно, что, приближаясь к ним, по дороге идет колонна. Лучи фар то вскидывались высоко в небо, то припадали к земле.

— Поехали! Восген с колонной на подходе...

Теплотрасса горела уже почти на всем протяжении. Там и тут вдоль нее метались люди, подплескивали в огонь солярку, протягивали за собой языки коптящего пламени. Кто-то тушил подпалины на рукавах, бешено обстукивая себя, будто отбиваясь от пчел...

«Волга» влетела в кварталы северо-запада. Дома казались вымершими. Кое-где в окнах теплился слабый свет свечей. Иногда по стеклам изнутри шныряли лучи карманных фонарей. Люди копошились, что-то соображали. Может уже звонили во все инстанции, если, конечно, работала АТС. Ее наверняка тоже обесточило. Но на улице никого...

«Час-другой — и отопление начнет трещать», — подумал Лепикин, вспомнив, как отваливаются куски чугунины, обнажая заформованный грязно-зеленый лед. Он приказал остановить машину у ближайшего дома. Была половина первого ночи.

Освещая фонариком путь, вбежал в первый попавшийся подъезд и постучал в одну из квартир.

— Кто это? — послышался тревожный женский голос.

— Не пугайтесь! Энергетическая служба... Как у вас — холодно?

— Очень! — Женщина задвигала замками, приоткрыла дверь. — Совсем холодные батареи. Что это значит? — Голос ее взволнованно возвысился. — Что это значит?! И света нет...

— Прошу вас — спокойно, не волнуйтесь... Одевайте детей, сами одевайтесь и ждите. Авария в системе энергоснабжения... Главное — спокойно. Временно придется эвакуироваться в южную часть города...

Он обегал подряд все квартиры. Готовил людей... Наконец, вспотевший и обессиленный, сел на ступеньку лестничного марша.

«Нет!.. Так дело не пойдет... Один я тут умаюсь...»

Он вышел на улицу. Сел в машину.

— Пошуруй-ка, Витя, вдоль и поперек. Поищем что-нибудь деревянное... Поджечь надо... Сигнал бедствия...

А сам с тревогой думал, изумляясь неожиданной беззащитности людей перед стихией: «В домах еще есть небольшой перепад с улицей по температуре, но пахнет уже выстывающим воздухом... На грани с морозом... Да... Холодная влажность. Запахи кошек и собак, старой краски стен, лестничных маршей и мусоропроводов... Вымерзающий дом... Это страшно...»

Они вдруг увидели пэдэушку (передвижной деревянный утепленный домик). В таких строители устраивают обычно свои конторки. Домик стоял на пустыре, где, видимо, собирались что-то строить. Домик был пуст и еще не обставлен служебными шкафами, столами и скамьями. На полу в круглом пятне света фонаря — опилки, обрывки газет...

Стужа зверела. Щеки подсушило холодом. Нос вдыхал будто не воздух, а какой-то обжигающий газ...

Плеснули на пол и стены бензин. Отошли подальше. Водитель из-за стены метнул в проем двери коробок зажженных спичек. Духмяно запахло теплыми парами бензина, и вслед за тем из двери гулко вырвалось пламя, а через минуту жаркий огонь уже гудел вертикальным белым столбом...

Из-за дальнего забора, сколоченного из горбыля, появился мужичок с ружьем в белом тулупе и стал на бегу палить дуплетами в воздух, то и дело останавливаясь и перезаряжая двустволку. Он был весь розовый, будто светящийся изнутри в зареве пожара.

«Боб-Яшка!» — мелькнуло у Лепикина, и он ощутил, как сердце гулко заколотилось в груди. Почему-то образ старика Пронина не оставлял его. Словно бы преследовал. Лепикин с нетерпением ждал приближения мужичка.

В окнах домов, высвеченных огнем, там и тут стали показываться тревожные лица людей.

«Просыпаются... — подумал Лепикин. — Это хорошо...»

— Ну что палишь, хозяин? — дружелюбно спросил он подбежавшего мужичка, убедившись, что это не Пронин. — Убери стволы... С этим не шутят... — И тем не менее несколько раз примерил лицо Пронина к лицу сторожа и поймал себя на том, что не хватает ему сейчас Бориса Яковлевича... Да-да... Его ободряющего: «Держись, браток!»

— Как это так? — осторожно возмутился сторож, и его выпирающая тяжелая нижняя челюсть от изумления отвалилась. Воспаленные, маленькие, в окладе морщинистых век глазки его, завлажневшие от огня, ощупывали Лепикина. Он вскоре понял, заметив «Волгу», что тут, видать, начальство, снизил тон. — Как это так?.. Поджог... Государственное имущество...

— За службу спасибо! — сказал Евгений Фролович. Лицо его горело, раскаленное жаром пожара. — ТЭЦ погасла, да и подстанция отвалилась... А мороз видишь какой?.. До утра все зачоченеют...

— А у меня в будке печка...

— Ну, вот видишь, у тебя печка, а у них... — Лепикин кивнул в сторону домов. — У них нет... Помогай нам. Буди народ. Пусть одевают детей и будут наготове...

Мужик взял ружье на плечо и вразвалку пошел в сторону жилого района, буркнув:

— Дела-а...

Восген Иванович со своей мехколонной прибыл через час. Его «газик», прибывший чуть раньше, подрулил на «огонек». Казарян вывалился из машины взлохмаченный, утонувший в меховой шубе и собачьем малахае. Только серповидный нос торчал наружу. Размахивая короткими, до удивления, руками, он кричал, стараясь перекрыть шум вдруг загудевшего каким-то утробным гулом пламени.

— Чьто дэлать будэм?! Евгений Фролович?.. Ышь как жарыт!.. Дажь нэ вэришь, сабачий холод!..

«Скоро потухнет... — подумал Лепикин. — Последний дух выпускает...»

Евгений Фролович подошел плотнее к Казаряну.

— Вот что, Восген... Фарами бульдозеров свети в окна... Женщин и детей — в автобусы и в город. В тепло...

— Куда, Евгений Фролович?! К каму-у?!

Лепикин на мгновение замешкался. Но вдруг его осенило:

— В клубы, в кинотеатры, в рестораны!.. Если закрыто, срывайте замки в присутствии милиции с составлением актов... Действуй, Восген!..

Глаза Восгена Ивановича повлажнели. Он посмотрел на Лепикина таким хорошим, благодарным, даже любящим взглядом и сказал дрогнувшим голосом:

— Харашё придумал, Евгений Фролович!.. — И пошел к колонне.

Взревели моторы. Машины разъехались по кварталам, высвечивая в колодцах улиц вздрагивающими лучами фар...

8

Ольга Павловна заламывала руки в истерике. Бегала по комнате. Почему-то Лепикину показался смешным и нелепым ее длинный, отороченный мехом халат, красиво облегающий фигуру.

«Как внезапно,— подумал он, — вещи становятся враждебными всему настрою души...»

— Господи, господи! И что же ты наделал, Лепикин?! — кричала Ольга Павловна, судорожно хватая областную газету и разрывая края. — Ты почитай, почитай, что здесь написано. Половину города разморозил... — А он будто слушал и не слушал, отупело глядя на ее маленькие, будто не ей принадлежавшие ножки в голубых замшевых домашних туфельках, вышитых поверху цветами. Она раздраженно проследила его взгляд, приподняв халат, придирчиво осмотрела свои ноги и, не найдя изъяна, взвилась еще пуще: — Миллионы рублей убытку, народ мытарствует!.. Нет, нет — ты читай, читай!.. О, господи, господи, что же будет?!

— Я все читал, Оля, успокойся. Ничего не будет... То есть будет большой ремонт. Он уже идет. Но зато никто не замерз. Это главное... И теплотрассу спасли...

— А о нас, о своей семье ты подумал?! Ведь тебе придется отвечать...

— Ну и что? — спокойно, даже как-то равнодушно спросил Евгений Фролович. — Я не боюсь ответственности. Было бы за что отвечать. Спасать труднее...

— Нет! Я форменным образом не могу с тобой жить! Мы просто несовместимы... Папа столько для тебя сделал... Ведь будут оргвыводы... Тебя подставят — это как пить дать!.. Папа ведь уже на пенсии... Ты об этом забыл?..

Она еще долго о чем-то говорила, но Лепикин как бы отключил свой слух. Он только спокойно смотрел на жену, на этого в общем-то давно чужого по духу человека. И ее перекошенное гневом лицо, быстро шевелящиеся губы, отороченный светлым мехом дорогой стеганный халат нежно-розового цвета. Выцветшие, давно потерявшие тепло, холодные глаза, наполненные пустым гневом.

Ольга Павловна накручивала крик, переходя в иных местах на визг. В дверях стояли обе дочери Евгения Фроловича с враждебными бледными лицами. И вдруг девочки почти одновременно с досадой выкрикнули:

— Ты о нас не думаешь, папа! Все только своей работой занят!.. Да!.. Теперь все на нас будут показывать...

Упрек дочерей резанул Евгения Фроловича по сердцу. Он даже как-то сжался, словно бы от удара. Посмотрел на девочек жалобно, будто моля о пощаде. Но лица их были как бы наглухо закрыты...

Нет! Он не жалел о содеянном в ту январскую ночь. И может быть, это было самое главное дело, какое он сотворил в своей жизни... Кто-то, конечно, должен ответить за случившееся — таков закон этой жизни... А закон есть закон!.. Но он спас людей... Детей спас... Это главное...

Ольга Павловна как в воду глядела. Лепикина освободили от занимаемой должности. Зампред Совмина, на которого замыкался Лепикин, сделал деревянную физиономию, перестал здороваться и будто отродясь не ведал, кто такой Евгений Фролович Лепикин...

Сняли с работы также начальника топливно-транспортного управления министерства. Досталось и управляющим энергосистем...

Министр позвонил как раз в тот момент, когда Евгений Фролович ликвидировал последние дела и собирался освободить свой совминовский кабинет. Голос министра был бодрый звонкий.

— Не горюй, Евгений Фролович!.. Возвращайся ко мне. Поначалу управляющим трестом...

— По голосу, по каким-то захлебывающимся, еле сдерживаемым торжествующим ноткам Лепикин понял, что Сидор Иванович наслаждается неожиданным реваншем.

— Нет, Сидор Иванович, спасибо... Я уеду...

— Да брось! Куда ты уедешь?.. Здесь мы тебя знаем... Ну, вышла плюха... Тут наша общая беда... Беда цивилизованного мира... Соглашайся!.. — Голос министра на этот раз был доброжелательный.

— Нет, спасибо!.. Поеду в Москву. Повидаюсь со старыми друзьями... — настаивал Евгений Фролович. А у самого так плохо было на душе, так обидно, до слез...

— Ну, смотри... Старый друг лучше новых двух... — сказал министр сниженным голосом. — Будь здоров... А то смотри...

— Нет... — глухо сказал Лепикин, поперхнувшись комом, подступившим к горлу... — Вот так... Пора и поразмыслить... Взвесить прожитое... — сам себе вслух сказал Евгений Фролович и задумался.

Что-то не взвешивалось. Нет... К прошлому пока еще, как к кладбищу, не тянуло. Душа как бы сама отталкивалась от прожитого, отворачивалась от него и все устремлялась куда-то вперед. Но куда все же? Определенно Евгений Фролович ответить не мог. Состояние общей устремленности души и сердца в перспективу жизни его устраивало, давало импульс к действиям, что в его положении было немаловажным. Все же что ни говори, а кто другой мог бы и залечь в его случае с инфарктом или инсультом. Да-а... Счастливое свойство здоровой натуры... Но не перевозбуждение ли это? Не самогипноз ли как сохранный реакция организма, тщательно замазывающего трещину или надлом? Его это не интересовало. В данный момент, по крайней мере. Хотя все, что он испытывал теперь, ощущалось им на фоне общей пришибленности...

И когда Ольга Павловна, смущенная, сказала ему, что им-де, мол, по сорок пять, что они не сошлись характерами, и что она хотела бы с ним развестись, но у самой рука не поднимается первой перечеркнуть совместную жизнь и что она просит его подать заявление на развод и никаких препятствий чинить по этому делу не будет, Евгений Фролович спокойно и молча посмотрел на жену, в ее как-то шкодливо вбегавшие глаза, и подумал: «Сколь многолики женщины!..»

И еще удовлетворился тем, что его не оскорбила, не обдала ледяным холодом одиночества ее просьба. Он просто не воспринял ее, не внял ей...

Евгений Фролович быстро собрался в дорогу. Вечером зашел к тестю проститься. На душе было скверно. Видеть Павла Ивановича не хотелось. Пошел, преодолев себя. Подумал вдруг, что встречи с тестем всегда были неприятны ему. Но тут же устыдился этой мысли. Сам ведь принимал все его подаяния. Чего уж тут...

«Ведь все состоялось... Состоялось... Что это было? Игра в прятки с самим собой?.. С жизнью?.. Испытывал судьбу... Не мог вовремя остановиться... А!..» — Лепикин чертыхнулся, махнул с досады рукою и решительно нажал кнопку звонка.

Открыла дверь теща. Лицо чужое, надменное. Молчит. Лепикин поздоровался и остался на месте. Говорить не хотелось. Хотелось только, чтобы скорее ушла эта чужая, сильно

постаревшая толстая женщина. Всю жизнь, сколько знает ее, он ощущал ее настороженность и недоверие.

Чувство Лепикина передалось. Мать Ольги вспыхнула и быстро, почти бегом, прошла в комнату.

«Они чужие, чужие мне!.. Всегда были чужими...» — мелькнуло у Евгения Фроловича, когда огромная неуклюжая фигура тещи передвигалась по коридору.

Павел Иванович возлежал на подушках. Бледный. Оттого еще более рыжий. Глазами показал сесть. Евгений Фролович нехотя сел в кресло. Враждебность обстановки ощущалась им остро. Казалось, что даже кресло выталкивает из себя, заставляя встать. Видно было, что и Павел Иванович не рад встрече. Он почти все время молчал, старался не смотреть на зятя, а все больше куда-то в пространство перед собой. Лицо было скучным. Однако молчать дальше было Уже неприлично, и он вдруг стал вещать, все так же по давней привычке растягивая слова. Подбородок при этом твердел и словно бы зависал в нижней точке после каждой фразы.

— Ну что же ты намерен делать? — спросил Павел Иванович и, не дав ответить, продолжил: — Я понимаю, понимаю. Время не из легких... Но делать нечего... Я слышал — ты собираешься ехать...

— Да, — сказал Лепикин твердо и с облегчением встал.

Павел Иванович снова смотрел в пространство перед собой, а Евгений Фролович думал: «Плоский он... Плоский... Нет, нет... Он не подлец... Не похож на подлеца... У них так считается... И все...»

Еще по дороге на аэродром Лепикин будто опомнился, отошел немного от внезапно охватившей его защитительной глухоты, когда он как бы не замечал все несчастья, свалившиеся на него за последние дни, отгородился от них, будто страус, спрятавший голову в песок. Он теперь запоздало и с болью думал об Ольге и дочках, о неудачно сложившейся жизни. Но кто же в этом повинен? Не он ли сам, человек, бегущий бесконечно длинный марафон?.. Семья была все эти годы обеспечена более чем прилично. Ольга не работала, воспитывала детей. Дети росли незаметно как-то... Выросли... А он?.. Он вкалывал... Вроде все честно и ладно... Каждый делал свое дело... Но отчего так тошно теперь? Так плохо и неуютно на душе? В чем он, Лепикин, должен откровенно признаться себе? В том ли, что проиграл главную игру с жизнью? Что на перегонях гигантского марафона только сиюминутные истины и смысл конкретно делаемого дела заполняли душу и помыслы? Чего он в конце концов добивался, к какой конечной цели шел? Ни власть, ни должности, как вышло теперь, его не привлекали. Это уж точно... Он не карьерист и не честолюбец... Его увлекали... Он усмехнулся... Запах теплого железа, горячего турбинного масла, пахнущего хлебом, голубое гудящее пламя в котлах, хорошо видимое через затемненный глазок... Рев чарующих турбин... Почему он не ушел от Ольги еще лет десять назад, когда понял, что он, Лепикин, нужен ей как средство длительного удовлетворения завышенных материальных потребностей? Почему?.. Стыдно было себе признаться, но уже тогда при мысли о разводе он ощущал в душе яростное сопротивление. Хотя, имея семью, по сути дела не имел ее... Понимая это, он тем не менее не желал распада семьи, и если не любил, то искренне жалел Ольгу, а дочек любил глубоко, но как-то по-своему, угрюмо и диковато. Как всегда бывает, когда непосредственно в воспитании детей не участвуешь, а получаешь, так сказать, готовый продукт. И что там говорить! С некоторых пор он и вовсе стал думать, что такая у него личная судьба, что от нее никуда не уйти и что семья, данная ему однажды, — для него навеки...

«Но вот Ольга думает иначе... Вполне может быть, виноват и я...» — вдруг с тоской подумал Евгений Фролович, ощутив запоздалое раскаяние. Он дал семье много денег, много разлуки... Почти сплошную разлуку... Много своей усталости и Наверное, мало ласки и теплоты... И вот теперь... Куда он летит и зачем? Ему стало так страшно и тошно на душе, так захотелось остановить экспресс, везущий в аэропорт к самолету, и на попутке примчать домой, что он весь даже подался вперед на сиденье, метнулся внутренне, представил себя дома, в кругу семьи... Но крик, готовый было вырваться из груди, застрял в горле. Евгений Фролович обмяк и в бессилии отвалился на спинку сиденья. Нет... Эта воображаемая возможность мира и счастья в семье в реальной жизни теперь уже не существует. Слишком все далеко зашло...

Он почувствовал, как слезы подступили к глазам, кровь ударила в переносье... Он продолжает бег. Его завели раз и навсегда... Точно так же завели когда-то Олю... Процесс необратим... А впрочем, кто знает?... Может статься, он устроится на новом месте... Где — он не знал еще. И, может быть, Оля раздумает бросать его, а он изменится... В корне изменится...

Несколько успокоившись этим, он погрузился в раздумья о возможном будущем деле. Собственно, он знал, куда едет. В Москве прошвырнется по главкам союзного министерства, предложит свои услуги... Ему не должность нужна, а работа... А коли так — работа будет...

Гул моторов шел накатами. Уши то закладывало, и тогда шум удалялся, глух как бы, превращаясь в шипение, то после очередного глотка слюны лавинно накатывался взрывом, обволакивая, растворяя в себе тело и душу. И лишь обрывки мыслей, образов беспорядочно кувыркалились в черном клокочущем реве.

Лепикину подумалось, что все это очень знакомо.

«Не так ли и в жизни?... Грохот ее вдруг сменяется придушенностью, затишьем. Почти полной потерей слуха... А потом снова...»

Закрыв глаза, он перебирал в памяти старых знакомых, с кем трудился когда-то и кто сейчас уже работает в Москве на руководящих должностях. Первым на ум пришел почему-то Володька Дисфориев, настырный чернявый парень, работавший с ним на Степной ГРЭС старшим прорабом на монтажном участке. Еще тогда у него был сверлящий испытующий взгляд, и было в этом взгляде нечто унижающее, будто он приценивался, на сколько же потянет стоящий перед ним человек. Вид у Дисфорева в ту пору был приклатненный. Он часто в разговоре цвиркал слюной через щербинку в верхних резцах, весь как-то раскачивался телом, поводил по-блатному головой, и казалось, вот-вот даст в зубы. Отзывы о нем как о человеке были неважные, но работал он хватко, план делал справно и потому Лепикину был по душе.

Вдруг его кольнуло: «Вот-вот... Во всем ты так... Пропускал мимо все человеческое... Признавал только работу, успех дела... И вот...»

Потом вдруг Дисфориев куда-то исчез и через десять лет, как снег на голову, явился перед миром директором Грязевской атомной электростанции...

Евгений Фролович удивился тогда. Стал следить за делами новоявленного директора, удивляясь при этом, как это тот стал атомщиком, будучи просто тепломонтажником и по образованию и по опыту. Как произошло это, Евгений Фролович не ведал, но когда пять лет назад случайно узнал, что Владимир Пудович Дисфориев взят на работу в Москву начальником Центротрона, уже не удивился, а с теплым уважительным чувством подумал о нем...

А теперь, в самолете, и вовсе решил, что это предзнаменование какое-то. Судьба, может быть, что именно этот человек первый вспомнился ему. В Центротрон он и пойдет в первую

голову, а там видно будет... Надо только позвонить в Госнадзор Виктору Чиркову, поспрашивать, каким стал Володька. Может, до того задрал нос, что и не подступиться...

С тем Евгений Фролович и уснул под монотонный завывающий гул моторов...

9

Прямо из аэропорта Евгений Фролович позвонил в Госнадзор Чиркову. Что-то располагало к старому товарищу. И почему-то крепко запомнился один давний рассказец Виктора, который неизменно вызывал улыбку и был словно бы паролем... Кроме того, они вместе учились и долгие годы состояли в переписке, которая как-то внезапно оборвалась...

Виктор вспоминался маленьким и плешивым, очень шустрым, увлекающимся человеком. Сейчас он зампред госкомитета. Можно обратиться за помощью и к нему, но чиновничья деятельность не привлекала Евгения Фроловича. Госкомитеты теперь не для него! Хватит! Баста!..

Но все же Виктор был живой и очень деятельный. И какой-то свой. Бывает так. Сделаешь чужого человека вроде своим, а он... Из писем почти ничего не запомнилось. И только этот рассказец его о своем детстве крепко сидел в голове...

«Было мне семь лет, — рассказывал Чирков, — и был у нас огромный сибирский кот. Пушистый такой, важный. Я спрашиваю деда:

— А сколько лет коту?

— Много! Кот постарше тебя, сорванца, будет... — ответил дед.

Удивился я тогда. Как это кот может быть старше человека! Зауважал я кота...»

Вот эту историю и запомнил Лепикин на всю жизнь. И как бы сближающим паролем она стала. Вспомнит о Викторе, и про сибирского кота сразу вспоминает, который, черт-те что! — старше человека...

В трубке голос показался глухим и усталым. Лепикин представился. Голос потеплел, но остался все таким же глухим и спокойным.

— Слышал про твои дела, — сказал Виктор, и Лепикин уловил некоторую настороженность.

«Боится, что попрошусь к нему...» — мелькнуло у Евгения Фроловича, и он поспешил успокоить старого товарища.

— Послушай, Вить, ты хорошо знал Володьку Дисфориева... Работал с ним после меня... Как он?

— Хочешь к нему? — оживился Виктор. — Ну что ж... Человек он сложный. Но мне, как и многим другим, сделал немало добра... Видишь ли, дело в том... Как покажешься ему... Но уж если невзлюбит, лучше сразу уйти... Но ты особенно не бери в голову... Другие, может, скажут другое. Он разный. Словом, человек дела... А так... — И вдруг вкрадчивым голосом спросил: — А ко мне не хочешь?

— Не хочу.

— Понимаю тебя... — Чирков помолчал, — Ну жду в гости. Маша будет очень рада... Своего тезку, Женьку, помнишь?.. Вырос уже! В институте учится. На третьем курсе... А как твой?...

— Ну спасибо! Встретимся — поговорим. — сказал Лепикин, умолчав о семье.

— К Дисфориеву?

— Да.

— Позвонить ему?

— Не надо, — сказал Лепикин. На этот раз голос Виктора показался ему каким-то очень благополучным.

— Ну будь здоров! Жду в гости...

В министерстве, бредя по длинным коридорам, заставленным железными шкафами, пришаркивая ногами по коричневой в светлую шашечку реллиновой дорожке, Евгений Фролович чувствовал свою заброшенность, ущербность, никомуненужность. Потерянно шел, уже неуверенный, что нужно куда-то идти, кого-то о чем-то просить.

Здесь, на огромном расстоянии от семьи, от тех мест, где он напряженно и успешно трудился много лет, где его в конце концов постигла неудача, но где его все же знают и предлагают работу, он теперь испытывал обостренное чувство сиротства. Будто отобрали самое дорогое...

— Пришибли тебя, Лепикин, пришибли... — шептал он сам себе.

Вот уж и впрямь — всю жизнь был орлом, а тут пресмыкающимся стал. Идет, ползет, шаркает по реллину, вдруг опустившийся и постаревший. Как нищий, идет просить работу...

«Почему как нищий? Почему, как нищий?.. — защищался двойник в нем. — Ты еще в силе, Лепикин! Вскинься, воспрянь духом! Ты еще своротишь не одно дело!.. Выше голову!..»

Ему показалось, что среди идущих навстречу мимо промелькнула знакомая фигурка плешивого седого старичка с вдумчивыми немигающими серыми глазами. Евгений Фролович развернулся и побежал назад догонять. Старичок оказался действительно плешивый, с седым венчиком курчавых волос. Но увы! Это был не Боб-Яшка... не Пронин. Но жив ли он? Прошло-то уж времени... А как бы хотелось услышать сейчас его ободряющее: «Держись, браток!»

«Держись, браток... Держись, браток... Держись, браток...» — машинально прошептал Евгений Фролович и печально улыбнулся этому бодрячку в самом себе.

Он-то знал, какова его работа! Какою ценою достигается успех... Полная выкладка! Да-да!.. Выложиться насмерть! Без остатка... Ибо велики издержки его работы. Ибо кпд организационной стороны дела болтается где-то на самых низких значениях. Ибо необходимо помимо выполнения основных задач тянуть еще на своей спине целую кодлу прихлебателей и прочей некомпетентной братии, коей у нас навалом... Вот тут поди, начни снова... Но начинать надо! Надо!..

Лепикин вновь почувствовал пробуждение чего-то живого, упрямого, настырного. Будто он всей грудью уперся в препятствие, принял нагрузку и стал давить. В нем как бы забулькала, закипела устремленность, много лет упрямо толкавшая в самую гущу событий и приводившая к победе...

— Ба-а! Кого я вижу! — услышал вдруг Евгений Фролович звонкий возглас, поднял голову и увидел прямо перед собой среднего роста человека, здорово облысевшего со лба, с одутловатым остроносим лицом. Все было незнакомо в этом человеке. Вот разве только глаза — большие, карие, застенчивые, с влажноватым блеском.

Человек улыбался, обнажив прокуренные щербатые зубы, и поджидал, когда же Лепикин узнает его.

— Мишка?!

— Точно! Он самый! Ха-ха!

Михаил Иванович Ярославцев и Евгений Фролович долго трясли друг другу руки, похлопывали по плечам, выкрикивая возгласы удивления и поражаясь неисповедимости путей господних.

Ярославцев был по-прежнему строен, но успел все же отрастить небольшой животик. Евгений Фролович не удержался и дружески подкузьмил товарища:

— Тузеешь, Мишка?! Ха-ха!

— Тузею мало-помалу, — ответил Ярославцев. — Такова наша чиновничья участь, Жень. А тебя еще можно узнать, но... Ха-ха! И ты с накоплениями! — Он оттянул жировую складку на животе у Евгения Фроловича. И вдруг спохватился: — Сегодня ужинаешь у меня! А пока давай с этого министерского Бродвея в сторонку... Ты, я слышал, где-то на востоке ворочаешь делами?..

— Ворочал... — усмехнулся Лепикин.

— Даже так?.. — посерьезнел Ярославцев, и папираса задрожала в его пальцах. Глаза наполнились искренней тревогой. Он изучающе посмотрел на Лепикина и спросил: — А что такое, Жень?

— Долго рассказывать... Недавно говорил по телефону с Витькой Чирковым. Он зампред тут...

— Да, знаю... Недавно видел его... — отмахнулся Ярославцев. — Ты хотя бы вкратце о себе... Много наворочал за двадцать лет? — И с грустью заметил: — Плешь-то у тебя аж до затылка съехала. Без дела, конечно, не сидел, понимаю...

Ярославцев жадно и с радостью рассматривал товарища.

— Поработать пришлось, — сказал Лепикин не без гордости и вдруг покраснел. «Чего тут хвастать...» — мелькнуло у него, но все же добавил: — Был директором ГРЭС, управляющим трестом, заместителем министра энергетики союзной республики, начальником топливно-транспортного управления Совмина...

Перечисление это хотя и смутило его, но исподволь где-то придало уверенности. Он еще невольно пытался опереться о прошлое, хотя и понимал уже явственно, что дерева своего, пожалуй, и не вырастил.

— Даже так?! — испуганно и сразу посерьезнев спросил Ярославцев и сильно затанулся. Глаза его вдруг поблекли и стали будто отталкиваться от лица Евгения Фроловича.

— Ты не перебивай, слушай дальше, — сказал Лепикин и улыбнулся, заметив отчуждение в лице старого товарища, — теперь-то я без работы... Выгнали, что называется, с треском...

— Даже так?! — Ярославцев снова сильно затанулся и закашлялся. Слезы выступили у него в глазах. Лицо забурело. Кашляя и наклонив голову вниз, он тем не менее не отрываясь смотрел на Лепикина. — Ты, Женька, даешь! Огорошил меня, оглушил... Но ты гвоздь! Я всегда верил в тебя... Но что ты делаешь здесь?.. Куда стопы направил?

— Да вот, в Центротрон хочу пойти, к Дисфориеву... Знаешь такого?

— Господь с тобой! — Ярославцев выставил перед лицом Евгения Фроловича растопыренные ладони. — Господь с тобой, Жень!.. Это... Это... Нет слов... Он любит только себя... Остановись, прошу тебя... Разверни свои стопы в любую другую сторону, но только не туда... Как друг тебе говорю, как товарищ юности!.. Ей-богу!..

Михаил Иванович возбудился, выстопорился как-то. Он смотрел на Евгения Фроловича во все глаза, очень посерьезневшие и ставшие сухими. Швырнув молниеносным движением губ папиросу в угол рта и сделав несколько нервных затяжек, погасил окурок о каблук и бросил его в урну.

— Дерьмо он, понимаешь, Жень... Патентованное дерьмо! Может, он гениальный руководитель там, вундеркинд и прочее, но... Не советую...

— Но, может, ты расскажешь более связно? — спросил Лепикин, ощущая в себе все нарастающее желание деятельности.

— Долго рассказывать, но... пойдём ко мне. Я тут всего-навсего начальник производственного отдела. Кабинетик у меня чахлый, но уединиться можно...

Они вошли в кабинет и сели друг против друга за приставной столик. Помещение давно не ремонтировалось. Пахло бумагой, старой рассохшейся мебелью и пылью.

— Буду предельно краток, Женя, — энергично произнес Ярославцев. — Вначале твой Дисфориев придумал легенду. И широко распустил ее. Это мне доподлинно неизвестно. Но вскоре после его появления здесь я почти сразу услышал ее от нескольких товарищей и предположил, что история придумана...

В тридцать седьмом году его отца репрессировали как «врага народа». Мальчишку с матерью из большого областного города отправляют на поселение... Остракизм. Моральная изоляция. В душу подростка наплевали. Первое ожесточение... Затем — война. Оккупация. Пацана угнали в Германию. Работа на фермах у эсэсовцев. Побег. И не один. Поимка с собаками... Возврат. Работа под землей на шахтах третьего рейха... Романтично, не правда ли?... Снова побег. Потом — разгром фашизма... Лагерь перемещенных лиц. Дисфориев рвется на родину. Наконец — возвращение. Некоторая заминка — отбывает заключение на время разбирательства дел. Освобождение... Естественно, изгой, сын «врага народа»... С трудом устраивается в вечерней школе. Одновременно работает дворником... Как видишь, все продумано до мелочей...

Евгений Фролович задумчиво глядел на Ярославцева. Ловил себя на том, что хотя внимательно слушает, но все равно где-то на втором плане о чем-то думает, возникают и плывут какие-то картины... В последнее время стал замечать, что, даже находясь в гуще дел и событий, в то же время как бы видит себя со стороны. Будто раздвоился он. И наблюдающая часть — равнодушна, всезнающа, спокойна. Ей жить не хочется... А та, которую он наблюдает, — чрезмерно активна, живет полной жизнью. Идет напролом...

«Как слон на буфет...» — подумал он вдруг и усмехнулся.

Потом словно бы осенило Лепкина. Нельзя ведь смотреть только под ноги себе!.. И это неожиданно проявившееся нем свойство невольного взгляда на себя со стороны, как он выглядит в жизни, в деле... Не указующий ли это перст судьбы?..

«Опомнись, Евгений Фролович! Подними голову!»

Как-то незаметно отключился слух. Лепкин теперь отрешенно смотрел на Ярославцева, лицо которого было все таким же подвижным и страстным. Видел беззвучно говорящий рот, но сам уже в воображении очутился на станции метрополитена. Ехал вниз на очень длинном эскалаторе. Навстречу — лица людей... И мысль: увидел человека и разминулсЯ навеки... И вдруг — Оля. Лицо осунувшееся, бледное, но мечтательное. Евгению Фроловичу показалось, что она будто смотрит и не смотрит на него. Улыбка загадочности на лице. Он же смотрит на нее во все глаза и видит, что она это чувствует!.. Но этот странный сияющий взгляд... Ольга медленно проплывает мимо него вверх. Он, сорвавшись с места, боясь потерять ее, быстро побежал по своему эскалатору против движения. И будто обогнал Олю. Но она вдруг исчезла...

Ярославцев встал и начал быстро ходить взад и вперед перед Лепкиным.

И тут на видение движущегося человека стало накладываться другое, воображаемое — прыгающий к баскетбольной корзине молодой загорелый Мишка Яр в голубых атласных трусах. Густые каштановые волосы в прыжке падали на лоб, и он пятерней поправлял их. И себя Евгений Фролович тоже увидел — молодого, в красных спортивных трусах и белой майке...

«Какие мы были молодые и сильные! — подумал он, вяло улыбнувшись, и вздохнул. — Только глядя на ровесников, замечаешь, как постарел сам...»

Но образы не исчезали. Теперь Михаил Иванович одновременно и ходил, и прыгал перед ним в разных временных измерениях. И рассказывал, маяча от стены к стене. И тяжело дышал, носясь и прыгая в баскетбольной игре.

«Но в зале почему-то сухо... — подумал Лепикин. — Острый запах пыли...»

Он отчетливо слышал частый и гулкий стук о пол сильных молодых ног... И горестное ощущение: молодость ушла...

Неожиданно стал думать о детстве Дисфориева. Ярko увидел его.

...Вот он, вернулся... Длинный, тощий... Подметает улицу... Резкий шаркающий звук метлы то по земле, то по старому выщербленному асфальту... Нервно пытается вымести мусор из глубокой ямки. Не удается... Снова острый запах пыли... Лепикин чихнул. Потом еще и еще раз...

«Это здесь пыльно, у Мишки», — подумал он и остро ощутил запах лежалых бумаг.

— Будь здоров! — весело сказал Ярославцев.

Лепикин улыбнулся. Он что-то невнимательно слушает... Дал разыгаться воображению... И вот снова.

..К Володьке подошел высокий грузный мужик в белом парусиновом костюме. Под мышкой — блестящий, желтый, как-то изящно смятый кожаный портфель. Белый картуз держит торжественно на груди, словно ружье в почетном карауле...

«Отец, что ли... — подумал Лепикин. — Но почему у него дырка во лбу?.. Надо бы переспросить... Я многое прослушал... Кажется, кого-то репрессировали...»

Чтобы убедиться, мысленно потрогал дыру пальцем... Кровь...

«Ах да, его же расстреляли... Но почему во лбу? Почему не в затылке?..»

Грузный дядька и тощий длинноногий Володька с метлой в руке пошли вдоль улицы и рассеялись вдаль...

Евгений Фролович вернулся к яви с чувством острой горечи. Будто и впрямь воображаемое происходило в действительности. Вновь услышал возбужденный голос Ярославцева. Резче обычного сказал:

— Ты слишком зол на него...

— Да, я зол!.. Но объективен... Я беру только факты... Кончил он школу. Отыскался какой-то старый папин друг. Влиятельный партийный работник. Помог Дисфориеву устроиться в вуз. После института он попал на Степную ГРЭС. Там вы совместно трудились. Но ты к нему явно не присмотрелся. Признайся, Женя... Потом он исчез. Объявился на Грязевской АЭС начальником тепломонтажного участка. Ничего удивительного. Пообтесавшись на Степной и решив, что перерос сам себя, — двинул дальше... Тут его, собственно дисфориевская, часть легенды кончается. Мы попадаем дальше в область слухов и легенд, созданных людьми, которым повезло общаться с этим, прости меня, ублюдком... Итак — тепломонтажник Дисфориев попал на строительство атомной электростанции. Понятное дело — ни в зуб ногой! Атомная и тепловая станции — как небо и земля. Но не тут-то было! Владимир Пудович рьяно взялся за дело. На монтажный участок поступала проектная документация — чертежи, описания и прочее... Но Дисфориев большой выдумщик. Он захватил сразу все экземпляры описаний АЭС...

— Зачем?! — уже раздраженно спросил Лепикин, но Ярославцева понесло. Он вновь забежал от стены к стене, выплескивая на Евгения Фроловича сотни фактов и доказательств.

— Вызубрил их в одиночку! Вот зачем... На оперативках стал «гонять» своих мастеров по устройству атомной электростанции. Те — ни в зуб ногой. А Владимир Пудович тут расходился, распалялся:

— Дуболомы! Размазня! В гробу я видал таких мастеров!

И так далее... Культивировал в массах свою непостижимую талантливость. Как же! Я — знаю все, а вы — ни уха ни рыла!.. Но при всем при том — хват. План рвет любой ценой. Даже идя на обман... Но массы раскусили сущность «гения» своего начальника. Худой пример заразителен. Очередные описания изъяли уже для себя. Вызубрили и устроили на одной из оперативок коллективный экзамен многомудрому Володе. Получился конфуз. «Гений» тоже ни в зуб ногой... Понял?.. — Ярославцев нервно рассмеялся, показав удлиненные, до глубокой желтизны прокуренные зубы. — И тем не менее, как видишь, начальник Центротрона сегодня не кто иной, как Дисфориев... Так вот... Работает себе, работает Владимир Пудович на монтаже, присматривается...

«У Мишки много нерастраченной энергии... — подумал Лепикин. — Его тут явно «прячут»... Если все будет путем — возьму к себе...»

И тут снова произошел уход в сторону. Мысли Евгения Фроловича смешались. Образы, навязанные Ярославцевым, путали его, не давали сосредоточиться, сложить свое понимание Дисфориева... Да, да! Из фактов, известных ему доподлинно, а не из пересказов... Что-то ведь протестует в нем... Значит, Мишкин Дисфориев не тот... Но тем не менее картины, рисуемые товарищем юности, властно вторгались в него, деформированно преломляясь в сознании...

Евгений Фролович ощутил в груди протестующее чувство. Он устал от рассказа Миши. И от всего... Он устал. Его поташнивало... Опять где-то в тумане смутно обрисовался облик Ольги. Как спасение, как выход из тупика...

«Но почему? Почему? — все вскинулось в нем. — Ведь она сама... Сама в реальной жизни — тупик...»

Он даже напрягся, будто пытаясь опротестовать свои видения, тщаь вызвать образ той, реальной Ольги, которая кричит, мечется в бешенстве, не желает с ним жить... тщетно... Этот образ не являлся Евгению Фроловичу...

Ярославцев все энергичнее вышагивал взад-вперед перед ним, глубоко сунув руки в карманы и будто вымеривая расстояние. Порою Лепикину казалось, что друг здорово увлекся, не замечает собеседника и рассказывает как бы сам себе.

— На очередном заседании государственной пусковой комиссии, — продолжал Ярославцев, — Дисфориев в присутствии курирующего стройку замминистра выступил с резкой критикой директора строящейся АЭС... Мол-де, гад, мерзавец и так далее... Глянул на него высокий начальник и говорит:

— Послушаешь товарища Дисфориева, так поставь его директором — и все сразу пойдет как по маслу...

— А что?! И пойдет!.. — нагло ответил наш бесценный Владимир Пудович. Каково, а?.. И что ты думаешь? Через парочку месяцев появился приказ министра о назначении этого «гения» директором атомной электростанции... Как легко все произошло! Диву даешься! У тебя-то, надеюсь, не так было?..

Лепикин невольно улыбнулся и побледнел, ослепленный яркой внутренней вспышкой, какую представила вся пролетевшая жизнь...

— Так появился всесоюзно известный Дисфориев, — подытожил Ярославцев, — директор Грязевской АЭС... И снова фокус. Наш новый директор ни хрена не бельмесил в атомной технологии. Думаешь, растерялся?.. Ничуть... Окольными путями вызнал, кто у него на станции самый знающий атомщик, и затребовал к себе. Они закрывались в кабинете в течение двух месяцев. Шел усиленный ликбез...

Глаза Евгения Фроловича остро заблестели. Взгляд стал прилипчивым, ощупывающим. Будто неожиданно увидел он в старом товарище нечто новое, чего раньше не замечал. И

только сейчас воспринял Ярославцева как бы всего сразу — сильно постаревшего, дрябловатого, с желтым одутловатым лицом. И гнетущее ощущение страшного полета с горы в пропасть навалилось на него.

«К старости!.. К старости!..» — все как бы закричало, затряслось в Евгении Фроловиче. Глаза потухли, и он опустил голову.

Ярославцев на мгновение будто притих, внимательно вглядываясь в Лепикина, но в следующую секунду голос его снова упруго звенел.

— Этот добрый малый настолько ошалел от оказанного ему внимания, что все знания свои изложил в письменной форме и преподнес в заключение занятий своему благодетелю. Тот принял конспекты как должное... Потом этого добряка Дисфориев сжевал и выплюнул к чертовой матери... И пошло, и поехало!.. Постепенно, выдавив из некоторых спецов необходимые знания, он обновил ближайшее окружение... Но теперь Владимир Пудов уже кое-что знал... И пошла показуха в сторону «верха» и безжалостная давиловка «вниз»... За десять лет эксплуатации Грязевская АЭС была изношена вконец. Ты слышал, наверное, что на первом блоке он сжег активную зону, а второй спалил целиком?.. Но он успел проафишировать себя во всесоюзном масштабе!..

«Кто-кто? Дисфориев? А-а... Знаем-знаем... Знаменитый директор Грязевской АЭС...»

«Зачем я слушаю все это?.. Столь типичное и давно мною пройденное, — с досадой подумал Лепикин. — Взять хотя бы Никандрова... Тоже был... Микродисфориев...»

И все же где-то в глубине души Евгений Фролович ощущал и необходимость этой встречи с Ярославцевым, и его запальчивых филиппик против Дисфориева, и... Неожиданно его воображение заполнил кричащий и гримасничающий Боб-Яшка.

«Он еще устроит тебе штуку!» — грозил Пронин, наступая на Лепикина. Потом вдруг замолк, глубоко и пытливо заглянул в глаза и исчез так же внезапно, как и появился...

— Нет, ты послушай, как он работает с людьми, — вернул его к яви Ярославцев, — перво-наперво, где бы ни был, он выколачивает для своей организации прогрессивку не менее сорока процентов в месяц. В Центротроне тоже. Ни в одном главке нет — у него есть. Но премии у него — средство произвола по отношению к людям. Работа канцелярская. Придраться к чему-либо всегда можно. Он же ввел систему контролек. На все письма, поступающие в Центротрон с предприятий, он ставит «К». «Кака» — так прозвали этот символ сотрудники. Срок исполнения — неделя. Две «каки» — три дня. Три «каки» — ответ через час... Сам знаешь, иные вопросы требуют длительного времени. Бывает, и полугодом не отделаешься... Естественны срывы сроков. Дисфориев режет премию. А главное — подвешивает сотрудника «на крючок». Приказ за приказом... Только перья летят! Общение через деньги. Личный контакт с подчиненными — оскорбление...

«Да стой ты!..» — хотел крикнуть Лепикин, но промолчал.

— Начинает обычно так: «Ты ничего не знаешь! Иди отсюда!..» или «Почему ходишь в клетчатом пиджаке? Тут не цирк...», «Прошу надеть галстук!..» или женщине, очень опытному работнику: «Вы знаете кто? Вы баба с яйцами!..» Та, естественно, пулей из кабинета. Неудобных давит контролками. «Какой» заваливает, пока работник не подаст заявление...

Кучи воображаемого «дерьма» из контролек замаячили перед глазами. Лепикин зажмурился, отгоняя видение. Улыбался чему-то в себе. Может быть, даже неожиданно называемому из глубины души облегчению.

«Да... Дисфориев ловкач... Но он должен дать мне работу... Это главное... А тривиальные приемы формальной власти... Торопится Володька... Тесть мой, Павел Иванович, похитрее был — и тот сгорел... И Дисфориев сгорит... Ну да черт с ним... Надо уходить».

Леикин почувствовал, что Ярославцев явно заторопился, словно что-то учуял, и заспешил выплеснуть последние порции яда.

«Ах, как он не хочет, чтобы я шел в Центротрон!..» И тут Евгений Фролович ясно понял, что Ярославцев всем-всем — и обликом своим, напомнившим вдруг о приближении старости, и злыми речами против Володьки — как бы усилил в нем уверенность: встреча с Дисфориевым необходима.

«Скорей, черт подери! Скорей!..» — решил Леикин.

А Ярославцев захлебывался:

— Я видел, как он перед министром дверь открывал. Это надо было узреть своими глазами! Цирк!.. Он шел в свите, чуть поотстав. Затем вырвался вперед, толкнул министра плечом, чтобы тот заметил, кто выслуживается. Чуть не сшиб его с ног и, открыв дверь, долбанул его министра по лбу. Тот аж зарычал на него... Да-а! Подхалимничает он тоже напористо и воинственно. Ты не хочешь, а Дисфориев подмажет... Народ стал писать на него в партком...

Леикин встал. Широко улыбнулся.

— Ты что? — удивился Ярославцев. — Нет, ты послушай! Набралось толстое досье. Назначили рассмотрение...

— Ну его к черту! — засмеялся Евгений Фролович. Глаза Ярославцева стали скорбными, лицо скучным. — Ты меня убедил в обратном, Миша. Я пойду к нему... Любопытно... Вместе работали...

Они распрощались.

10

Леикин прошел в Центротрон. Во время рассказа Ярославцева в нем постепенно все как бы холодело, сжималось. Под конец даже стало поташнивать. Будто в него медленно вливали яд. Что-то показалось знакомым в нарисованной картине и вызвало какую-то тягучую скуку. Хотелось, заломив руки, бежать прочь. Но бежать было некуда. И тогда в груди стало закипать. Сила сокрушения зарождалась в нем. И в таком состоянии повышенной боевой готовности он мог сделать многое.

Искусственно накачав в себе «давление», Евгений Фролович вошел в продолговатую приемную начальника Центротрона. Стены приемной были облицованы под орех. От деревянных панелей свежо пахло винным запахом лака.

В приемной никого не было. Евгений Фролович потоптался, соображая, что делать, но вдруг дверь кабинета Дисфориева с шумом отворилась и в помещение буквально влетела блондинистая секретарша, вся красная, с вытаращенными серыми глазами, казалось, отвердевшая от напряжения.

— Что случилось? — спросил Леикин, улыбаясь и думая о том, сколь одинаковы они все — секретарши больших начальников. Эдакая нагловатая небрежность, пустой скользящий взгляд, в лучшем случае, покровительственная фамильярность.

Секретарша, донельзя злая, сухо зыркнула на гостя.

— Что-что... С матерком прокатил... Вот что...

— Что значит — с матерком?

— Ма-а-атом, значит! — раздраженно сказала женщина. На вид ей было не более тридцати.

Руки у нее тряслись. Она схватила сигарету и, нервно чиркая зажигалкой, закурила. В глазах с запозданием выступили слезы. Вдруг она погасила сигарету и стала яростно накручивать диск телефона. Слезинки скупое скатились к носу и довольно быстро подсохли на ее пылающем продолговатом лице.

— Василь Василич! Василь Василич! — кричала она резким голосом в капсулу. — Почему вы отключились?! Мне досталось из-за вас! Соединяю! — И грубо в микрофон, не называя имени-отчества: — Возьмите трубку!..

На табло коммутатора вспыхнула красная лампочка.

— Гад! — хрипло сказала женщина, предварительно отпустив кнопку. Но вдруг успокоенно и даже с некоторым удивлением произнесла: — А вообще-то диву даешься на моего начальника... Работает как зверь... За это и прощаю его... И терплю... Мало кто сейчас так работает...

Евгений Фролович резко открыл дверь, за которой оказалась еще одна. Он толкнул и ее и решительно вошел в кабинет начальника Центротрона. Вошел и остановился в удивлении.

Человек, сидевший за огромным дубовым столом, тонированным под красное дерево, совсем не походил на того, довольно шустрого и приклатненного прораба со Степной ГРЭС. То есть на чернявого и сухопарого Володьку Дисфориева. Совершенно седой, довольно плотный мужик с землистым лицом сидел, склонившись к столу. С очень деловым видом читал какую-то бумагу, несколько небрежно водя ручкой вдоль строк, как это делают, когда хотят пробежать по тексту. Вторя движению ручки, дергал, как-то по-индийски пританцовывал головой туда-сюда, напоминая покачивания кобры под тягучую мелодию флейты хозяина. Две длинные седые жирные пряди раскрылись на макушке, обнажив едва прикрытую седым пухом плешь. Начальник Центротрона продолжал водить ручкой вдоль строк той же страницы. В движениях руки да и головы стала проявляться какая-то нервическая убыстренность, но тем не менее вошедшего он не замечал. Евгений Фролович осмотрелся, пользуясь паузой.

Пол во всю площадь был покрыт желтым ворситом, довольно новым, потому что еще не выветрился запах. Стены на две трети по высоте облицованы гранеными, тонированными под красное дерево дубовыми панелями. Массивный, такого же цвета матированный стол заседаний с рядами мягких кресел по бокам, облицованных серым кожзаменителем. Кресла тяжелые и явно неудобные для ежедневных заседаний (лодочка на никелированной трубе-стойке с широким тарельчатым основанием). Но зато солидно. Пусть подчиненные помнят, что тут все тяжело и основательно.

По лицу начальника Центротрона блуждала странная полуулыбка. Все так же водя ручкой вдоль строк и пританцовывая головой и туловищем вправо-влево, он порывисто, с шелестом переворачивал страницы. Иногда дерганным, чуть ли не конвульсивным движением ручки что-то писал на углах, предварительно подпрыгив пером в воздухе над бумагой, словно прицеливаясь. И вдруг неожиданно вскинулся, оторвавшись от стола, обжег Лепикина ненавидящим взглядом желтых, подсвеченных справа из окна тигриных глаз и рявкнул:

— Выйдите вон отсюда! Я вас не звал!

Он очень знакомо, точь-в-точь как там, на Степной, пританцовывал из стороны в сторону головой и туловищем, и казалось, вот-вот цвиркнет слюной через щербинку в верхних резцах, а потом уж наверняка заедет в морду. Сила ярости, горящей в глазах начальника Центротрона, была столь велика, что Лепикину показалось, будто воздух сияющим нимбом обозначился вокруг его головы и легкий ветерок сумасшедшинки завитал в атмосфере кабинета. Евгений Фролович спокойно смотрел на Дисфориева, одновременно и вглядываясь

и изучая, угадывая давние молодые черты в сильно поизносившемся, искореженном жизнью и страстями человеке.

— Я жду! — сказал Дисфориев чуть спокойнее, но с явной угрозой в голосе. И вдруг метнулся, вскинулся из кресла. Привстал, опершись руками о столешницу, замер в согнутом положении, выжидая. — Или, может, мне покинуть свой кабинет?!

Евгений Фролович широко улыбнулся.

— Ну и артист ты, товарищ Дисфориев! Старых друзей не узнаешь... Память коротка? Зазнался?..

Начальник Центротрона вдруг обмяк, расслабился, плюхнулся в кресло. По лицу его, которое неизменно полуулыбалось какой-то странноватой улыбкой, как бы сообщающей облику легко читаемый подтекст: «Мол, знаем вас!.. На мякине не проведете... А вот я вам зубы так вполне могу посчитать...» — теперь забежали тени недоумения. Он вглядывался в Лепикина, который свободно прошел и сел в кресло за приставной столик.

«Если Ярославцев прав, — думал Лепикин, бесцеремонно рассматривая начальника Центротрона, — то у Володьки определенный комплекс... Мсть и мсть — вот его доминирующее чувство... Его надломили... Унижение, ущербность в прошлом не забыты... И он берет реванш...»

Они теперь сидели близко, в упор разглядывая друг друга. Блеклые лучи солнца ушли в сторону. Ярко-желтые глаза Дисфориева, лишившись подсветки, потемнели. Лицо его вдруг стало вытягиваться, потеряв полуулыбочки, усмешки, ужимки и пританцовывания. Стало дряблым. Он на мгновение замер, будто прислушиваясь к чему-то в себе. И в этот миг удовлетворенно крикнул, как если б он проглотил наконец застрявший в горле кусок. Он свободно откинулся в кресле. Лицо его вновь обрело все свои ужимочки и полуулыбки, высветившись бледно-зеленым ядовитым светом. Он глухо, с легкой хрипотцой произнес:

— Евгений Фролович?! Какими судьбами?.. Ты извини... Я тут своих охламонов, понимаешь, гоняю... Не умеют работать... Тебя не узнал...

В этот момент в кабинет вошел стриженный под ежик головастый мужик с черновиком письма.

— Давай! Что у тебя? — нетерпеливо потребовал Дисфориев.

Тот быстро подошел и протянул бумагу. Дисфориев вырвал из его рук лист, бросил перед собой, задрогал над листом головой и ручкой. Но хорошо видно было, что не читает, а только делает вид.

— Ну что у тебя, что у тебя? Говори! — вдруг взвыл Дисфориев, яростно зыркнув на вошедшего. — Долго я тебя учить буду?! Выгоню ведь... К чертовой матери!..

— В чем дело? За что такая немилость? — мягко, с улыбкой спросил вошедший. — Всего-навсего письмо энергомашиностроителям по вопросу выдачи техзаданий...

— Я сколько тебя учил — с рукописным экземпляром ко мне не соваться!

— Так вы ж сами сказали, показать до печати...

— Знаешь что! — рявкнул Дисфориев. — Иди вон отсюда! Понял?! Привет тебе!.. Я сказал — привет тебе!..

— Привет так привет, — улыбаясь сказал головастый мужик, почесал рукой свой ежик и удалился, мягко ступая по ворситу.

— Вот так с ними и мучаюсь... «Сами, видишь ли, сказали...» Никакого чувства этикета, такта... Ну даже если и сказал? Ну и что?.. Мог бы и смолчать... Бескультурие... Этот головастик меня больше всех раздражает... Видал, мыслитель?! Комментирует слова руководителя... Он у меня допляшется...

Видно было, что Дисфориев слегка подзавелся. В глазах блеснули диковатые искорки. Он глядел теперь на Лепикина со злою усмешкой. Чувствовалось, что он борется с собой, сдерживается, чтобы не выплеснуть на Евгения Фроловича нечто непотребное. Руки его все время двигались по столу, перекладывали бумажки, папки, разноцветные полиэтиленовые конверты. И вдруг, предваряя слова, как бы разжался и, слегка откинувшись назад, глуховато спросил:

— Тебе, я слышал, клизму вдули? — И блекло улыбнулся приоткрытым ртом, обнажив зубы.

Лепикин заметил золотые накладки на резцах с внутренней стороны. От всего облика Дисфориева, застывшего на какое-то мгновение, веяло не то чтобы злорадством... Пожалуй что и нет... Но все его ядовитого цвета лицо и вновь вспыхнувшие в лучах солнца желтым цветом радужины глаз излучали плохо скрываемое им чувство удовлетворения:

«Эх, брат! Где был!.. Высоко был!.. И не удержался...»

— Слушай, Владимир Пудович... — сказал Лепикин, ощущая какое-то странное чувство не то апатии, не то усталости. Так бывает, когда в человеке, которого знал смолоду, давно не видел и вдруг встретил, — замечаешь не новизну, не обновление и совершенствование, но почти карикатурное заострение, выпячивание черт, неприятных еще в молодости... — Брось ты это, Дисфориев!.. Я ведь не мальчишка! Чего это ты подначиваешь? — А самому хотелось гаркнуть: «Да сядь ты спокойнее! Не дергайся, не пританцовывай, как кобра перед флейтой!..» — Все, что было, то уплыло, Владим Пудов...

Дисфориев посерьезнел и снова на мгновение замер. Сказал глуховатым, каким-то прихваченным голосом:

— Ну, не скажи, Евгений Фролович... Не все уплыло... Опыт, знания большого руководителя... Это-то, надеюсь, осталось?..

— Снова подначиваешь? — засмеялся Лепикин.

Дисфориев засмеялся в ответ только одним ртом, показав полуплакированные золотом желтые зубы. Глаза же были злые...

Эти наполовину прикрытые золотом зубы, то вспыхивающие в лучах солнца, то вдруг темнеющие глаза, какая-то химическая прозелень на скулах и грязноватые красные пятна на щеках — все эти неприятные, как казалось Лепикину, черты выдавали в начальнике Центротрона человека нездорового, ущемленного давней и непреходящей обидой, всегда воспаленного душой до жесткости, если не сказать — до жестокости, питающего чувство ярости к тем, кто слабее и ниже его, и угодничество к тем, кто сильнее и выше...

Лепикин уже нутром не воспринял его. Пожалел, что пришел сюда, и в то же время не уходил, чувствуя здесь, в этом странном темном кабинете с легким, еще не выветрившимся запахом спиртового лака, в его по всем внешним признакам больном хозяине какую-то открытость, незащищенность, что ли...

Дисфориев уловил, видимо, настроение Лепикина, заволновался, задвигался, затанцевал, забегал глазами, ища, за что бы такое ухватиться, и вдруг буквально впился пальцем в красную кнопку звонка. Давил долго, остервенело, вполголоса поругиваясь. За стеной, в приемной, глухо дребезжал звонок, но никто не откликнулся. Видимо, расстроенная секретарша выскочила поделиться обидой с подружками.

— Странно, почему ко мне никто не идет? — взволнованно, будто извиняясь, но также глухо и ни к кому не обращаясь, спросил Дисфориев.

— А я кто тебе? Пустое место? — засмеялся Лепикин, чувствуя, что уже раздражает начальника Центротрона.

— Чего ты все ржешь?! — вдруг рывкнул Дисфориев, и в глазах его вспыхнула ярость.

— Ну, ты! Покороче... — строго остановил его Лепикин. — Тоже мне, друг детства...

— Я чаю хочу, понимаешь... — вновь примирительно и глухо сказал Дисфориев, притушив в глазах ярость. — Не могу без чаю... Каждые два часа по две чашки... И чтоб сахару по четыре куска в каждой... Мозг требует, понимаешь... — Он вяло, одним ртом улыбнулся, обнажив полуприкрытые золотом зубы.

А звонок все звенел.

Наконец вбежала запыхавшаяся секретарша. Лицо ее было бледно. Глаза широко раскрыты от страха.

Дисфориев любил страх в подчиненных. Ему сразу становилось легче. Он веселел. И сейчас тоже. Даже хрипло засмеялся, откинувшись в кресле.

— Чего испугалась, Надя? Ха-ха-ха! — веселился Дисфориев.

— Нина... — поправила его секретарша.

Дисфориев тут же потух. Так же глухо попросил, опустив глаза к столу:

— Принеси-ка чайку, Надя... И печенье...

Секретарша все еще ошалело стояла, глядя на начальника и соображая, кто же она, Надя или Нина...

— Привет тебе! — рявкнул Дисфориев, и секретаршу мигом вынесло из кабинета.

Дисфориев мотал головой над столом, будто ища что-то, снова показав Лепикину две распавшиеся серые пряди и редкий седой пушок над обширной плешью, приговаривая при этом:

— Недисциплинированный народ, понимаешь...

...Чай они пили молча. Лепикин не любил горячее и потому долго дул и помешивал в стакане, дзенькая ложечкой. Дисфориев же, не поднимая чашку со стола, а только придерживая ее рукой, наклонился к ней и широко открытым ртом шумно, как паровоз, с расстояния втягивал в себя парок, и вместе с парком летели в рот, обжигая язык и губы, сорванные таким образом брызги влаги. Все так же склонившись к столу он допивал чай, только наклонял чашку больше к себе и неудобно и смешно выгибал шею.

«Все у него как-то через левое ухо», — подумал Лепикин, усмехаясь.

Жевал печенье Дисфориев тоже как-то по-животному, теряя выражение мысли и чувства на лице, словно бы уходя в действо...

Крякнув, чем выразил явное удовлетворение от приема пищи, Дисфориев весело посмотрел на Лепикина.

— А не пошел бы ты ко мне работать, экс-премьер-министр? — вдруг спросил Дисфориев и хрипло рассмеялся. — Нет, нет! Я серьезно... Директором атомной станции... Ты меня знаешь, я не трепач...

— Да какой же я атомщик? — засмеялся в свою очередь Лепикин, ощутив внезапную молодую бодрость в груди.

Дисфориев махнул рукой.

— Ты брось это, Евгений Фролов... Сейчас в атомщики все прут. Как на Эльдorado... Ты понимаешь, слово «атом», добавленное в название того или иного предприятия, во-первых, создает известный ореол, во-вторых, что, заметь, немаловажно, — повышает категорию предприятия, а стало быть, зарплату... Понял?... Секрет тут простой: знать ничего не надо — и «атомщик»! Штука!.. Я ведь сам тоже, ты знаешь, монтажник. И как видишь...

— Вижу.

— Есть у атомных физиков понятие — «запас до кризиса». То есть до того самого момента, когда атомная активная зона от перегрева расплавляется. Словом, упаси бог! Так вот. Нам с тобой до кризиса еще далековато. Не так ли? Ну что? По рукам?.. Тут главное, я

тебе скажу, — твой опыт большого организатора. Да инженер ты — башка. Одним словом, соглашайся. Директора я переведу к тебе в замы по капстроительству. А там смотри...

— Я себе зама сам найду, — сказал Лепикин озабоченно. — Мне главное — выучить станцию, а дальше...

— И план выполнять! — добавил Дисфориев и протянул Евгению Фроловичу суховатую квадратную полусогнутую ладонь. — Ты уж будь спокоен, товарищ Лепикин, я за план три шкуры сдеру!

— Не сдерешь...

— План! — почти рявкнул Дисфориев и встал. — Ты ведь с меня драл в свое время, — и снова хрипло захохотал, закашлявшись в конце...

«Володька протянул мне руку... командора... — подумал Лепикин. — Но прав ли Ярославцев в оценке Дисфориева?.. В чем-то, пожалуй, прав... Однако работа есть работа...»

— Провожать не буду, — глухо сказал Дисфориев, — Мне тут еще посмотреть надо... Поднакопилась почта...

11

Воспоминания о Дисфориеве растревожили Лепикина. Оцепенение постепенно отошло и охватило состояние страха и общей потерянности.

Зазвонил телефон. Евгений Фролович, как пружина, соскочил с койки. Словно булыжник загромыхал по полу, схватил трубку. И тут же удивился собственному голосу, будто через фильеру, сняв все оттенки неистовства, гнева и нетерпения.

— Кого вам?

Голос свой, услышанный со стороны, как-то странно удивил. Даже стал успокаивать.

«Вот оно что! Вот оно! — вдруг все закричало в нем. — Расширить круг! Уйти от себя! В мир! В живой крут жизни!..»

— Алё! Алё! — сипло хрипел в трубке пропитой баритон. — Алё! Мань! А Мань!

— Кого вам? — строго переспросил Лепикин.

— Кого... Маню...

— Проспись сначала.

— Уже хахаля завела, да?

— Какой же я тебе хахаль, дурень?

— А кто ж ты?

— Оскар Уайльд.

— У-у-а-а... — замычало в трубке.

Евгений Фролович нажал на рычаг. Резкий спад напряжения явно обозначился в нем.

«Вот ведь дивность какая! — удивлялся он, возвращаясь к койке. — Всего-навсего живой голос человека... И будто...»

— О-о-о-х! — затяжно зевнул он, ощутив вдруг расслабление в мышцах. То ли седуксен наконец подействовал, то ли этот хмельной голос в трубке... Ему уже было все равно. Он плюхнулся в кровать, успев отметить про себя, что вроде в комнате слегка потеплело и что нежилой запах постепенно выветривается.

Он уснул... Но спокойного сна не было. Как это случалось с ним раньше, сразу почти поплыли картины остро отчетливых сновидений. И все о том же. Мозг продолжал и во сне Анализ прожитого. Раз заведенное не могло остановиться. Остро вспыхнувшее еще утром ощущение дисбаланса жизни, словно бы внезапно разрядившаяся в нем ударом молнии

разность потенциалов между возможностями ума, духа и материализованной им же самой реальностью, перевернуло все в нем. И теперь, даже во сне, не прекращалась эта бешеная скачка картин прошлого, ретроспекция видений и оценок, с той лишь разницей, что во сне все это происходило фантастичней и спутанней, хотя порою и явственней, чем в реальной жизни...

...Черная «Волга» несла Евгения Фроловича по раскаленному бетонному шоссе на запад. Накатанная шинами бетонка далеко впереди все более голубела, отражая небо, пока вконец на горизонте не разорвалась на вздрагивающие миражные полосы и не растворилась в лазури...

Потом пошел лес. Он набегал сплошняком. Вековой, дремучий. Наваливался, сходиллся конусом и, казалось, скрещивался над крышей «Волги»...

— Прищемит! Прищемит! — визжал сидевший рядом с Лепикиным начальник отдела Центротрона, весь какой-то шебутной. Он ехал представлять нового директора коллективу атомной электростанции. Сидел беспокойно, дергал задом, словно бы пристраивал его поудобнее, и видно было, порывался сказать что-то Евгению Фроловичу. Лепикин, глядя на него, думал, что Дисфориев подбирает психов под стать себе. Таких же раздерганных и взвинченных. Думал также и о том, что вот и он, Лепикин, влип, поддался на уговоры, дал одурманить себя байками начальника Центротрона и вот едет теперь неведомо куда, на какую-то Дегтярскую АЭС начинать новую жизнь...

И надо же! Название станции... Тоже придумали!.. От города, говорят, Дегтярска. Деготь, видать, из века гнали там, а теперь атомную энергию гнать...

Начальник отдела Центротрона приблизил свое лицо совсем близко к Евгению Фроловичу. Так близко, что вначале как через лупу Лепикину стали видны поблескивающие жиром поры кожи, а потом уж лицо надломилось, вздрогнуло и поплыло в тумане нерезкости. Потом он заговорил тихо, почти шепотом. И дыхание, и запах нездоровый изо рта толчками, в такт речи, касались лица Лепикина. И слова, слова вливались в него, тут же моделируя в мозгу, проецируя на внутреннем экране картины сумбурные, взрывчатые, вгоняющие Евгения Фроловича то в пот, то в холод.

— Тяжелая станция, тяжелая станция... — скороговоркой тараторил начальник отдела Центротрона со странной фамилией Бурдюга. — Восемь уж лет строим, а никак... Никак не раскочегаримся... То начальник стройки был слаб, распустил всех... Сам молодой, а разжирел... Живот — во-о! А рабочие его на три буквы посылают. — У Лепикина почему-то мурашки по спине пробежали, и он вытаращил свои черные глаза на Бурдюгу.

— Как это?

— А вот так и посылают! Иди, мол, на три буквы — и вся любовь. Потеря управления... Наша общая беда... Зато теперь — начальник орел! Усищи — во-о! Рык звериный!.. Народ — он рык любит. Опять же — усы художественные... Медведь, одним словом. Прет напролом. Главный корпус, говорит, я вырву, а там что бог подаст. Генерал!.. Стоит в болотных сапогах с ботфортами под самый пах посреди глиняной жижи и на фоне главного корпуса запечатлевается очень отчетливо... У них там, когда дожди, глиняная жижа затопляет, а когда такая сушь, как сегодня, — форменный «бой в Крыму, все в дыму...». Пылища! На зубах хрумкает. И соответственно все остальное... — Бурдюга отвалился от Евгения Фроловича, и вместе с ним удалились запах изо рта и толчки дыхания в лицо. Весь он стал резко виден — сухонькое, печеночного цвета лицо, испещренное толщиной с волос морщинками, рассыпающиеся темные волосы с сильной проседью. И где-то тщательно спрятанная во всех тонюсеньких морщинках лица и глубоко сидящих, серых, маленьких, с легким дымком глазках еле уловимая улыбочка. Он отпрянул будто только для того, чтобы

получше разглядеть Евгения Фроловича, прочувствовать, во что это такое вляпался этот огромный детина, «экс-премьер», как про себя уже с легкой руки Дисфориева называл Лепикина Бурдюга. И в следующее мгновение снова приблизился к нему и затараторил скороговоркой:

— Да-да!.. Жрать неча и жить негде, Евгений Фролович... Центр России... В дедовские времена жили по-черному... Барство да крепостничество — оно развратило народ... Землица-то богатая, леса округ... Грибов! Ягод! Подножный корм справный...

Евгений Фролович диковато поглядывал на Бурдюгу. А тот вдруг рубанул:

— Поселок надо строить! Поселок! Вот главное! Без людей ничего не будет!.. Люди — вот за-ради чего муку примаем... Да за Расею-матушку... — Видно было, что Бурдюга намеренно коверкает речь под народную. «Или тут своеобразный сарказм, насмешка..» — подумал Лепикин. — станция тяжелая! Тяжелая станция!.. И бездарная, я вам скажу. Проектировал ее один турботехнический институт. Есть у них там некий деятель Болтис. Безответственный считаю, тип... Сам специалист по земляным плотинам, а схватился за атомную станцию... Старый начальник Центротрона, что называется, прозевал проект... А уж Владимир Пудович, думаю, забил бы гвоздь — о-го-го!.. А впрочем, кто его знает... Все они хороши забивать задним числом... Блоки-то реакторные этот Болтис развернул друг к дружке. Барбатер локализации предельной аварии запихал под атомный реактор... А он, этот барбатер, как хорошая емкость, да еще колоссального объема. Туда товарищ Болтис запроектировал и эксплуатационные сбросы пара кидать... Один знакомый атомщик мне сказал, что гремучая смесь, которая от радиолиза воды в активной зоне происходит, однажды может так бабахнуть в этом барбатере, аж... С эквивалентом три тысячи тонн тринитротолуола... Вот тут будет дело!..

Сон начал сбиваться. Стволы сосен полетели на них стремительней, схлестывались над головой. Послышался треск и скрежет ломаемых стволов... Потом тьма... Разрыв...

Евгений Фролович заворочался на койке, а лежал он лицом вниз, замычал, пытаясь развернуть уткнувшуюся в подушку голову... И тут испугался во сне. Душа его заметалась, завертелась волчком... Побежала... Нет! Уже он сам, Лепикин, отчетливо видит себя со стороны, как он бежит по длинному черному коридору, бесконечному коридору... Слышит голоса давно умерших близких и знакомых... Он не может понять, отчего все это, почему вдруг ожили мертвые? Почему они так живо и заинтересованно заговаривают с ним? Он бежит все стремительней... Коридор, темная пропасть пространства впереди... Он бежит, а душа в нем мечется неистово, все в нем мельтешит, соображает: «В чем дело? Почему ожили мертвые? Что им от меня надо?»

Он уже не бежит — летит, все наращивая скорость, не чувствуя опоры под ногами... Рядом с ним вдруг оказывается Боб-Яшка. Старик торопится, в страшном волнении, пытливо зыркает. Кричит:

— Держись, браток! Это не страшно... Я уже там...

Тревога все нарастает, нарастает... И вдруг все сразу будто осеклось в нем и явилась догадка... Да... Все ясно... Это смерть... В это мгновение он вдруг врезался со всего маху в какую-то неожиданно возникшую перед ним преграду спокойно подытожил: «Нет, еще рано. К смерти меня пока не пускают...»

Наконец спящему Лепикину все же удалось повернуть голову на подушке. Он глубоко и сладко, с каким-то избавлением, вздохнул и вновь окунулся в череду событий быстро бегущего сновидения...

Город и впрямь был окутан белой мелкодисперсной пылью, издавела напоминающей дым.
«Бой в Крыму, все в дыму...» — повторил про себя Лепикин и приказал водителю:
— На главный корпус!

Блестящая черная «Волга» Центротрона, окунувшись в пылевое облако, сразу стала пепельно-серой. Они медленно тащились за «БелАЗом», перекрывшим собою дорогу и жестко вскидывавшим кургузый задок на колдобинах. Водитель «Волги» нервничал, сигналил, порывался на обгон, но широкий зад самосвала крупным планом спокойно колыхался перед ними, то и дело всхрапывая и сплевывая на «Волгу» густые, черные и вонючие клубы отработанных газов.

— Ладно, не егози, — попросил Лепикин, тронув водителя за плечо и с удивлением отметив, что Бурдюга куда-то исчез. Но сон есть сон, и Евгений Фролович не придавал этому факту особого значения, подумав, что он где-нибудь здесь, ибо кто же тогда представит нового директора коллективу?..

Главный корпус строящегося атомного блока показався, когда они свернули из-за холма в ложину. В километре перед ними, на взгорье, из-под разной высоты рукотворных бугров и отвалов грунта вздымался метров на пятнадцать вверх реакторный блок АЭС... Собирали его из облицованных белой «ириской» армопанелей, или, как их здесь называли, — «чемоданов», пристыковывая как кубики друг к дружке на сварке и замоноличивая бетоном.

Стены главного корпуса, исчерченные продольно-поперечными полосами швов, ослепительно сияли на солнце, мозаично посверкивая «ириской» и контрастно подчеркивая всю грязноту и неорганизованность гигантского свинорога вокруг. Чуть в стороне, метров на тридцать вверх, торчал пенек строящейся вентиляционной трубы с напозшей на его верхушку скользящей опалубкой. Сиротливо как-то на фоне знойно-голубого неба торчали шесть «осей» (пролетов) остова машзала, только в одном месте стыдливо прикрытого стеновьем...

Евгений Фролович тут же сосчитал количество строительных кранов. Их было шесть.

«Механизация не ахти... У меня на Степной ГРЭС было двадцать... Зато и вырвал блок за год...»

Возмущение нарастало в Лепикине. Все краны, за исключением одного, стояли.

«Безобразия!..»

Снаружи, на объектах стройки, людей особенно не видать. Изредка только тут и там мелькнет человечешко...

«Не шибко, не шибко!..»

В округе главного корпуса редковато и чахло торчали из котлованов сиротливые, незаконченные остовы вспомогательных сооружений АЭС, обвалованных беспорядочно вынутым грунтом. Работа там тоже не кипела...

— Вот так и живем, Евгений Фролович! — рявкнул вдруг невесть откуда взявшийся усатый богатырь. — Будем знакомы! — Усач протянул Лепикину руку. — Илья Ильич Трескун, начальник дегтярской стройки. Должен тебе сказать, Евгений Фролович, что я уже тут пережил двух директоров. Думаю, и тебя переживу... Я из долгожителей, знаешь... Со мною надо дружить...

«Ну и чудеса! — усмехнулся Лепикин. — Но... Во сне как во сне...»

— Ты вот лучше скажи, Илья Ильич, почему у тебя краны стоят да людей не видно? Что, все ушли на фронт?.. Смотри, а то так твое долгожительство здесь может в один прекрасный

момент трагически оборваться... Учти, за выполнение плана капитального строительства отвечаю я, и тут уж спуска тебе не будет. Будь спок!..

— Но-но-но!.. — зарычал Илья Ильич, и его буденновские усы встопорщились. — Но-но!..

А потом снова... «Как во сне все неожиданно и гладко улаживается!..» — не переставал изумляться Лепикин, услышав ухающий смех Трескуна и его доброжелательные возгласы.

— Ну и злякався я, Евгений Фролович! Бай дуже!.. Ось давай, я тобі покажу наш лягушатник, то есть барбатер локализации предельной аварии, который я штурмовал полтора года. «Гениальное» творение товарища Болтиса. Слыхал о таком? Сейчас он уже не творит. Переставили на другую работу. Наблюдать со стороны... Ха-ха-ха! И денег больше, и никакой ответственности. Вот так! А парадокс есть!.. Болтис смылся, а мы строим... На критическом пути строительства оказалось сооружение, которое, может, сработает, а может, и нет за тридцать лет эксплуатации станции... Не-э-эт! Я не согласен! Согрешит молодец, так с него ж потом алименты берут... А тут согрешил — и никаких тебе алиментов! расплачивайся государство! Оно ведь богатенькое... Несправедливо это!..

— Ты лучше скажи, где люди? Почему не видно работающих? — не унимался Лепикин.

— Люди, люди... Заладил... Людей у меня двенадцать тысяч... Да не все сразу, дорогой директор... А то так и лопнуть можно... Вот поехали на оперативку по механизации... Посмотришь... А ну-ка, приятель, дуй к штабу стройки, — обратился Трескун к водителю.

Машина круто развернулась и понеслась к штабу строительства, который располагался неподалеку в трех состыкованных пэдэушках. Рябое лицо Трескуна с торчащими по-кошачьи усами сияло победоносной улыбкой.

«Рубака!..» — усмехнулся Лепикин.

В штабе никого не было. Лицо Трескуна вытянулось и побледнело.

— Вот так всегда! Начальник стройки прибыл, а в штабе ни одного прораба... А уже без одной минуты... Кабак!

Трескуну было неудобно перед новым директором, и он не переставая шумел, заполняя комнату энергичными словосочетаниями в адрес недисциплинированных прорабов и начальников участков. Потом вдруг рванулся в комнату диспетчера стройки, что была за перегородкой.

— А ну-ка, голубчик, Ахмет-Паша, отыщи-ка мне энергомеханизацию, товарища Иванова...

— Иванов на месте, — послышался за спиной Трескуна глухой голос.

— Ага-а! Голубчик! На месте?! Начальник стройки ждет, а начальник участка прогуливается...

— Еще без десяти секунд... У меня часы точнейшие, — вяло отбивался Иванов, не улыбаясь при этом и не дрогнув ни единым мускулом лица, давно уже привыкшего к «мордобоям» на оперативках.

— Видал, деятель?! — взревел Трескун. — Евгений Фролович, ты только посмотри, какая точность! Без трех секунд он прибыл... Да у тебя пять кранов из шести уже две смены стоят как скелеты в анатомическом театре! Монтаж армопанелей заглох, а он секунды считает себе в оправдание...

«Тренированное» лицо Иванова не шелохнулось ни одним мускулом. Было только видно, что он порывался что-то сказать. Глаза все дергались, дергались, контрастно бледно-голубые и очень выразительные в это мгновение на неподвижном лице.

— Почему стоят краны, я тебя спрашиваю?!

— Так дайте же сказать, — вымолвил наконец Иванов.

Трескун навис над ним коршуном и в нетерпении замолк.

— Работаем мы на кранах... — глухо сказал Иванов без тени тревоги в голосе.

— Где же ты работаешь, если даже новый человек, новый директор, в нашем с тобой болоте сразу заметил форменный застой.

«На то оно и болото...» — с грустью подумал Евгений Фролович.

Иванов фотографирующе зыркнул на Лепикина, который, опустив голову, прохаживался, поскрипывая половицами, вдоль квадратных столов, установленных елочкой.

— Что молчишь? Где бригады? Почему один явился на оперативку? Когда сделаешь краны?

— Сделаю... Через... К ночной смене...

— Я тебе дам — к ночной смене! — взметнулся Трескун, — Ты что? Свободный художник?... Тут у нас социалистическое предприятие, а не реставрационная мастерская по восстановлению антикварных ценностей... — И вдруг Трескун сбавил голос до нормального и по-доброму спросил, почти попросил: — К шести вечера сделаешь?

— Сделаю! — не задумываясь ответил Иванов. — Сделаю!.. Можете в протокол записать...

— С него станется... Может и сделать... — обратился Трескун к Евгению Фроловичу, а Иванов тем временем чинно и тихо уселся на свое место за стол заседаний и аккуратно разложил перед собой бумажки. — Таких артистов у меня трое, Евгений Фролович: Иванов, Петров, Сидоров.... Как в том анекдоте, ей-бо! Петров, тот ведет монтаж строительных конструкций, а Сидоров — тепломонтажник... Есть еще электрики, но они пока в зачаточном состоянии. Их время впереди... А вот эти друзья меня убивают...

Лепикин слушал, продолжая прохаживаться взад и вперед вдоль столов, а сам все думал: куда же это подевался Бурдюга? Кто же его, Лепикина, представит коллективу?... Потом вдруг вспомнил, что все это с ним происходит во сне и что Бурдюга как исчез внезапно, так же внезапно может и появиться...

Помещение штаба стало заполняться людьми, шумными, загорелыми, обветренными. Они с грохотом рассаживались за столы и сбоку, где были в несколько рядов выставлены стулья. Сплошной говор висел в воздухе...

Потом вдруг через какой-то провал в сновидении явилась вновь та же комната штаба, но люди уже сидели тихо, а Трескун, стоя в артистической позе, толкал речь.

— Мы, товарищи, угрохали уйму сил, чтобы сколотить порядочный коллектив строителей и монтажников. Но каков же результат? Извините меня за резкость и неприятное щекотание вашего слуха. Толчемся в ступе! Вот результат!.. Перемалываем муку, так сказать, вместо резкого повышения производительности труда и возведения крайне необходимого стране ядерного энергоблока...

— А кто виноват?! — бабьим голосом выкрикнул мужик, сидевший за первым изгибом стола-елочки. Лицо у него тоже было бабье и легко собиралось мягкими женскими складками при поворотах и движениях головы.

— Полюбуйтесь, Евгений Фролович, — это второй мой орел, или как их там в Древнем Риме называли при императорах — центурионы?

— Легионеры! — вяло выкрикнул Иванов, но на него зашикали.

— Сиди уж, легионер!..

— Преторианские гвардейцы! — вскочил в заднем ряду и выкрикнул молодой горбоносый парнишка с курчавым цыганским чубом на высоком лбу. Сказал и буквально распорол рот в жизнерадостной белозубой улыбке. И зубы его, крепкие и молодые, так задиристо сверкнули, и всем стало радостно.

— Вот-вот, — подхватил Трескун, — преторианские гвардейцы...

— А почему же стеновьё на каркас машзала не навешиваете, гвардия? — спросил Лепикин.

— Да какое ж тут стеновьё?! — вскочил и завопил бабьим голосом Петров. — Какое ж тут стеновьё, товарищи?! Как нам поставляет промгидустрия сборный железобетон? А?.. Спрашиваешь — отвечаю! Когда надо делать фундамент, нам поставляют фермы перекрытия, когда нужна ферма, нам дают фундамент... Так я говорю?! Так!.. А потом мы ходим с Ильей Ильичом по стройке, глядим на табуны празднующихся работников или сидящих на ригелях и балках и спрашиваем:

— Да что же вы сидите?! Почему не работаете?!

А они только объясняют да пошучивают со спокойной совестью. Нас, говорят, не обеспечили, нам, говорят, не подали... И так далее... Конечно, товарищи, за дисциплину я не говорю. Она у нас в явной хромоте. Подымать надо... Но я же, Илья Ильич, нарастил участок до тысячи человек! Платить же деньги надо людям! Или перебазировать на другие стройки...

— Я те дам — на другие стройки! — грозно рявкнул Трескун.

— А я ведь снова с формой «два» приду завтра, Илья Ильич! И придется вам решать парадокс Эйнштейна — работы нет, а деньги плати...

Все смущенно захохотали.

— И не стыдно, товарищи? — с укором спросил Трескун.

— Стыдно! — грохнули все разом в ответ. — Так надо ж организовать все как следует!..

— Организовать вам никто не мешает, товарищи! А деньги вам будет платить директор, а не я... Вот, знакомьтесь! Прошу любить и жаловать — Евгений Фролович Лепикин!

— Деньги платить не буду! — упрямо набычив голову и побледнев лысиной, сказал Лепикин.

И тут снова произошел провал в сновидении. Замельтешили на большой скорости какие-то кадры, и наконец пленка остановилась на заседании государственной пусковой комиссии (ГПК), которое происходило в кабинете Трескуна, в здании управления строительства. Заседание шло без перерыва уже пятый час подряд. На нем собралось все руководство строительством АЭС, а также областное партийное и советское начальство. На заседании ГПК присутствовал также куратор Дегтярского атомного строительства от министерства-подрядчика — Бурков Михаил Валерьевич, заместитель министра по кадрам. Почему именно его, человека далекого от атомных дел, поставили курировать дегтярскую стройку, никто не знал, но все его появление в здешних местах приняли как должное, ибо начальство вроде бы как от бога. Из первых букв фамилии, имени и отчества образовали партийную кличку, и получилось очень просто и звучно — БМВ...

БМВ сидел сбоку стола заседаний по правую руку от Трескуна, который восседал с торца, и все эти часы вел заседание. В помещении было жарко и душно. Воздух загустел, хоть топор вешай. И когда все уже измучились до предела возможности и кто-то выкрикнул: «Может, прервемся?!» — БМВ взял слово.

Попав на работу в министерство с должности заведующего сектором ЦК партии (уволители по возрасту), БМВ не успел еще растряссти былую важность и безапелляционность суждений, говорил вещающим тоном, который не оставлял никаких сомнений в правомочности сказанного, являя собой как бы истину в последней инстанции. Говорил он дискантом. В голосе его проскакивали порою детски наивные нотки удивления услышанным. Он возвышал при этом голос почти до писка и багровел лицом, упитанным и до матовости выбритым. Пиджак никогда не застегивал. Туго вздувший сорочку, но в целом аккуратный животик прямым углом выпирал над поясом с красной стильной пряжкой. Высоко вскинутые пики густых бровей с седыми щеточками на концах да короткий нос, быстро сужающийся от широкого переносья к кончику, придавали его лицу какую-то заволаживающую устремленность. Водянистые, с сухим блеском глаза смотрели в

пространство перед собой, и впечатление от в общем-то гармоничного облика БМВ было бы законченным, если бы не уползающий вправо говорящий рот, неприятно нарушающий симметрию. Он говорил, с ходу же и солидно сдобрив свой голос высокими нотками удивления.

— Товарищи! Я вот слушал, слушал... И простите мне мою атомную необразованность, тут у вас по этой части достаточно грамотеев... Я обнажаю как бы все сказанное здесь... Надо сказать, очень вычурно и путано сказанное, ибо я профан, дурак в атомном деле, но, извините меня, тут и дураку, то есть мне, стало ясно, как вы ни маскировали это, что атомный блок в этом году вы не пустите... А?... Или пустите?..

Сидящие смущенно заулыбались, завертели головами, вглядываясь в друг дружку.

«Мол, как другие... Я-то что...»

— Нет, я серьезно? — снова до потолка вскинул дискантом БМВ. — Научите профана... А?... Молчите?... — Голос заместителя министра отвердел и приобрел металл. — Да! Вы молчите. Это я вижу. Тут и ежу, не то что мне, дураку, понятно, что блок вы проваливаете... И вот в связи с этим мне совершенно непонятно поведение этого молодого начальника. — Он кивком указал на чернявого, загорелого до черноты и обветренного парня. — Да-да! Я на вас смотрю. Встаньте! Я ведь стою... — Парень нехотя, будто преодолевая чье-то сопротивление, встал. — Вот вы, — продолжал БМВ, — начальник участка гидромонтажа... Ну я понимаю, что все эти деятели, — БМВ широким жестом обвел присутствующих, — не могут сделать в срок свое дело, потому что тут атомная специфика... Но у вас?! У вас же гидротехника! Древнее человеческое ремесло! Уж тут-то паши и паши, что называется... Показывай геройство... А вы, молодой человек? Сорок процентов плана... В чем дело?!

— Да я... — парень мял в руках берет, обводил всех глазами, словно бы ища поддержки. Потом вдруг низко наклонился к сидящему рядом и стал с ним яростно переругиваться шепотком. Шепоток этот четко накладывался на тишину. Кое-где слышались возмущенные вполголоса одергивания, кто-то захихикал... Наконец БМВ не вытерпел и ехидно спросил:

— Может быть, посоветуемся вслух и со всеми?

— Можно и вслух! — пробасил парень, и лицо его стало решительным и даже несколько нагловатым. — Можно и вслух... Мы уж здесь советовались, Михаил Валерьевич, и с вами и без вас не единожды... Людей не хватает — раз! А почему не хватает? Во-первых, жилья мне на участок на сто пятьдесят человек товарищ Трескун за три года десять квартир дал... Это раз!.. А два — так людей у меня сейчас осталось сорок человек. То есть третья часть... А плана мы делаем чуть ли не в половину в пересчете на стопроцентную численность... Дела на главном корпусе — сами видите... Вот мой трест и маневрирует людьми... Людей нынче везде нехватка...

— Видали, какой грамотей! — сказал БМВ, обводя всех невинными глазами. — Все объясняет... — И вдруг взлетел до визга: — Все объясняем, не работаем! Работать надо! И все, все на это должно быть нацелено! Сигналил, говоришь, советовался?! Плохо сигналил! Плохо советовался!.. Подстраиваетесь, голубчик, под обстоятельства! А надо делать, делать план!.. План — это советский закон!.. — В углах рта у БМВ выступили белые полоски слюны. — А вы объясняете... Я считаю, товарищи, что начальника гидротехнического участка надо снять с работы без права занятия руководящей должности! Нам такие руководители, которые не выполняют план, а только все объясняют, — не нужны!..

БМВ, возбужденный, весь в красных пятнах, сел. Он что-то еще невнятно бормотал по инерции, но из всей его бормотни можно было различить только слово «понимаешь», да и то с трудом.

Разгромленный начальник гидротехнического участка сидел, нисколько не смутившись, только криво ухмылялся, и во всем облике его высвечивало: «Эх, вы! А еще лезете управлять!.. Деятели! А реального положения дел не знаете... Подергушки вы, а не управленцы... Как жареный петух в задницу клюнет, так они и тут... А где же вы раньше-то были? И за какие нитки дергали?!»

— Михаил Валерьевич! — сказал Трескун, нарушив повисшую вдруг неловкую тишину и хитро поглядывая на Евгения Фроловича, — Мне хотелось бы... да и не только мне — с вашей помощью решить один вопрос, очень для нас важный... Я не боюсь говорить об этом при всех собравшихся... Дело дальше не терпит... У нас, Михаил Валерьевич, с директором никак контакт не налаживается...

— Ты что это, Евгений Фролович? — спросил БМВ удивленно, еще выше вскинув седые щеточки бровей. — У нас вся надежда, что ты, опытный руководитель, поднимешь тут дело... А ты... Что случилось?

Трескун снова эдак хитро и дипломатично глянул на директора и с ходу для зондажа предложил компромисс.

— Я думаю, Михаил Валерьевич, мы с ним уладим...

— Нет! Не уладим! — сверкнув на Трескуна черными глазами, глухо, но твердо отрубил Лепикин.

Трескун взвился и грохнул кулаком по столу. Рябинки на его побледневшем лице стали видны отчетливей. Сидевшие недоуменно переглянулись: мол, что себе позволяет Илья Ильич при заместителе министра... БМВ же, опустив глаза к столу, пробурчал:

— Ты держи себя в норме, товарищ Трескун... Тут тебе не трактор... Что у тебя?

Илья Ильич резко сбавил и перешел на совещательный тон.

— Мы, Михаил Валерьевич, и сами, и с вашей помощью, в конце концов, с помощью Центрального Комитета и Совмина наращивали коллектив строителей и монтажников, создавали, так сказать, резерв главного командования, чтобы развернуть его в нужное время... — И, сделав многозначительную паузу, добавил: — А вот уважаемый директор деньги не платит... Да!.. Не подписывает форму «два», и вся недолга...

БМВ грозно посмотрел на Лепикина и, сверля его глазами, ждал ответа. Евгений Фролович, чуть насмешливо глядя на заместителя министра, спокойно сказал:

— Тут товарищ Трескун меня на испуг берет, Михаил Валерьевич... Да и вас напугать хочет... А страх ведь не в том, что я не плачу деньги, а в том, что он хочет их получить за невыполненные работы... Вот в чем фокус...

Теперь БМВ перевел грозный взгляд на Илью Ильича.

— Но ларчик открывается просто, — продолжал Лепикин, — армия рабочих наращена, а фронта работ нет... Вот...

С места в один голос сразу выкрикнули трое: Иванов, Петров, Сидоров:

— Михаил Валерий! Так мы ж!..

— По одному, по одному! — попросил Трескун, подмигивая Петрову, мол, поддай огоньку...

— Михаил Валерич! — вскочил с места начальник участка строительных монтажников. — Так мы ж секрета из этого никакого не делаем! Товарищ директор думает, что он тут умнее всех. Пусть не ошибается. Мы прямо говорим — люди есть, как и требовали от нас, но фронта работ для всех нет. Выход в такой ситуёвине один: или плати временно незанятым по среднему, или... Я откомандировываю людей... А я тут не один... То же самое доложат Иванов и Сидоров... Да и все другие, у кого такая же история... — Сильно возбужденный, Петров с размаху плюхнулся на место, даже икнув от неожиданности. Вокруг зашумели.

— Так!.. Так это все, Михаил Валерьевич!.. Народ не виноват!.. Или откомандировывать, или платить!..

Постепенно шум смолк. И в это время Лепикин почувствовал, что кто-то тычет ему пальцем в бок. Услышал знакомый голос:

— Плати, плати, Евгений Фролович! Дисфориев не одобрит...

Лепикин обернулся и увидел Бурдюгу.

— Ты куда провалился?! — напустился Евгений Фролович на представителя Центротрона.

— Когда представлять будешь?.. — И вдруг вспомнил: «Сон! Сон же!.. Как же это?..»

Бурдюга смеялся.

— Я ж тебя уже представил, Евгений Фролович... — И пальцем, и пальцем прямо перед носом Лепикина. — Э-э-э! Ну и хитер ты! — И снова строго: — Плати, плати, Евгений Фролович!.. Дисфориев не одобрит...

— Платить не буду! — заревел Лепикин, наступая на Бурдюгу.

Снова все спуталось в его сознании. Перед глазами поплыли лица... Иванов, Петров, Сидоров, Трескун, Бурдюга, машущий перед его носом указательным пальцем, БМВ, толкающий речь:

— Ты подумай крепко, Евгений Фролович... Игра стоит свеч... Дело все-таки нешуточное... Люди...

И наконец Дисфориев, пританцовывающий перед ним вправо, влево, с ужимочками и нагловатой полуулыбкой. Глаза, подсвеченные солнцем, поблескивают.

— Плати, а то схлопочешь! — угрожающе прошипел Дисфориев и рассеялся туманом...

Лепикин бежал прочь от всех этих назойливых видений к яви, продираясь сквозь неотвязчивые картины сновидения. Но сон-то был о яви... А явь...

13

Евгений Фролович заворочался в кровати, еще в полусне, но уже соображая, что проснулся. В комнате было темновато. На улице смеркалось. За окном шумел дождь.

«Вот и день пролетел... И вся жизнь...» — вяло подумал Лепикин, окончательно просыпаясь и находясь под впечатлением неприятного чувства, вызванного сновидением. И вправду странный сон...

Будто оправдания искал Лепикин в этой деформированной, сумбурной картине сна. Беспокоило, конечно. И беспокоит его все это... А куда деваться? Деньги-то и впрямь не заплатил... И странно все как-то повторилось... Тот же конфликт... Полтора десятка лет прошло со времени его первого директорства... И тогда была форма «два»... И тогда он не платил... Правда, там было несколько другое... Он не знал... А здесь халтура... Вот так-то оно выходит... Все формы «два» подписал Дисфориев, а его, Лепикина, предупредил, чтобы работал гибче...

Евгений Фролович взъярился. Тут же сел в «Волгу» и помчал в Москву к Дисфориеву, чтобы серьезно поговорить. Была суббота. В главке, кроме Дисфориева, похоже, никого не было. Но когда Лепикин вошел в приемную, понял, что у начальника Центротрона кто-то есть. Дверь в кабинет была слегка приоткрыта.

— Вы и до войны так говорили! — почти кричал Дисфориев. — Россия! Безопасность! Враг не пройдет! А что вышло?! Куда враг дошел?! Аж до самой Москвы! До Волги!.. Нет! Я вас не беру!..

— Всего доброго, — услышал Лепикин глухой мужской голос. Вслед за тем дверь открылась, и в приемную из кабинета вышел среднего роста полковник. Лицо было смущенное. Он вежливо поздоровался с Лепикиным и, тут же попрощавшись, ушел.

Евгений Фролович вошел в кабинет. Дисфориев сидел, откинувшись в кресле и как-то непривычно мягко, по-доброму смотрел на Лепикина.

— Ты? — спросил он усталым, чуть с хрипотцой голосом. Лицо у него было бледно-серое, и выглядел он болезненней обычного.

— Я... Прости, что без вызова...

— Молодец, что приехал, — сказал Дисфориев. — Ты вот посиди немного, а я сейчас чайку сготовлю. — Он встал прыгающей походкой прошел в приемную, взял электрический чайник, звякнув металлической крышкой. Потом было слышно журчание воды из крана.

Дисфориев вернулся, поставил чайник на подоконник и, выдернув шнур настольной лампы, воткнул вилку в розетку.

— Ну вот, — сказал он все так же тихо, — попьем чайку...

— У тебя утомленный вид, — сказал Лепикин.

— Устанешь тут с вами, — дружелюбно сказал Дисфориев, — плохо работаете, вот я и вкалываю за вас... Без выходных. И каждый день с восьми утра и до одиннадцати вечера...

— Ты как Сталин, — сказал Лепикин.

— Да! — выкрикнул Дисфориев и вынул из кармана партбилет, на кожаной суперобложке которого был выдавлен в полупрофиль портрет товарища Сталина. — Он был настоящий коммунист, а мы с тобой ненастоящие... — Дисфориев снова как-то сник и спрятал партбилет в нагрудный карман. — Ты вот почему не выплачиваешь деньги рабочим? Не понимаешь, кто в нашем государстве главный?..

— Понимаю, — сказал Лепикин, внимательно рассматривая Владимира Пудовича, который в это время опустил глаза и задумчиво рассматривал свои руки. — Понимаю, Володя... Но не должны ведь мы развращать людей, выплачивая деньги за неисполненную работу?..

— Формально — не должны, а по существу — должны... Не они плохо работают, мы с тобой плохо работаем... — устало сказал Дисфориев. — Но ты меня удивляешь, Женя... Ты ведь был замминистра, управделами Совмина республики... Тебе ли объяснять?.. Значит, ты еще для всесоюзного масштаба зеленый...

— Я тебя что-то не понимаю, — сказал Лепикин.

— Поймешь... Не дестабилизируй ситуацию. Прошу. Действуй в фарватере сложившейся традиции... Не выходи из ряда...

— Я тебя не понимаю... Сам-то ты все время выходишь из ряда...

— Я — это другое дело, — с легкой улыбкой уклончиво ответил Дисфориев.

Чайник уже кипел, звонко стуча крышкой. Дисфориев встал, заварил чай и разлил по чашкам. Поставил на стол сахар и печенье. Сел напротив Лепикина.

— Чего ты хочешь? — в упор спросил Евгений Фролович.

Дисфориев хитро улыбнулся.

— Я хочу министерства жесткой энергетики, понял меня?

— Понял... Но если я хоть немного разбираюсь в вопросах власти, министр сломает тебе шею... В его ли интересах разукрупнять сложившееся хозяйство? И в интересах ли государства?..

— В интересах государства! — с нажимом сказал Дисфориев. — Но не в интересах министра...

— Ты уже начал действовать в этом направлении? — с тревогой спросил Лепикин.

— Начал.
— И есть поддержка в ЦК и Совмине?
— Пока слабая. Но понимающие есть.
— Плохо, — с тревогой сказал Лепикин. — Министр тебя закопает...
— Куда?
— В землю... Не сам, конечно... Косвенно... В его власти создать для тебя такую ситуацию, когда ты — хочешь не хочешь — а умрешь...
— От чего же, интересно, я умру? — с легкой улыбкой спросил Дисфориев.
— От инфаркта...
— Нет! — твердо сказал Дисфориев, — скорее он умрет... Министерство жесткой энергетики — это не моя прихоть, это веление времени...
— Ты преждевременный человек, Володя, но я за тебя...
— Я рад, — сказал Дисфориев, вяло пожал Лепикину руку и добавил: — Я у себя в Центротроне дисциплину наладил, аппарат теперь работает четко, как часы. Всех бездельников и болтунов выгнал... То же самое сделаю в министерстве... Ты же знаешь меня?.. Вот увидишь...
— Что-то плохое у меня предчувствие, — с грустью сказал Евгений Фролович.
— Не хандри! — довольно грубо оборвал его Дисфориев. — В самом фантастическом деле должны быть замысел и крепкая вера в успех... Вот увидишь!.. Я не треплюсь... Ты же меня знаешь...
— Знаю... — задумчиво сказал Евгений Фролович, думая, что Дисфориев все же не до конца уверен и отчасти пасует перед гигантской задачей.
«Эта цель раздавит его... Или у него просто не хватит сил дойти... Эх, Володя, Володя... Лучше, когда все получается само собой...»
Дисфориев сидел бледный, ушедший в раздумья и показался Лепикину сегодня каким-то особенно невечным...
«Конечно, министр он был бы неплохой... Но с кем он пойдет к цели?.. Создал железный главк... Дисциплина — звенит... Но где твои друзья, Владимир Пудович?..»
Лепикин вдруг с облегчением подумал, что у него в этом отношении все уже позади... А теперь — работа... Только работа, любимая семья, жена, дети, мир... Что еще нужно человеку?..

Евгений Фролович уехал от Дисфориева с тяжелым сердцем. Начальник Центротрона показался ему очень слабым физически.

«Но замыслы!.. Замыслы-то какие!.. Энергия и напор его достойны похвалы... И дай бог ему успеха...»

И хотя Дисфориев в целом не осудил Лепикина и даже попросил поддержки в большом начинании, на стройке охлаждение к себе Евгений Фролович ощутил сразу. И со всех сторон. Мол, тоже деятель, с луны свалился... С рабочим классом шутки плохи...

«А то нет!.. Сам знаю...»

Трескун перешел с ним на строго официальный тон. Сношения по работе в основном через письма. Ну и пусть... За невыполненные работы деньги он платить все равно не будет... Илья Ильич здорово приспособился. И фронта работ не обеспечил, и людей набрал...

Лепикин сел на койке, упершись локтями в колени и обхватив руками голову. Забарабанил пальцами по холодной лысине.

«Ситуашка!...» — усмехнулся он, подумав и о своей работе, и о Дисфориеве, и о письме, написанном два месяца назад Ольге с уговорами приехать и... жить... Жить дальше и детей в жизнь выводить...

Но Ольга не ответила... Вот и думай тут... Кругом плохо...

— Ай-яй-яй! — неожиданно весело проговорил Лепикин и сокрушенно рассмеялся.

И все же то здоровое и сильное начало, всегда жившее в нем, невольно подводило его к выводу, что зерно перемелется и будет мука, что кажущуюся безвыходность не следует возводить в степень, что настанет время — будет фронт, будет и работа... Он рассмеялся... Будет и новое министерство... А пока... Надо делать дело...

Вспомнил, как первые дни его директорства здесь подчиненные шли к нему валом. Да все чтоб растолковал и разъяснил. А он их встретил вроде и непривычно — делайте, парни, свое дело и своевременно докладывайте да решайте вопросы... Инициатива и самостоятельность!.. Каждый работник — хозяин на своем посту! Вкалывайте, ребята, нечего дурака валять!.. Поменьше заседаний, побольше дела...

Новый подход дирекции АЭС коллективу, похоже, пришелся по душе. Народ тут дельный, знающий. И дело, пожалуй что, пойдет... Пойдет дело!..

Такая внутренняя уверенность жила уже в Лепикине, и он по опыту знал, что чувство это верное. Оно его и в прошлом не подводило.

«Но радости нет... Это факт...» — трезво констатировал Евгений Фролович с полной ясностью в голове. Невольно улыбнулся.

«Это от нависшей опасности...»

В голове болезненной занозой торчала забота — конфликт с Трескуном... И будто сторож притаился в нем и был все время наготове...

«Пусть, пусть... Это ничего... Это даже хорошо... Ощущение нажима со всех сторон...»

Но нет! Он отсюда уходить не собирается. Он построит блок!.. Такова уж его судьба, и другого пути теперь для него не будет. А радости нет, потому что нет семьи...

«Ах, Ольга... Что же ты, Ольга?..» — печально подумал он.

Но мысли о семье постепенно отходили на задний план, заслонялись надвигавшимися на него заботами завтрашнего дня.

За окном шумел дождь. Евгений Фролович встал и выглянул в окно. Сплошная глиняная жижа, заполнившая улицы соцгородка, фосфорически поблескивала в вечерних сумерках. Он невольно сморщился. Ох уж эта жижа! Какой тоскою, тягучей тоскою заполняет его один только вид этой грязи...

Ну, полноте, Лепикин! Товарищ Трескун, да и твой предшественник просто не подумали вовремя о сточных канавах ливневой канализации... Все объяснимо... Ах, как все объяснимо!..

Но как ни бодрился Лепикин, затравленность все же где-то сидела в нем. Он ее загонял все глубже и глубже. Прятал, укутывал, гасил вокруг нее огни, но...

Лепикин бодро стал ходить взад и вперед по комнате, напевая бравурный мотив. Затем быстро оделся. Накинул плащ с теплой поддевкой, широкополую шляпу, болотные сапоги и позвонил диспетчеру, попросив дежурную машину... Он поедет на блок... На главный корпус... Посмотрит, как товарищ Трескун организовал работу во вторую смену... Посмотрит, как идет бетон... Он все посмотрит...

Через десять минут «ГАЗ-69», словно катер-амфибия рассекая жидкую грязь, переваливаясь на колдобинах и звучно плюхаясь днищем о жижу, подвез Евгения Фроловича к главному корпусу.

Лепикин вылез из кабины в грязь, сразу заскользив и погрузившись в глиняную жижу чуть не до колен. Отпустил машину, попросив водителя подъехать часа через полтора. «Газон» тронулся с места сначала осторожно, чтобы не обдать грязью директора, а метрах в двадцати от него взял резко и будто поплыл, подняв жирные буруны и оставляя хлипкую волну за собой.

Мощный «Сириус» (лампа дневного света), смонтированный на башенном кране, лил густой белый свет на главный корпус, выхватив из темноты мокрую гляцевую белизну его стен, облицованных белой «ириской» с черными в ночи продольно-поперечными швами, тягучие нити дождя, нависшие густой отвесной сеткой и покрывшие поверхность жидкой грязи вздрагивающей рябью. Евгений Фролович, осторожно ступая, нащупывал ногами обманчивую скользкую твердь. Облизывая пресноватые дождевые капли с губ, двинулся к вертикальной блочной металлической лестнице, по спиральным маршам которой можно было подняться и сойти по деревянным сходням, оребренным и затоптанным грязью, на любую проектную отметку главного корпуса строящегося атомного блока. Не дойдя нескольких шагов до лестницы, Евгений Фролович поскользнулся. Ноги сами поехали по склону вперед, и он, чтобы не плюхнуться во весь рост в жидкую грязь, каким-то чудом вывернулся и упал, опершись на руки. Руки поехали по скользкому глиняному уклону. Он ощутил кожей ладоней мелкие бугорки, камушки, комочки. Они больно давили и царапали руки, но он весь напрягся, стараясь удержаться хотя бы в таком положении, чтобы уж вовсе не нырнуть в грязь головой. При падении шлепок жижи плюхнул ему в лицо, попал в рот, вызвав мгновенный ком тошноты. Вкус грязи был нейтральный, земляной, на зубах хрустело. Лепикин плевался и чуть не плакал от обиды. Ему даже показалось, что в глазах навернулись слезы, хотя точно ощутить слез он не мог — дождь, вода, жидкая грязь, холод словно бы притупили это ощущение. Но обиду он ощущал остро и все плевался, пытаясь встать и думая с горечью: «Вот, товарищ Лепикин, стоишь на карачках в грязи... Хорош итог...»

Купая полы нового плаща в жидкой глине, он с трудом на четвереньках дополз до лестницы и схватился за металлическую стойку. Встал и прошел на заваленный отвердевшими буграми грязи нижний ярус. В нескольких метрах от башни металлической лестницы натужно гудел бетонный насос «Вартингтон», внешне напоминавший передвижную компрессорную установку, только был намного крупнее и выкрашен в черно-белый цвет. К бетононаосу подъехал грузовик с вертушкой и стал перекачивать в приемную емкость «Вартингтона» жидкий бетон. Капли дождя разбивались о поверхность металла кабины и капота, и в свете «Сириуса» было видно, как невысоко над поверхностью дождинки рассыпались искристыми брызгами. От бетонного насоса вверх, на пятнадцатую отметку, уходил гофрированный армошланг диаметром двести миллиметров. По нему-то бетон и перекачивался в армоблоки, из которых, собственно, и возводился главный корпус. Армированный шланг то и дело конвульсивно изгибался, волна по нему шла снизу вверх с судорожным вздрагиванием, и весь этот толстый, дергающийся бетонопровод напоминал удава, заглатывающего свою жертву и проталкивающего ее вдоль длинного тела.

Евгений Фролович испытывал саднящее чувство. Неожиданное падение вывело его из равновесия, и он, в недобром расположении духа, брезгливо оттопырив залитые грязью руки, вошел на минусовую отметку. Там было темно. Пахло застойной сыростью, в которой угадывались запахи строительного хлама и мусора, затвердевших ошметков бетона, сырой штукатурки, которой были затерты неровности и перепады между армоблоками. Ощущался и запах химзащитного эпоксидного покрытия.

«Странно, — подумал Лепикин. — Как это все выходит у меня...»

Он решительно вытер руки о незагрязненную часть плаща, Достал из кармана фонарик и осветил пространство перед собой. Запахи не обманули его. Тут и там в створе луча виднелись строительный хлам и мусор, обрезки труб, досок, забрызганных бетоном, смятые или изорванные крафт-мешки из-под цемента, в нескольких местах застарелое дерьмо, наплывы затвердевшего бетона... По стенам стекала широкими полосами вода (через перекрытия протекал дождь). Луч скользил вдоль стен и потолка, контрастно высвечивая неровности, искривления, черные дыры проходов. В иных местах стены и потолок прямо по неоштукатуренной поверхности были покрашены белоснежной эпоксидной краской...

«Вот каким образом Илья Ильич Трескун закрывает химзащите форму «два», — с возмущением подумал Лепикин. — Нет чтобы как следует отделять помещения и впускать на нижние отметки и в кабельные полуэтажи и подвалы монтажников... Он, видите ли, требует платить деньги за халтуру... Не-ет! Так дело не пойдет, товарищ Трескун!..»

Евгений Фролович прошел вдоль коридора, перешагивая через завалы строительного мусора. В нескольких местах с трудом открыл многотонные чугунные защитные двери в боксы. Там тоже были мусор, завалы, в иных боксах «конспиративные» нужники с невыносимым застойным запахом...

«Да-а, товарищ Трескун! Не шибко ты культурный строитель... Но ничего! Будем учить... А то, видишь ли, плати деньги... Деньги-то народные, их надо платить за добрую, хорошую работу...»

Размышляя так и почти избавившись от неприятного чувства, вызванного падением в глиняную жижу, Евгений Фролович пролез через пролом в стене и оказался в помещении бассейна-барбатера локализации предельной аварии. То есть в том самом лягушатнике, о котором говорил ему Трескун. На дне бассейна стояла вода. Пахло холодной, застойной сыростью, мокрым металлом (стены и потолок были облицованы нержавеющей сталью) и влажной плесенью, неизменной спутницей запустения...

«Ну вода — понятно, — думал Евгений Фролович. — Идут дожди. И все равно... Убирать надо... Отделять и сдавать помещения под монтаж оборудования...»

Он медленно побрел по лабиринту выгородок бассейна, шлепая сапогами по воде и скользя то и дело по слою ила, скопившегося на металлической облицовке дна. Тридцатитысячекубовый объем бассейна был рассечен железобетонными перегородками, облицованными нержавеющей сталью, на десятки ячеек, предназначенных для формирования потоков аварийного пара. Луч фонаря высвечивал то мелкие волны черной воды, играющие бликами отраженного света, то рябые от сварки нержавеющей стали поверхности и сварные швы вороненого цвета на стенах и потолке. Поверхность металла запотела. По ней то и дело скатывались холодные струи. С потолка капало. Откуда-то из проходов лабиринта веяло погребным вонючим холодом. Там и тут из воды на полу торчали широкие жерла барбато-перепускных труб, по которым аварийный пар и избытки конденсата в случае аварии будут поступать под уровень и в нижний этаж бассейна...

«Вечная баня под реактором... Хорошо ли это?..» — подумал Евгений Фролович и поспешил удалиться из лягушатника, боясь в темноте заблудиться в его лабиринтах.

По металлической блок-лестнице поднялся вверх, на пятнадцатую отметку, куда «Варингтон» качал в армопанели жидкий бетон, конвульсивно дергая толстым армированным шлангом.

Как это ни казалось странным, но людей, работающих на главном корпусе, Евгений Фролович не замечал. Но кто-то ведь должен быть! Как-никак идет бетонирование...

Дождь шел с переменной силой, то вдруг неистово наваливаясь, будто спешил пролиться весь в несколько минут, то вдруг ослабевал, посверкивая тонкими серебряными нитями в

лучах «Сириуса». Краны стояли. Невооруженным глазом видно было, что сменность организована ни к черту, что суббота и воскресенье при колоссальной армии работников, собранных на стройке, халатно не используются... А сроки уплывают из-под ног...

Ступив на разновысокие выпуска арматуры, низко торчащие из незабетонированных армопакетов, Лепикин, осторожно ступая резиновыми сапогами по торцам стальных прутьев и ощущая несильную боль в подошвах от острого надавливания, не торопясь, глядя под ноги на ажурную сеть сплетенных между собой рифленых стальных арматурин, двинулся к тому месту, где гофрированный шланг бетононасоса изгибался плавной дугой, вздрагивал на изгибе будто в икоте и уходил раструбом в армопанель стены. По другую сторону перекрытия в лучах «Сириуса» контрастно темнела прорабская будка, бросавшая длинную тень на ажурное кружево арматуры, что создавало впечатление темного провала. Да и сама арматура и торчащие выпуска тоже бросали короткие тени, делая кружево сплетенных железных прутьев еще ажурнее и запутанней.

Евгений Фролович окинул взглядом промплощадку, утонувшую в полутьме. Только тающий с расстоянием свет от «Сириуса» высвечивал в отдалении словно лунным пепельным светом белесоватые железобетонные скелеты недостроенных зданий вспомогательных сооружений АЭС да застывшие с протянутыми стрелами башни кранов.

Омертвевшие объекты огромной стройки, переменный шум дождя и фосфоресцирующий отсвет мокрых грунтовых отвалов да переливчатая от ударов дождевых струй поблескивающая рябь глиняной жижи угнетающе действовали на нервы. У Лепикина вновь подступил спад настроения. И только надсадный пульсирующий гул «Вартингтона» и колоссальность предстоящей работы словно бы удерживали его и не давали повернуться и тут же уйти вон с блока.

Ощущая подошвами острое надавливание арматуры, он медленно приблизился к огромной армопанели, куда шла закачка бетона. Срез стены армопанели был на уровне колена Лепикина. Он стоял и завороченно наблюдал, как, шваркая, пыхтя и вздыхая, проваливалась вниз и скрежетала щебнем по железу арматуры кашеобразная бетонная масса.

Стенки армопанели, служащие одновременно и опалубкой, были связаны между собой толстыми стержнями рифленой арматуры. Бетон из раструба шел сплошным пульсирующим потоком и расплывался, напоминая по характеру растекания вулканическую лаву. В том самом месте, где бетон выходил из раструба, образовывался быстро меняющийся в очертаниях конус бетонной массы с наплывающими огромными лепехами и внезапными воронкообразными шипящими провалами. От бетона шел пар.

Флу, флу, флу — издавал звуки раструб бетонного насоса, вываливая из своего горла поток жидкого бетона.

Евгений Фролович тронул тыльной стороной ладони текущий бетон и прикинул: «Градусов тридцать пять...»

Стена, в которую подавался бетон, была внутренняя, несущая. Евгений Фролович взошел на армопанель и стал поудобнее, опершись одной ногой о стенку, а другой о рифленый стержень арматуры. Бетонная каша шуршала, шипела у него под ногами, как-то очень аппетитно расплывалась, и он невольно несколько раз сглотнул слюну, впервые за весь день ощутив голод и с удивлением подумав, что сегодня даже не поел ни разу.

Лепикин сунул правую ногу в набегающий бетон, невольно желая принять его тепло, его живую податливую плоть и нащупывая ногой опору. Там неглубоко тоже должна быть арматура. Он ощущал сдавливающее усилие бетонной массы, царапанье щебня о резину голенищ. Но опоры не было. Нога уходила все глубже. Бетон наплывал, засасывая, как тряпина. И, не успев даже сообразить, что происходит, Евгений Фролович потерял

равновесие и вслед за ногой, весь согнувшись, упал в бетонную кашу. Первая мысль, пронзившая его в это мгновение, была: «Два куба в минуту!» — такова была производительность «Вартингтона»... Две минуты — и его завалит бетонной кашей...

Где-то на глубине полутора метров правая нога его уперлась в рифленый прут арматуры, левая же торчала в полусогнутом положении снаружи как бы в полушпагате. Руками он судорожно схватился за бетонную стенку армопанели, изо всех сил дергаясь и безуспешно пытаясь выдернуть тело из бетонной трясины. Но куда там! Бетон из раструба валил теперь Евгению Фроловичу на спину, на плечи. Был тяжелый, ох, какой, оказывается, тяжелый бетон! Он невыносимой тяжестью давил на Лепикина, будто стремясь подчинить человека своей воле, пытаясь раздавить его, вмять, замуровать в армопанель навеки...

Воспаленный смертельной опасностью мозг лихорадочно работал. Лепикин еще ощущал в себе силу. Он еще думал, что он сильнее бетона, что он победит. А мозг, независимо от его воли, подсовывал воспоминания.

«Такое уже было... Одного замуровали в плотину ГЭС... Тридцать лет он там пробыл... Во время ремонта трещины в теле плотины долбили бетон и случайно наткнулись на труп... Вечное захоронение... Почетная могила...»

Евгений Фролович представил себя замурованным в эту вот чертову армопанель атомного энергоблока... И никто ведь не узнает, куда исчез директор АЭС. Пройдут сутки, бетон схватится и... будьте здоровы!..

«Но почему? Почему тут провал?... Почему не оказалось арматуры?..»

Лепикин еще несколько раз дернулся, но от этих движений под тяжестью бетона оседал все больше и больше. Все тело его обдавило бетонной кашей, стекающей вниз, скребущей по телу острым щебнем. Кровь согнало к ногам. Огромная сила потока бетонной массы тянула Лепикина за ногу вниз. И вдруг Евгений Фролович понял, что приходит конец. Что, если сейчас, сию же минуту не произойдет чуда, он вот-вот захлебнется. Бетонный конус, в который угодил Лепикин, теперь раздался, обволакивая человека все более и более, и уже только руки, судорожно вцепившиеся в стенку армопанели, да лысая голова с вытаращенными черными глазами торчали из бетонного месива. А толстый шланг «Вартингтона» все изрыгал и изрыгал новые порции, конвульсивно дергаясь и издавая свое равнодушное: флу, флу, флу...

И в этот миг Евгений Фролович потерял контроль над собой. Он закричал, из последних сил напрягая сдавленные бетоном легкие. Голос его прозвучал зычным каким-то, луженым трубным звуком где-то на границе потерянности с последним самообладанием. В ответ никого... Второй раз крик его был коротким и душераздирающим. Тут уж было не до форса. Он кричал так еще и еще раз. Крик был все короче и слабее. И в тот самый момент, когда конус бетонной каши должен был похоронить Лепикина, дверь прорабки распахнулась, яркий световой прямоугольник дверного проема ослепительно вспыхнул на фоне черной будки и в проеме появилась женская фигура в комбинезоне и ватнике.

Евгений Фролович душераздирающе крикнул последний раз. В ответ раздался пронзительный девичий визг. Фигурка женщины метнулась к армопанели, вскочила на нее, навалилась на гофрированный бетонопровод и сдвинула его в сторону. Раструб пружинисто вскинулся и хлестко долбанулся по другую сторону от армопанели на ажурную сеть арматуры перекрытия. Девушка, теперь Лепикин видел, что это была девушка — юное обветренное лицо, широко распахнутые от ужаса большие серые глаза, выбившаяся из-под платка прядь белокурых волос. Она ухватила за руку Евгения Фроловича.

— Ой-ой, мамочка! Да что же это такое?! Держись, дяденька!.. Ой-ой!.. И-и-и!.. — Девушка запищала. Лицо ее исказилось гримасой. В глазах показались слезы. Она соскочила с армопанели и грудью навалилась на руки Лепикина. — Дяденька, дяденька, держи-и-ись!..

Бетон медленно стекал, уходил вниз, мало-помалу высвобождая Лепикина из своих засасывающих, всхлипывающих и чавкающих объятий. Евгений Фролович дернулся, но обволакивающая его, медленно стекающая бетонная жижа, чавкая и вздыхая, еще присасывала его тело. Он перестал дергаться, ожидая, пока обтечет бетон и когда можно будет выбраться. Испуганное лицо девушки, смотрящей на Евгения Фроловича во все глаза, было так близко, что пар от ее дыхания обволакивал лицо Евгения Фроловича. В глазах, во всем лице девушки, которая почувствовала, что смертельная опасность миновала, были и сострадание, и огромный вопрос: мол, как же это, дяденька, произошло?

А Евгений Фролович, который тоже понял, что опасность отошла, ощутил вдруг сменившую животный ужас горестную досаду. И стыд, конечно же стыд... И вот эта милая девушка, спасшая его и глядящая на Лепикина во все глаза. Ему вдруг стало смешно. Он улыбнулся и подмигнул девушке, которая с готовностью восприняла его улыбку, радостно взвизгнула и захохотала прерывисто, нервно, еще не веря, что смерть, возможная смерть этого человека, была так близка и реальна, а теперь все позади, и стало смешно. Но видение смерти как бы накладывалось на ее радость и рвало, деформировало смех девушки, переходящий в истеричный визг.

Наконец бетон сошел вниз, и Евгений Фролович не без труда выбрался из ловушки. Он стоял теперь перед девушкой в лучах «Сириуса», обмываемый дождем, плотно заштукатуренный белесоватой на вид бетонной массой, брезгливо расставив руки и ноги в стороны и печально улыбаясь.

— Ну, так как же тебя зовут? — спросил Лепикин и рассмеялся.

Девушка визгливо захохотала в ответ, и было видно, что она все еще возбуждена и напугана, не знает, случайно дяденька туда влез или захотел покончить с собой...

— Мань! — сквозь смех пропищала девушка.

«Мань... Мань... Мань... Мань, ты?..» — вдруг вспомнил Лепикин пропитой мужской голос в телефонной трубке и, не переставая улыбаться, сказал:

— Стало быть, это ты и есть та самая Маня, про которую меня сегодня спрашивал твой парень?..

— Кто эт, Федька? — сквозь уже смущенный смех пропищала девушка. — Ох! Этот Федька меня с ума сведет!.. Ой! Чего ж мы стоим?! Господи!..

Девушка вдруг поискала глазами вокруг, взяла валявшийся невдалеке обрезок доски и, подойдя к Лепикину и смущенно глядя на него и улыбаясь, предложила:

— Дяденька! Дайте я вас трошки пообскребу... Ужась какая!

— Ну пообскреби, пообскреби! — сказал Лепикин, думая, что вот оно — крещение... Стройка эта чуть было не вмонтировала его в свои строительные конструкции... И ужас внезапно нависшей смерти, и эта юная спасительница... Как все странно, нелепо и в то же время исполнено смысла... ели на все это взглянуть в совокупности... Да...

Он поворачивался перед девушкой, подставляя ей то бок, То спину.

— Ой, ужась какая! — приговаривала девушка, соскребая с Лепикина бетон.

— Ну что ж! — засмеялся Евгений Фролович, все более проникаясь трагикомизмом положения. — Пойдем-ка, Манечка, чай ко мне пить. А?..

В ответ Маня потешно взвизгнула.

— И-и-и! Чай!.. В баню вам, дяденька, надо... Куда уж чай!.. И Федька... Как узнает, так меня и вас пришибет! Хи-хи-хи-ха-ха! Говорит, как поймаю тебя, Манька, с кем, так и

забетонирую в стену... Ровно как вы, дяденька... — Девушка вдруг испугалась и прикусила губу. — Упаси бог! Упаси бог!..

— А как же бетон? — спросил Лепикин, вспомнив о шланге бетононасоса.

Девушка всплеснула руками, ударив себя по бокам.

— И то!..

Они подошли к бетонопроводу, который лежал, что называется, бездыханный. Бетон из него не поступал. Видно, очередная вертушка с бетонной смесью не подросла к подзаправке насоса. Лепикин и Маня взяли шланг. Он был тяжелый и пружинил. Они завели раструб в армопанель.

Евгений Фролович распрощался с девушкой, на лице которой уж очень отчетливо проглядывал вопрос. Уж больно ей хотелось узнать, кто же это он такой, этот дяденька, которого она вдруг так случайно спасла в эту ненастную ноябрьскую ночь. Но спрашивать не решилась...

А Лепикин спустился вниз по лестничной башне, неся на себе свинцовую, отяжелевшую от бетона одежду, без шляпы (она куда-то исчезла, и он не стал ее искать), и пошел, будто поплыл по глиняной жиже, в сторону поселка, до которого было три километра ходу... Дождь бил его по лысине хлестко, иногда колюче остро. Струи воды затекали за ворот, где ошметками присох к телу затекший туда бетон. Мелкий обломок щебня завалился глубже и царапал спину где-то около пояса. Но Евгений Фролович не обращал на все это внимания. Он шел, неся в своей душе ясное, чистое чувство избавления от внезапно нависшей смерти. Он не просто шел. Он почти летел, внутренне летел. Так ему казалось. И все мучения минувшего дня, вся эта лавина картин прошлого, навалившаяся и, казалось, похоронившая его под собой, теперь померкла. Он радовался и этому дождю, и затопившей все глиняной жиже, и этому недостроенному атомному блоку, на котором еще работы — о-го-го! — радовался, что идет живой, весь изгвазданный бетонной кашей. Радовался даже куску щебня, царапавшему спину у пояса.

На улицах городка было пустынно и уныло. Фонари вдоль заполненных жидкой грязью улиц только изредка горели полным светом, а большей частью вполнакала, а то и прерывистым светом — то потухая, то лихорадочно, с дрожью вспыхивая и будто впопыхах и испуганно подмигивая своему отражению в жидкой глине. Огни в окнах домов казались сегодня особенно красными на темном фоне шероховатых от мраморной крошки стен.

Евгений Фролович отметил в себе, глядя на эти дома и огни в них, странное чувство, какое испытывал и ранее в других местах, в других городах. Это было внезапное ощущение множества других жизней, тесно расположенных в пространстве одна около другой благодаря этим вот многоквартирным коробкам. И там жили люди. Очень разные. Добрые и злые. И кажущейся была только их независимость друг от друга, да и несхожесть судеб здесь, на этой расплавленной дождями и непрерывным движением машин земле. И такая острая жалость и даже любовь к ним, этим людям, метнулась в сердце Евгения Фроловича, такими он почувствовал их неожиданно близкими и родными, что это явило органическое ощущение слитности своей с ними, с их страданиями и радостями, с их жизнью и смертью. С их судьбой...

Никто так и не встретился ему в городке. Никто не выглядывал в красноватые от света окна, сплошь занавешенные шторами...

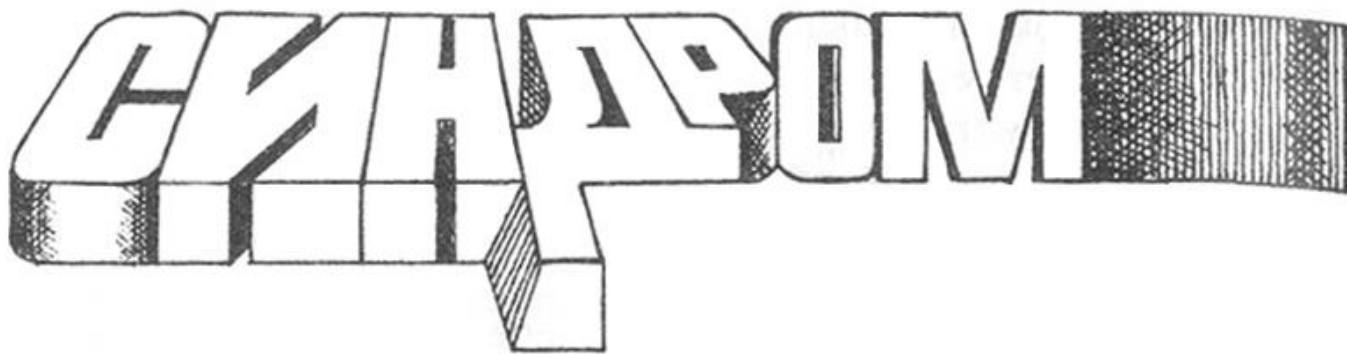
Евгений Фролович вошел в свой подъезд, всегда пахнущий кошками и мусоропроводом, которым здесь пользовались неаккуратно, путая его, видимо, с помойной ямой и оставляя почти всегда мусор и отходы на площадках.

Но сейчас Лепикин ощутил в подъезде еще чье-то присутствие. Какое-то странное беспокойство метнулось в нем. Дрогнуло сердце. И он вдруг побежал вверх, перескакивая через ступени. Запыхавшийся, с глубокой одышкой, сразу ощутив на плечах свинцовую тяжесть пропитанной бетоном одежды, он остановился у своей двери, не веря глазам своим. На тюках и чемоданах сидели его сильно похудевшая жена Оля и обе дочери — Танюшка и Светка. Ольга Павловна, увидев мужа, заплакала, подошла к нему, положила руки ему на грудь, прижалась щекой к изгвазданному плащу и прошептала, втираясь щекой в стекающую по груди Евгения Фроловича грязь:

— Что мы без тебя, Женечка?.. Кому мы нужны на этом свете?.. Папа умер... Умоляю тебя, начнем новую жизнь!

Дочери смущенно топтались рядом и тоже тянулись к отцу.

1981



1

Вдруг явилось из детства: зеленый косогор. Внизу, в ровных травяных берегах, голубовато блестит речка Безымянка и плавной светлой дугой уходит за срез холма. Небо без единого облачка. Там коршун завис и только странно как-то на месте разворачивается, озирая острым глазом землю...

Лерен Петрович невольно усмехнулся: так и он сейчас увидел себя будто сверху, с чувством какого-то постороннего любопытства. Вот он — большеголовый, сухопарый, в черном спортивном костюме, какой-то даже чрезмерно подтянутый, новый заместитель главного инженера атомной станции Лерен Петрович Ветчинкин. Сидит у себя дома на диване в гостиной в состоянии сдавленного волнения...

Волнение это он ощущал как некое наслоение, которое в любой момент при желании можно отбросить. И хотя событие — повышение в должности — уже состоялось, он все же не до конца верил в реальность случившегося и теперь совершал в душе какую-то странную работу, с трудом вживаясь в свое новое качество, и как-то незаметно вытеснял из себя тревогу, словно бы давая простор радостному и возвышенному чувству. Но оно почему-то все не появлялось...

Он отрешенно рассматривал полированную мебель, раздражающую уже давно своим блеском, узоры на ковре, чуть пристальней вглядываясь в затейливые куски восточного орнамента. Подумал, что в воздухе чем-то пахнет, будто пылью. Неуютно поежился. Сидел он поверх постели, которую ворча и с неохотой застелила жена, встревоженная неожиданным желанием мужа спать отдельно.

Еще несколько минут назад, пока Мария Львовна готовила ему постель, он терпеливо и мягко объяснял ей, размеренно вышагивая по комнате, что ему надо будет хорошенько вечером поработать (где-то вторым планом соображая: «Ах, лучше бы все было по-старому!»), что он не хочет ей мешать, что ему наверняка будут звонить с блочного шита управления АЭС (вздрагнул при мысли об этом, потому что возможны неясные для него вопросы) и что вероятнее всего ему придется смотаться к часу ночи на атомную станцию, чтобы учинить внезапную проверку вахтам и вообще пройти по блоку.

Ему показалось, что запах в комнате изменился. В гостиной теперь непривычно пахло постелью. Ветчинкин жадно потянул носом, вдыхая бодрящий запах свежего белья. Он еще не сказал жене о своем новом назначении. Тайна, конечно, продержится недолго. Завтра Марии Львовне будет об этом известно от других. Но он опередит!.. Он проведет сегодня бессонную ночь на энергоблоке, будучи уже в новой должности. Ему не терпелось. Скорее! Но не попрешься ведь сейчас ни к селу ни к городу.

«Нет! Всякому овощу свое время!..»

Он вдруг подумал о том, что ведь назначен внезапно, что не вошел еще в курс дела, не использовал отпущенные две недели на пусть даже общее ознакомление с новыми обязанностями...

— А-а!.. — нетерпеливо выкрикнул он и взмахнул рукой, ощущая, как что-то властное, неудержимое уже владеет им, что его тянет на атомную станцию какая-то неведомая сила. Долг, что ли. Он должен... Да!.. Он должен, он испытает себя хотя бы немного в новом качестве, освоится и потом уже позвонит жене и как бы между прочим попросит записать его новый служебный телефон. А потом... Потом — ахи, охи, смех, радость, поздравления... И конечно же — отметим! Как положено!..

Так он успокаивал себя, но возбуждение не проходило. Раздражал резкий свет люстры. Лерен Петрович вскочил с постели, включил блеклый ночник и вырубил верхний свет. Не надевая шлепанцы, в носках стал ходить смешной подсакивающей походкой взад и вперед по теплому ворсистому ковру.

«Ах! Что я наделал!.. Что я наделал!..» — мысленно сокрушался он, но где-то в глубине подспудная радость все равно подпирала, незаметно возвышала его в собственных глазах.

— Да успокойся, успокойся ты! — стал он уговаривать себя вслух, отмечая между тем какую-то особую полноту и значимость своего голоса.

Наполненность души в иные минуты до того распирала его, что он иногда не выдерживал, потихоньку как-то взвизгивал, всхохатывал, словно сбрасывая тем самым избытки душевной наполненности. Порою он изгибался вдруг в поясе, лихорадочно потирая руки, и, тревожно где-то в глубине ощущая их чрезмерную сухость, начинал нарочито громко и как-то замедленно нервно хохотать:

— Ха-ха-ха-ха! — Делал поворот на правой ноге и переходил почти в ласточку.

В комнате была полутьма. Мутноватые в слабом свете контуры мебели и густой коричневый фон интерьера словно бы успокаивали.

«Как же это все неожиданно получилось!..» — думал он, усаживаясь на краешек дивана.

Наклонившись вперед, упершись локтями в колени и подперев руками подбородок, задумался. Вначале будто ни о чем, но постепенно мельтешащие картины все больше вытеснялись образом того человека, чье место он теперь занял не по праву, перед кем преклонялся и чью должность для себя считал недостижимой...

Но как же это все получилось, что бывший заместитель главного инженера, человек чрезвычайной энергии и хватки, прошедший этот атомный блок, что называется, с первого кирпича пропустивший через свои руки проектирование электростанции, изготовление и поставку основного технологического оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, физический и энергетический пуски, державший в своих руках всю полноту фактической власти на АЭС, многие годы исполнявший одновременно и обязанности главного инженера атомной станции, вдруг...

— Да-а... — горестно усмехнулся Лерен Петрович, размышляя вслух, — все, что случилось, пожалуй, лежало не только в истоках странной многолетней дружбы бывшего заместителя главного и директора АЭС. Единодушие их замыслов и действий всегда радовало... Хотя, впрочем... Может, именно ею, этой странной дружбой, и следует все объяснить?... В том-то и дело... Выходит, директор-то, Иван Иванович Громов (на станции за глаза его звали просто — Ив Ив), человек старый, пенсионного возраста, уже изрядно поношенный, дружил с Булдыгиным (считай теперь — терпел), затаившись?... Да-а... Конечно... Ив Ив, прижатый непостижимой для него, человека больного и уставшего, энергией Ильи Булдыгина и неизменным положительным результатом его деятельности (казалось бы — только радуйся!), держал свое стило наготове. И дождался момента...

Лерен Петрович отчетливо представил широкое сизоватое лицо директора Громова, почти всегда глядящие мимо полуотрешенные серые глаза его...

А получается — не мимо смотрели глаза директора, но прямо в точку... И ведь доверял же Иван Иванович Булдыгину всецело. И как-то вроде стоял в стороне. Но наблюдал... Зорко, видать, наблюдал, и ревниво... Илья явно где-то перебрал, передал... Слишком уж не по должности вышел на оперативный простор... Все же молодость неосторожна... Да-а... Так оно получается в жизни...

Когда все были стопроцентно уверены, что с выходом атомной станции на запланированный уровень энергетической мощности главным инженером АЭС, а может быть, и директором, будет назначен Илья Булдыгин, Ив Ив поставил свою роковую точку...

Через министерство он каким-то непостижимо тайным образом выхлопотал себе Пустерина, нового главного инженера АЭС, выходца с бомбовых атомных реакторов, который, естественно, общестанционных энергетических дел не знал, не знал также всей истории и предыстории, всей эпопеи атомного строительства, монтажа, наладки и пуска гиганта и попал, что называется, как кур в ошип. Но будучи человеком крутым и чинить власть умеющим, он с ходу взял быка за рога — и понеслось!.. Авария за аварией! Поломки оборудования, резкое ухудшение радиационной обстановки на блоке...

«Дуболом!» — вспомнил Лерен Петрович кличку Пустерина в тот период.

Илья Булдыгин, сразу смекнувший, в чем дело, вошел в ярость, в кабинете не сидел, носился по атомной станции, все его раздражало, всех он из-за малейшей малости разносил в клочья, фактически продолжая управлять блоком и в части атомной технологии и административно. Но... Дни его неограниченной власти были сочтены.

День за днем выходили приказы директора, в которых уточнялись, ограничивались его обязанности и постепенно были сведены к узкому, как он, Илья Булдыгин, сам выразился, кругу должностных функций.

Впервые тогда Ветчинкин увидел Илью задумчивым, сразу притихшим, каким-то затаившимся, будто перед прыжком.

Что и говорить! «Объездить» Булдыгина так и не удалось. Человек этот был рожден для большого дела, и уж не Ив Ив, а и не Пустерин способны были взнуздать этого «мустанга».

Лерен Петрович, сидя в той же напряженной позе, будто прислушиваясь к чему-то, в подробностях вспомнил последний скандал Ильи, после которого тот плюнул на все и ушел с блока.

Случилось это в день, когда Пустерин, осваивая оперативное управление атомной электростанцией, утвердился на блочном щите управления АЭС и «заколбасил» очередную аварию с поломкой оборудования.

Весь день перед тем стены и полы помещений энергоблока содрогались от мощных гидроударов, вызванных неверным ведением технологического процесса. Булдыгин вошел тогда в помещение блочного щита управления как командор, замоноличенный, с каменным, бледным лицом. Чуть мутноватые, черные, глядящие поверх голов со злым прищуром глаза, вечно, казалось, непричесанный, эдакий стремительный черный чуб набок, всегда не по росту малый, внатяжку надетый белый лавсановый халат, из рукавов которого торчали черные обшлага куртки,— все выдавало в нем негодование и принуждало подчиняться. Весь стремительный, целеустремленный, Илья Булдыгин с ходу вплотную подошел к Пустерину и сказал странно звонким для его крупной фигуры альтовым голосом:

— Ломаем все, Корней Иванович? — И вдруг схватил Пустерина за грудки и, весь багровея, стал трясти главного инженера. — Откуда ты выискался такой умник на нашу атомную голову?! С чем шутики шутишь?!

Присутствующие наблюдали сцену молча, не вмешиваясь, и, чувствовалось, были на стороне Ильи.

Пустерин тоже набычился, тоже схватил Илью за лацканы пиджака, но все это слабее, с запозданием. Даже трубный бас его против металлического альта Ильи Булдыгина, что называется, не тянул.

— Ну и черт с вами! — оставил его вдруг в покое Булдыгин, стремительно покинул помещение блочного щита управления и в тот же день уехал в министерство, в Москву.

Возвратился через неделю с новым назначением, забрал трудовую книжку и был таков...

Лерен Петрович встал и, уже спокойней прежнего, даже с какой-то неуверенностью, прошелся по ковру. У него в груди все как-то повернулось, засосало, повеяло тоской.

Как же это такое получилось, что его, Ветчинкина, начальника турбинного цеха атомной электростанции, владыку машинного зала, а не кого другого — неожиданно назначили заместителем главного инженера по эксплуатации?

Остановившись против зеркала, он настолько пристально посмотрел на себя, что зримый образ, отражение его, стало истаявать, исчезать. Он вздрогнул.

«Я-то ядерную физику плохо знаю...» — вдруг будто услышал он свои слова, сказанные Ив Иву в ответ на неожиданное предложение.

— Зато электростанцию знаете... Король, так сказать, пусковых и переходных режимов... Это на эксплуатации главное... А физике вас научат... Так?.. — обратился Ив Ив к сидевшему рядом Пустерину.

— Дурное дело — нехитрое! — засмеялся Пустерин, крепко стискивая руку Лерена Петровича и уже зная, что с этим турбинистом он наверняка сработается.

«Главный инженер в чем-то хотя бы должен разбираться намного больше своего заместителя... В знании — сила и залог послушания...» — подумал тогда Пустерин.

Лерен Петрович почувствовал, как страх тягучим сплошным потоком стал заполнять все его существо. Запах свежей постели стал более острым, даже каким-то химическим.

«Ну, не паникуй, не паникуй!..»

И тем не менее ноги вдруг ослабли и слегка закружилась голова. Ему казалось, что какие-то две противоборствующие волны сошлись у него в груди, в голове. Все там стало подвижным, вращающимся, спазмирующим, болезненным. Он схватился за виски и, как-то по-старчески согнувшись, волоча ноги, прошелся из угла в угол. У него был вид несчастного, больного человека.

«Что я наделал?! Черт бы меня побрал!..»

Шум в голове накатывался откуда-то издалека, постепенно нарастал, закладывал уши. И Ветчинкин вдруг узнал этот шум. Родной, желанный шум знакомого до мелочей машинного зала атомной электростанции, чарующий, столь нужный ему теперь рев турбин, легкий дурманящий запах паров разогретого турбинного масла... И весь внутренне метнулся к этому родному спасительному шуму, стихии всей его трудовой жизни. Там он свой, там он как рыба в воде...

«Ладно... В случае чего... Можно и отказаться... Турбины снова примут меня... Не измените?... Турбинушки-подруженьки, а?... Палочки вы мои выручалочки...» «Успокоился... — горестно подумал он, вновь ощутив всю полноту нависшей над ним ответственности, и с маху плюхнулся ничком на разложенный диван-кровать поверх постели, окунувшись чистоту и свежий запах простынь и очень мягкой, глубоко принявшей голову подушки.

Ему захотелось забыться, расслабиться, уснуть хотя бы немного. Он повертел туда-сюда головой, поудобнее устраиваясь, пелена сна вмиг наполнила на него, затуманила сознание, смежила веки.

Но в этот сладкий миг засыпания он неожиданно вздрогнул и как-то нескоординированно, неуклюже соскочил с дивана на пол, потеряв равновесие и чуть не покатавшись кувырком. Ладони непривычно ощутили жестковатый, неровно смявшийся под пальцами ворс ковра. Сердце колотилось где-то под самым горлом.

«Что?! — само собой с тревогой прокричалось в голове. — Что там?!»

Требовательно и тревожно зуммерил телефон. Ветчинкин схватил трубку, выронил ее, снова поднял. Почему-то стыдливо испугался, что на том конце провода услышали удар от падения трубки.

— Алло! Ветчинкин слушает!

В капсуле телефона слышался шум блочного щита управления атомной станции. На общем шумовом фоне отдельно тянул высокую звонкую ноту какой-то механизм. Потом послышался бодрый голос:

— Начальник смены АЭС Стронгин! Лерен Петрович, извините, что разбудил...

— Что случилось? — спросил Ветчинкин тихо, чувствуя, как сердце так и заходится. Он прикрыл микрофон рукой и прикрикнул на свое сердце: — Да тише ты, черт возьми!

— Лерен Петрович! Аварийно отключилась подстанция Северная-Трегубов. От нас сто пятьдесят километров... Там во время транспортировки груза разбили высоковольтный разъединитель. Таким образом, вышла из строя одна из линий выдачи электрической мощности. Оставшаяся линия электропередачи перегружилась. В любой момент может отвалиться по защите. Прошу разрешения снизить нейтронную мощность на двадцать процентов.

— Нас за это не похвалят... — нетвердым голосом, будто советуясь, сказал Ветчинкин. — А как запас мощности на реакторе?.. — И, подумав и вспомнив физический термин, добавил: — С запасом реактивности как?

— С запасом жиденько, Лерен Петрович, сами знаете, — сказал Стронгин весело, и Ветчинкину показалось, что начальник смены атомной станции подсмеивается над ним, зная о его некомпетентности в вопросах ядерной физики.

— Сами-то как думаете?.. — спросил Ветчинкин, ощущая беспомощность и чувствуя, что краснеет и покрывается испариной.

Ему снова вдруг послышался шум его родных турбин, повеяло едковатым запахом турбинного масла...

«Ах, память!.. Она неотвязчива, ревнива, мстительна...»

Шумело где-то со стороны окон, и он весь, всем существом своим настроился на этот шум, который все нарастал, став наконец явственным шумом проезжавшего автобуса. Кружево света прошло по шторам, на мгновение высветив комнату вздрагивающим голубоватым пятном. И все стихло.

— Я думаю, надо снижаться, Лерен Петрович, — сказал Стронгин.

— Снижайтесь на пятнадцать процентов... — произнес Ветчинкин неуверенно.

— Есть!

— Стойте, Стронгин!.. В два часа ночи пришлите за мной дежурную машину. Только вахте о моем приезде — ни слова.

— Все будет исполнено, Лерен Петрович!

— До свиданья... — Лерен Петрович все еще в раздумье держал трубку, а Стронгин уже бросил ее на том конце провода, и в капсуле послышались короткие гудки: ту-ту- ту-ту!..

Он отнял трубку от уха. Гудки стали тише, но все же были явственно слышны, будто из преисподней.

— Ту-ту-ту!.. — произнес он вслух, передразнивая трубку. — Ту-ту-ту... Вот тебе и «ту-ту-ту»...

Ему казалось теперь, что в момент назначения на новую должность его словно бы окунули в тягучую и давящую атмосферу, для него несвойственную и чужую. И что теперь ему уготована пытка незнанием при том, что такая должность требует глубоких знаний ядерной физики и умения оперативно и ответственно их применять.

И все это время где-то глубоко в нем тревожно звучало: «Не надо... Не торопись на АЭС... Не торопись...»

— Ты что не спишь, Лера? — услышал он тихий и грустный голос жены и положил трубку на аппарат.

— А ты что, Маша? — спросил он голосом виноватым, испытывая неловкость, будто его уличили в чем-то непристойном.

Мария Львовна ничего не ответила. Какая-то трогательная, будто ждущая участия, она стояла в дверях, казалось, в нерешительности, словно хотела что-то сказать, босая, в белой ночной рубашке. Потом прошла и села рядом

Лерен Петрович почуял родной теплый запах жены, обнял ее за плечи, поцеловал в щеку и ощутил соленый вкус слез.

— Ты что?! — спросил он встревоженно, снова отметив болезненную маету в груди.

— Ирочку вспомнила... — голос Марии Львовны вздрогнул. — Ты тоже виноват, Лера, не думай... Я ненавидела, проклинала тогда нашу с тобой атомную жизнь... Теперь утихло... А доченька порой стоит перед глазами как живая... Но нету, ушла навсегда... — Голос ее зазвенел. — Все это твои атомные турбины!.. У меня такое чувство, что ты забываешь Иру. Редко думаешь о ней. Минуту назад кольнула эта мысль, и я пришла. И такая ненависть к тебе...

Мария Львовна глотнула слезы, а Лерен Петрович сник и почему-то не успокаивал жену. Тяжелое чувство в груди усилилось и превратилось в слабую боль.

Прошло более шести лет, как умерла их единственная дочь от злокачественной опухоли лимфоузлов.

«Агранулоцитоз... — вспомнил Лерен Петрович название болезни. — На всю жизнь запомнил. В могилу с этим проклятым словом сойду...»

Нет! Он не забывает, он все время помнит о дочери. И о своей... Нет, о всеобщей вине взрослых перед детьми...

Семнадцать лет Иринке было... Ласковая. Умница. Эх!.. Да что там!.. Когда дочь заболела, Лерен Петрович каждый день ходил к ней в больницу. Она лежала в одной палате с больными старушками. Часто просила чистые носовые платки. Домой отдавала сжатые в комочки. Мария Львовна разворачивала их, а внутри они были мокрые от слез.

— Смотри, Лера, она все понимает...

Мужественная была девочка. Очень бледная, ослабшая, бодрилась, улыбалась. А после ухода отца отвернется к стене и незаметно плачет, стараясь не тревожить других. Странно... Особенно мучила ее одна простая мысль: на земле все будет теперь без нее — и теплое солнце, и ясное синее небо, и фиолетовые звездные ночи... Кто же захотел ее смерти? Однажды она сказала ему об этом.

— Глупости! Ты будешь жить! — как-то поспешно, но уверенно и даже сердито сказал он, а сердце при этом замерло от страшных слов дочери, и он мысленно молил Бога, чтобы он забрал не Ирочкину, а его, Ветчинкина, нескладную и утомительную жизнь.

В тот вечер Ира написала свое последнее письмо подруге.

«Наташенька, милая моя, здравствуй!

Напишу тебе всего несколько строчек. Ваши письма получила—спасибо. Ответить всем не в силах. Я в больнице. Так получилось, что меня поставили перед необходимостью лечь в больницу. Уколы, которые мне назначили, можно делать только в условиях стационара. Но все лечение проходит под руководством московских врачей. Сейчас ставят диагноз: увеличение лимфоузлов. Откуда это у меня?! Семнадцать лет прожила, понятия о них не имела.

Девочки, знаете, как обидно. Было такое здоровье, а сейчас ходить не могу. Я вам всем очень-очень благодарна за ваше внимание. Без вас мне было бы еще хуже.

Знаешь, Наташа, у меня к тебе просьба: ни слова Валерке, чтобы он ничего обо мне не знал (прости, от слабости расплывается почерк). Ведь когда он уезжал, то обещал писать, но до сих пор нет ни одного письма. Это, конечно, к лучшему, не нужны мне его письма. Просто очень обидно, меня никто еще не бросал. Да все равно. Я, наверно, умру. Ох, Наташенька, а как хочется жить, как я люблю жизнь. Хочется вместе с тобой, как раньше, бежать в школу, идти в кино, дожидаться всего этого снова, готовиться к урокам. Какое это счастье. Господи, ну кто же отнял у меня здоровье?! К тому же — начался агранулоцитоз. Зернистые формы лейкоцитов исчезают из крови. Теперь все микробы мира навалятся на меня... По сути дела, почти пять месяцев идет великое противостояние: я — Смерть, борьба за жизнь.

Иногда мне кажется, что я обязательно выздоровлю. Ведь я была здоровой (снова расплывается почерк, слабость), а иногда кажется, что умру.

С мамой плохо. При мне не плачет, а без меня ей делают какие-то уколы. В общем, дома все сходит с ума. Отец все время твердит: «Это я виноват!» А вчера сказал мне: «Глупости! Ты будешь жить!» — а в глазах при этом такое отчаянье. Но я будто ничего не заметила. И старалась быть веселой. Ох, родные вы мои!

Наташа, передай всем нашим девочкам огромный привет и спасибо. Мне очень хотелось ответить Тане Савушкиной, но совсем нет сил. Татьяна, если мне станет лучше, я напишу тебе. Твои письма мне здорово помогают. Вообще, ты очень хороший человек. Это не просто комплимент. Начала писать Нелле, но тоже не смогла. Так что, девочки, не обижайтесь за такое сборное письмо. Еще раз огромный спасибо. До свиданья. Крепко всех вас целую. Ира».

А через несколько дней бледная приписка:

«Мне стало совсем плохо. Это последнее мое письмо вам всем».

Лерен Петрович увидел вдруг перед собой в пространстве чужое мужское лицо с печальными карими глазами. Почему-то оно стало являться ему в последнее время. Особенно когда что-то мучило и не давало покоя. Порой казалось, что это его собственное лицо. И тогда он, оправдывая, объясняя для себя это видение, думал, что человек должен видеть себя со стороны в трудные минуты жизни.

За день до смерти к ней пришло новое чувство. Она сказала ему очень тихо, почти бесплотно:

— Папочка... Папочка... Я уже отключилась от вас с мамочкой... Отключи... — и снова платок к глазам, а сама прозрачная, словно льдинка.

Лерен Петрович почувствовал, как судорога перехватила дыхание. С силой потер лицо ладонями и незаметно стер едва проступившие слезы.

Но память еще не остыла.

«Тает как свечечка... — услышал он тихие слова старухи, которая лежала напротив дочери и провожала уходившего Ветчинкина сочувственными глазами. — Как свечечка-х...»

Мария Львовна вдруг вспоминающе засмеялась сквозь слезы. Светлые нотки в голосе слышались.

— А помнишь, Лера, когда Ирочке было три годика?.. Какая трогательная была кроха! Сколько надежд дарила нам!.. Помнишь?..

Так они сидели рядом еще долго и шаг за шагом прослеживали всю жизнь их единственной дочери, принесшей им столько радости и столько горя.

Как-то незаметно оба замолкли. Каждый задумался о своем. Лерен Петрович ловил себя на странном чувстве, будто видит Машу совсем молоденькой. Смотрит на теперешнюю, а видит совсем молодую. И хочется что-то такое для нее сделать, так чем-то отблагодарить за всю ее тупую жизнь с ним, за его и за всеобщую атомную вину перед дочерью, такое заветное слово молвить, чтоб она засветилась радостью.

Но все это, ладно звучавшее в нем, внешне проявлялось молчанием и только сопровождалось порою очень преданным, каким-то неммым благодарным взглядом, который Мария Львовна как бы впитывала в себя и смотрела при этом на мужа с горестной отрешенностью. Она будто винила себя в смерти дочери, думала о том возможном чуде, если бы смогла еще родить. Но думала об этом и обреченно, и с радостью одновременно.

«Куда уж мне!.. С моим-то сердцем... Ноги отекают... И жизнь, жизнь-то какая зыбкая... Не вырастим... Лера вон весь седой и серый какой-то стал...»

Но порою ее захлестывала неожиданная ненависть к нему при мысли, что у него еще может быть что-то впереди, новая любовь, дети, а у нее — ничего...

Она прижалась к нему и поцеловала в висок.

— Устал ты, да? — тихо спросила она.

Неожиданно, сам того не желая, но в глубине души надеясь услышать слова поддержки и одобрения, Ветчинкин вдруг сказал:

— Манечка, знаешь что?

— Что, Лера?

— Я теперь... С сегодняшнего то есть дня — заместитель главного инженера по эксплуатации атомной станции...

Мария Львовна перекрестила Лерена Петровича.

— Господь с тобой, Лера!.. И зачем это тебе нужно?.. Ты же турбинист. Испокон века — турбинист... Ты же в этом атомном реакторе ни гугу... Как же ты будешь эксплуатировать его? Лера?..

— Почему — ни гугу?.. Гугу!.. Станцию знаю как свои пять...

— Лера, милый, — смерть это!.. Куда тебе?

— Так уж и смерть...

«Вот и не вытерпел, — подумал Лерен Петрович. — Теперь Манечка всю ночь спать не будет... Дурак же ты, дурак...»

Чувство досады от запоздало осознанной оплошности, Допущенной им, заставило поспешно обнять жену руками будто чужими, ибо в них не было желания ласкать, прижаться к ней, положить голову на плечо и замереть ласково в ожидании ответного порыва. А между тем в голове все было трезво. Даже зло копошились мысли: «Ну и что?! Ну и заместитель главного... Справимся... Станцию знаю! А на атомный реактор целая кодла знатоков... Пустерин, гусь... Заместитель главного по науке... Да и сам Ив Ив работал на бомбовых аппаратах... Пусть крутятся...»

Тело напряглось, несмотря на всю старательно изображаемую им видимость умиротворения. Мария Львовна почувствовала это и холодново спросила:

— О чем кумекаешь-то, Лера?

— Да ты что, Манечка?! Да ни о чем... — спохватился Лерен Петрович, чувствуя, что краснеет.

Мария Львовна резким движением плеч скинула его руку, встала и какой-то отчужденной ушла в спальню.

— Ну вот... — тихо и раздумчиво произнес Лерен Петрович. — Кругом виноват... — И нервно и тщательно потер руками лицо.

2

Мир тесен. Не потому ли, что судьбы людей, словно капли воды, сливаются воедино в большую реку, которая течет неведомо куда и зовется общей судьбой народа? Не потому ли так ищем мы живую родственную душу, волнующее звучание человеческого слова и тянемся, тянемся друг к другу в страхе обжечься, но и с надеждой найти подлинное человеческое тепло, доброту и участие?

Да! Мир тесен. Но и едина судьба наша. И что не смогли, утеряти старшие, пусть смогут и найдут молодые...

— Так клубники хочется, Толик! — воскликнула Ниночка, обращаясь к мужу. — И учти еще! «Сегодня у нас юбилей! Догадайся — какой?!»

Толик вопросительно посмотрел на Ниночку.

— Глупенький! Ведь сегодня исполнилось ровно два года, как мы здесь! Два года!.. Подумать только! Как время быстро летит! Только вчера в институте учились, и уже два года как не бывало... Скажи, Толик, — лицо Ниночки было взволнованным, — скажи, похожа я на преподавателя истории средней школы, а?.. Иногда мне кажется, что я еще такая девчонка, ну... Понимаешь?

— Понимаю, — улыбнулся Толик.

— И ты недалеко ушел! Не задавайся! Подумаешь, атомщик!

Толик (так зовет его Ниночка, да и на работе тоже), инженер — атомный энергетик, и уже два года после окончания Московского энергетического института работает на атомной электростанции старшим инженером управления реактором (сокращенно — СИУР). Это звучит фантастически, напоминает название какой-нибудь планеты, например Сатурн, или скопления звезд.

«Ах ты, мой Сиурчик!» — ласково, не без оттенка гордости порою зовет Толика Ниночка.

После школы Ниночка обычно готовится к урокам завтрашнего дня. Дотошно копается в материалах съездов и пленумов, в других исторических и литературных источниках. По инерции еще после университета старательно разрабатывает каждую тему. Собою всегда недовольна до неуверенности, на уроки идет, сильно волнуясь, но, войдя в класс, преображается, сковывающее волнение покидает ее, а дух творчества и общения с детьми наполняет молодую учительницу энергичной радостью. Когда же у Ниночки окно (нет уроков), а у Толика свободное от вахты время, они проводят вечера среди друзей в соцгородском дискотеке в беседах, спорах и танцах.

Сегодня был как раз такой день, но Ниночка против обыкновения захотела провести вечер дома. Толик с радостью согласился.

Оба они до умопомрачения молоды. Рослые, жизнерадостные. Ниночка вся светится изнутри. Так, по крайней мере, кажется Толику. Уходя на работу, он уносит с собою ее образ как сгусток света, и радости хватает до конца вахты.

Работает он легко, реактор и его физику знает до тонкостей и, кажется, настолько наострился, что стало попахивать от его работы некоторой дерзостью артиста, если не сказать больше — легкомыслием и самоуверенностью.

Но годы! Молодые годы! Когда еще не знаешь, как быстро все проходит! Когда кажется, что все в этом бренном мире сотворено для тебя и вертится вокруг тебя. Живи только! Живи и радуйся!

Живи и радуйся!..

Ниночка подошла к Толику, строго так, внимательно и долго посмотрела ему в глаза.

«Боже! Какой он смешной, — думала она, — круглое, курносое лицо, похожее на мордочку молодого львенка, как ореол, охалка сивых, торчащих во все стороны волос и... добрые, голубые глаза. Беззащитные такие... И губошлеп. Губы- то как у негритоса... Но стройный, высокий, как тростиночка гибкий и сильный...»

Она безмерно верила ему. Жизнь с ним казалась ей Упругой и радостной. Именно своей наполненностью действием, делом. Она верила в важность делаемого ими, хотя где-то в глубине души пусть изредка, но отмечала уже удручающую стереотипность жизни.

«Но так живут все... Все...» — успокаивала она себя.

— Я люблю тебя, Толик! — сказала она тихо и подумала: «Ничего... Все его внешние физические несовершенства в будущих наших детях исправлю я... Толик же называет меня первой красавицей в соцгороде...»

«Таис Афинская!..» — вспомнила она возглас восхищения брошенный как-то вослед ей проходившими молодыми людьми.

И теперь, думая о том важном, что она должна сказать ему, Ниночка испытывала сложное радостно-тревожное чувство, которое скорее выдавало в ней неуверенность, нежели твердую решимость.

Дрогнувшим голосом она сказала негромко:

— Толик... у нас будет ребенок... Толик... — Ниночка вдруг заплакала и припала лицом к груди мужа. И вдруг как-то странно сквозь слезы засмеялась глубоким звонким смехом: — Так клубники хочется, милый... — И вновь обеспокоенно: — Страшно мне что-то...

— Да ты что?! — Толик нежно взял Ниночку руками за голову и, побледневший, стал как-то впопыхах целовать ее лицо, потом руки, потом упал на колени и припал к ее животу. Ощувив тепло и легкий, чуть островатый запах ее тела, с трепетным чувством, шершавая халатом губы, стал жадно целовать ее живот. Она беззвучно, счастливая, смеялась, обожаясь глядя на Толика повлажневшими глубокими глазами и несильно, с чувством легкой стыдливости отстраняя от себя его голову. — Да ты что?! — он вскочил, взял ее на руки и закружил, закружил. — Ха-ха-ха! — кричал, хохотал, улюлюкал Толик, не испытывая при этом стеснения в дыхании и не зная усталости. — Весь вечер! До самой вахты моей танцуем, веселимся!

Он бережно опустил Ниночку на тахту.

Полилась музыка: «Бони М», Демис Русос, электроорган Алекса Сильвани, рок-группа «Зодиак», Алла Пугачева — весь этот чередующийся, сменяющий друг друга шквал звуков, волны воплощенного в музыку буйства молодых душ, все это заполнило маленькую однокомнатную квартиру молодоженов Тяпкиных, вырывалось через щели и открытые фрамуги на улицу, на лестничную клетку, в другие квартиры.

Ниночка поначалу оставалась на тахте, полулежа на боку. Красивое лицо ее, глубокие серые глаза наполнило смущение. Она впервые обратила взоры внутрь себя с особым, тайным смыслом. Она услышала, ощутила, каким-то десятым чувством осознала в себе что-то новое, страшно-радостное, неотвратимое. Она ошалела от шквала буйного внимания и радости, которые обрушил на нее ее Толик, милый Толик, хороший странный львенок.

— Спасибо тебе, спасибо... — шептала она, и слезы снова непроизвольно выступили в ее глазах.

Толик выскочил на кухню, быстро вернулся оттуда с бутылкой шампанского, весь бледный, дрожащими пальцами сорвал стопорящую проволоку.

Б-бах!.. Дым, пена, вино полилось. Он запрокинул голову, обливаясь шампанским, сделал несколько крупных глотков, смешно дергая розовым кадыком. Поднес бутылку Ниночке.

— Один глоток, милая!.. Ма-а-ленький глоточек... За будущего тяпу...

Ниночка сделала глоток, все еще испытывая смущение от столь буйного, непривычного внимания к ней, и, соскочив с тахты, пустилась в пляс.

Они плясали, конвульсивно содрогаясь друг перед другом в новомодных движениях современного танца.

— Тебе на работу, милый... Тебе ж на работу... — в такт «па» говорила Ниночка.

— Автобус в час ночи... А мы имеем только десять часов вечера, — в ритме танца отвечал ей Толик.

«Бони М» надрывались. Отставшая от потолка и висевшая на паутинке полосочка известки вздрагивала и покручивалась в воздухе, сотрясаемая мелодией. Толик и Ниночка плясали уже молча, все более входя в азарт, лица их покрылись испариной. Квадратные плиты щитового паркета, плохо проциклеванные и потому казавшиеся под лаком грязноватыми, проседали и поскрипывали под ногами. Потертые джинсы Толика, расстегнутая на груди оранжевая шелковая рубаша, розовая в просвете грудь в редких завитках волос. Желтый, в движениях переливающийся блеском, атласный халатик Ниночки...

Толик будто впервые смотрел на жену.

«Боже!.. Она ведь другая... Совсем другая стала... Ниночка!..»

Он захотел вдруг остановить мгновение, взял Ниночку на руки, прошел с нею через комнату, опустился на колени, положил ее на тахту.

— Какой ты у меня сильный! — ласково сказала она и взъерошила его львиную гриву.

Толик приблизил свое лицо вплотную к Ниночкиному лицу. Видел будто через увеличительное стекло то большие серые глаза под дугами темных бровей, то нос, прямой и тонкий, с белой нежной кожей на спинке, то четкого рисунка полные пунцовые губы, нежно пахнущие помадой, острый с нежным пушком подбородок, высокий, чуть выпуклый лоб и пышные, пахнущие шампунем легкие и пушистые от недавнего мытья пряди светлых волос. Ему показалось, что по лицу ее пробежала тень отчуждения. Или нет. Оно стало настолько новым, необычным вблизи, что показалось как будто чужим... Или это только показалось...

— Ниночка, ты что?! — с тревогой спросил Толик.

— Я думаю, Толик. Все думаю, думаю...

И тут он понял, что отчуждение в ее лице естественное. Это от очень близкого тщательного рассматривания. Когда женщина как бы теряет непринужденность и невольно позирует, сама того не замечая.

— Я думаю, Толик, что все это кончится...

— Что именно?!

— Вся наша жизнь... И жизнь нашего тяпы, если он родится...

Ниночка не позировала, не играла. Говоря так, она испытывала искреннюю тревогу будущей матери, может быть, незаметно для самой себя несколько преувеличивая опасность, и смотрела на Толика с выражением неподдельного трагизма.

— О чем ты говоришь?! — переспросил Толик.

— А как ты думаешь, — несколько с вызовом сказала она, — твой атом не повлияет на моего ребенка? Не убьет его? — Глаза Ниночки в тревоге расширились.

У Толика все опустилось в душе, и он устало свалился на пол рядом с тахтой.

— Тебе надо будет уехать к маме... — глухо сказал он, тщательно рассматривая белое пятнышко на ногте большого пальца правой руки. Он замечал уже не раз, что пятнышко по мере роста ногтя все более подвигалось к краю.

«Скоро и вовсе сойдет, и я его срежу ножницами...» — как-то безучастно подумал Толик, сбитый с жизнерадостного настроения словами Ниночки. Его всегда и раньше удивляла и обезоруживала эта внезапная перемена в ней, этот, казалось, внешне нелепый переход к какой-то неожиданной и непонятной серьезности.

— Вот живем мы, живем... — продолжала Ниночка, оставив без внимания реплику мужа, — и не знаем, что с нами завтра станет... Ученики вот спрашивают меня: «Нина Ивановна, а отчего взорвался газгольдер на атомной станции?» А реактор атомный не взорвется?.. А, Толик?.. Я думаю о нашем будущем ребенке... Не взорветесь вы там? А?.. — в глазах у Ниночки горели ядовитые огоньки.

— В принципе атомный взрыв исключен... Но тепловой... Тепловой... Теоретически возможен... Выбросы... возможны... осколков деления... Но это настолько маловероятно, что...

— Не стоит об этом и говорить, — закончила за мужа Ниночка.

— Да, — сказал Толик с некоторой таинственностью в голосе.

Ниночка внимательно посмотрела на мужа.

— И сколько же вы этих бяк понасадили на земле России, милый?

Толик оживился.

— Не бяк, а рукотворных дневных звезд, как удачно сказал академик Стирикович!

Он подскочил к карте европейской части Союза, висевшей на стене рядом с трюмо. Карта была исчерчена синими ломаными линиями его с Ниночкой туристских поездок и походов.

— Еще не насадили, но насадим, будь уверена, — уточнил Толик деловито.

Ниночка с укоризной смотрела на него, но он уже увлекся. Выхватил из заднего кармана джинсов пачку фломастеров, которые всегда таскал с собой (нужны были для вычерчивания графиков нейтронной и тепловой мощности реактора), вынул из пачки красный.

— Смотри!

Толик быстро и с увлечением стал малевать жирные красные кружочки на карте европейской части Союза. Красных кружочков становилось все больше, и, наконец, они усеяли собой всю карту.

— Все! — выкрикнул Толик, жирно затушевывая последний кружок и сильно надавливая фломастером, будто ставя точку. — А теперь вот что...

Прямыми толстыми линиями он соединил все кружки, и получилась густая красная сеть с жирными кровавыми узлами на переплетениях нитей.

Толик победно посмотрел на Ниночку и продекламировал:

— На карту Центральной России я красную сеть наложил... — вот тебе и двестише, — сказал он весело и запнулся.

Лицо Ниночки было мрачным.

— Может, не надо иметь детей, милый?.. Давай начнем прожигать жизнь... — В глазах ее заискрились слезы. — Мария Львовна Ветчинкина... Ты знаешь... Ее муж тоже вас на проме работает... Она уже поплатилась... Тоже учитель... Преподает физику... В одной школе работаем... Не знаешь, какое горе постигло ее шесть лет назад? Нет? Единственная дочь их умерла семнадцати лет от роду, кажется, от рака лимфоузлов... Они, Ветчинкины, всю свою трудовую жизнь по атомным центрам мотались...

Она вдруг испугалась своих же слов. Как-то об этом раньше не думала. Хотя, нет! Думала... Думала, конечно, но не придавала этому значения. А вот пришел случай заговорить, поделиться сомнениями, и вдруг что-то прояснилось в ней, застучало тревогой. Это был не испуг, но глубокая озабоченность и ответственность перед тем всеохватно новым, что предстояло ей совершить. Но вслед за тем чувство неожиданного протеста, отторжения, тягучее и тошнотное, захлестнуло ее. Ниночка гневно выпалила:

— Я не буду тебе рожать, милый мой львенок! Не-е буду!.. — И вдруг четко проговорила слова, всегда раньше вызывавшие в ней отвращение: — Я сделаю аборт! — И враз будто отрезвела от этих режущих слов, и ей стало страшно.

— Ты с ума сошла! — Толик побледнел, сморщился, полусогнулся будто от боли, вскинул вверх руки. — Ты с ума сошла! Я убью тебя!

— Вы уже убиваете нас медленно и верно... Успокойся... — Ниночка вдруг села на тахте, поджав ноги. — Сядь!

Толик неохотно сел рядом.

— Знаешь, что я думаю?.. — Ниночка смотрела на мужа как-то по-матерински участливо, что ли. — Сознаете ли вы, атомщики, свою ответственность перед людьми? Живущими ныне и будущими?.. Я внимательно следила за тобой, когда ты чертил... Как легко и радостно наложил ты красную атомную сеть на карту России! Походя, шутя... Так ответь мне: сознаете или нет?..

— Сознаем... — без энтузиазма ответил Толик. — Мы согреваем землю... Мы дарим людям спасительный огонь!..

— Заладил заученное... — Ниночка сухо засмеялась. — Нет! Ничего вы не сознаете!

— Да ты что?! Ты что?! Да ты знаешь, что существует Госатомэнергонадзор, Госсаннадзор за всеми атомными станциями?.. — Толик вдруг замаялся, умолк, будто споткнулся, глядя на Ниночку, о твердую, молчаливую решимость, сквозившую во всем ее облике.

— Ты это твердо решила? — глухо и глядя в сторону спросил он.

— Да! — ответила она с вызовом, и глаза ее влажно заблестели.

Толик в бешенстве вскочил и в чем был бросился бежать из дома. По радио исполняли Гимн Советского Союза. Была полночь. Толик выскочил на улицу, гулко хлопнув дверью подъезда. Автобус в час ночи. До атомной электростанции семь километров по асфальту.

«Ничего... Дотопаем... И покумекать есть о чем...» — подумал Толик Тяпкин и бодро зашагал по проспекту соцгорода в сторону соснового бора.

Чувство недоумения, удивления постепенно заполняло его. Во всем в жизни он любил ясность и четкость. Верность долгу и слову. Глубоко осмысленное и понятое оседало в нем прочно. Длительное пребывание в состоянии неуверенности было ненавистно Толику, требовало немедленного анализа, препарирования ситуации, вылущивания зерна истинного смысла.

Поведение жены казалось нелогичным, непонятным. Он уверен в себе, в своей профессии, в неотложной необходимости атомной нови в энергетике... Конечно, опасно! Конечно, есть риск! Но риск — это необходимый катализатор движения!

— Не-об-хо-ди-мый! — проговорил он вслух. — Пойми, Нинуля!.. — добавил он, чувствуя, что в словах его нет веса, что они какие-то легкие, почти невесомые и будто сами съехали с горки и бесследно исчезли.

— Да... Это так... — как-то потерянно сказал он, с удивлением вслушиваясь в звучание своего голоса в ночи. Отдельно почему-то стал ощущать дыхание свое, потом, забыв о нем, выделил звук шагов по асфальту.

«Иду каким-то придурком... — подумал Толик Тяпкин.— Удивительно!..»

И вместе с тем, как ни странно, он испытывал чувство какого-то неестественного облегчения, вызванного оскорбившим его решением Ниночки. Определенность?.. Может быть... И все же это было скорее всего то состояние внезапной душевной ярости, которое, обманчиво облегчая боль, дает возможность человеку собраться с силами, чтобы превозмочь ее...

3

Дежурная «Волга» пришла в пятнадцать минут второго ночи. Гулко просигналила. Лерен Петрович, одетый, стоял наготове у окна и, отогнув штору, выглядывал в ночь.

Чистенькие, правильные, ровненькие, казалось, рафинированные проспекты и дома соцгорода казались необжитыми Голубоватый свет ночных фонарей, похожий на лунный. ци одной вздрагивающей лампы. Все исправно, все хорошо.. Но почему душа не приросла ко всему этому?..

И снова явилось перед ним лицо незнакомого мужчины с печальными карими глазами, с запечатленной гримасой страдания. И опять ему показалось, что это его собственное лицо...

Лерен Петрович вздрогнул. Видение исчезло.

«Уедем отсюда... Уедем...» — вспомнил он и будто въяве услышал голос жены, увидел молящие глаза.

«Здесь наша Ирочка... — печально подумал Ветчинкин. — Здесь дорогая могилка. Тут и мне конец, и... Ну что же ты, Манечка?.. Мы едины с тобой, едина судьба наша...» — неожиданно в смущении решил он, поддавшись необъяснимому движению души.

Но он помнил, что на Волге, Урале и в Сибири — всюду, где новомодный ядерный век вершил их судьбу, везде атомные городки казались им с Манечкой такими же противоестественными, стерильными, оттертыми от всей остальной нормальной жизни народа и родной природы, везде их поначалу приятно удивляла, а потом придавливала эта чистота и порядок в городках, чем-то напоминавшие чистоту и порядочек в производственных помещениях и боксах атомных объектов.

Не-ет!.. Человек, семья, сообщество людей, народ — не могут жить вне подробностей того особенного, с милыми сердцу деталями обустроенного быта своего дома, города, страны. Нивелирование, причесывание под гребенку, устранение различий, подчеркивающих как бы самую сущность человека,— и есть его оскотление, обезличивание, уничтожение в конце концов.

Лерен Петрович как бы с разгону остановился, отмахнувшись от неожиданно увлекших его ассоциаций, позвонил на блочный щит управления атомной станции, сказал, что пришла машина и что он выехал.

Выходил из квартиры очень тихо, чтобы не разбудить жену. Прихлопывал дверь осторожно, напрягшись и затаив дыхание, и сокрушенно вздохнул и досадливо махнул

рукой, когда французский замок все же довольно звонко щелкнул, хотя он и поджал его ключом. Видимо, застрял и под конец сорвался язычок защелки.

Ночь была теплой. Дурманил медовый запах. Во дворе цвели липы. Впервые за Ветчинкиным пришла «Волга». То все раньше по ночам присылали грузовые «газоны» с фанерными полубудками в кузове.

Водитель дремал. Лерен Петрович дернул дверцу, в салоне вспыхнул красноватый свет. Водитель испуганно вздрогнул и, поторопившись, щелкнул ключом зажигания, не выжав сцепления. Мотор чихнул и заглох. Машина пружинисто клюнула капотом и вновь застыла. В нос ударило густым сладковатым запахом несгоревшей топливной смеси.

Лерен Петрович как-то с опаской, осторожно уселся в холодное кожаное сиденье с брезгливостью, будто садился в эту машину первый и последний раз. Минут десять они ехали по соцгороду. Бросалось в глаза обилие асфальта, подголубленного светом ночных фонарей. Широченная проезжая часть. Чуть не такой же ширины тротуары. Мощные стволы сосен по бокам улиц воспринимались как некая странная декорация. Машина вырулила на шоссе, петляющее в сосновом бору, и понеслась к атомной станции.

Лерен Петрович, ощутив себя важным, значительным человеком, застеснялся вдруг этого нечаянного чувства, стал смотреть по сторонам и думать, что вот-де какой богатющий лес. Однако лучше тут не бродить, а уезжать подальше, эдак километров за тридцать, к реке, к диким пляжам. Начальник отдела внешней дозиметрии Чечеткин, а попросту «внешний дозик», по дружбе поведал ему, что интеграл по активности мало-помалу растет и в радиусе пятидесяти километров грибы да ягоды лучше не брать. В сухих, говорит, остатках где-то худо-бедно нет-нет да и попадутся радионуклиды, осколки то есть, долгоживущие.

И пробегающий мимо сосновый бор, который зарос в межствольях всяческим дикарем и почти не посещался людьми, разве что бабки из соседних деревень прочешут его по утрянке разок-другой и реализуют товар на базаре старого города... Этот бор вызывал у Лерена Петровича то же самое, что и атомный городок, чувство неприятия, отчуждения и брезгливости.

Но тут же он поймал себя на каком-то внутреннем противоречии. Неожиданное движение души, память — увели мысли во времена, когда они только приехали сюда из мест далеких, холодных, со снежными, лютыми зимами. И сколько он мнил себя, его самого и Манечку поддерживало в тех местах одно: надежда, что есть края потеплее, что они рано или поздно вырвутся туда и заживут на новом месте по-доброму, человечески, радостнее и полнее.

Прилив теплой волны заполнил его, когда он вспомнил, каким светлым, нужным, радостным и теплым показался ему этот атомный городок. Как они ходили с Ирочкой и Машей по всем его улицам и проспектам, дивясь белизне домов, чистоте, какой-то невиданной ранее ухоженности асфальта, всяческих песчаных и бетонных дорожек, проросших на стыках плит изумрудной травушкой. И эти заботливо оставленные строителями кусочки леса во дворах и на улицах, обилие цветочных клумб и газонов на проспектах и в палисадниках практически всех домов. Особенно обилие золотой осени в сентябре, горящей ярко-желтыми шарами на длинных гибких стеблях. Все радовало, все грело душу... Огромная просторная школа, чуть ли не лучшая в Союзе, где до сих пор работает Манечка и где училась их Иринка... Колоссальный больничный комплекс... Он тоже поначалу радовал. Ведь забота о людях... Только не шло тогда в голову, отчего столь велик и разветвлен этот комплекс? И будет ли столько больных, чтобы заполнить его палаты?... Больные появились... И целые городки комфортабельных гаражей, автомобили почти у каждого... Чем не жизнь?

Но постепенно это красивое однообразие тускнело, вызывая уныние и тоску. Поначалу Лерен Петрович связывал появившееся чувство отчуждения к этому месту со смертью дочери, но мало-помалу стал понимать, что корни кроются глубже.

Не тоска ли это просто по матушке-земле, по работе пахаря и хлебороба, пробивающаяся во втором и третьем поколениях людей, кинувших эту самую землю на произвол судьбы, гонимых урбанизацией, призывами, а порою и просто новомодными потребностями и завистью к «городским»? Не она ли, эта тоска по приволью русских степей и лесных просторов, пробивается через толщу асфальта, кирпича и бетона, взламывая души и сердца, сея будто свыше, с неба, идущую смуту и недовольство в людях?.. Даром данные города и харч человеку, привыкшему тысячелетиями получать блага жизни трудом праведным на родившей его земле, не это ли томит всех нас?! Не это ли делает плоды дерзновенных рук наших, ворочающих металлом и огнем, пожирающим самую нашу сущность, не это ли чувство страха оторванных от земли перекаати-поле гонит нас в поисках нового приюта?..

Лерен Петрович вздохнул.

Вдруг в лучах света впереди мелькнула фигура человека.

— Остановите! — попросил водителя Лерен Петрович.

Водитель затормозил.

— На смену? — спросил заместитель главного инженера. Стройный молодой человек, обернувшийся в свете фар, показался знакомым. — Я не ошибся? Вы на смену? — переспросил Ветчинкин, припоминая, где же видел этого парня.

«Кажется, на блочном щите управления, — вспомнил он, — физик по реакторам... Да...»

— Угадали, — как-то рассеянно ответил Толик Тяпкин. — На смену.

— Садись, подвезем, — вежливо предложил Лерен Петрович.

— Нет... Спасибо... Я уж лучше промнусь... — отказался Толик, смущенно поглядывая на Ветчинкина.

Он узнал нового заместителя главного инженера по эксплуатации, назначенного к ним день назад. На блочном щите управления по этому поводу шутили: «Теперь управление атомным реактором будет вестись с турбинным креном...»

— Ну, как знаешь... Смотри не опоздай...

— Не опоздаю.

Отказ СИУРа смутил Лерена Петровича. Он почувствовал, что лицу стало жарко, гулко захлопнул дверцу, и «Волга» с ревом взяла с места. Красные стоп-сигналы ярко пылали, удаляясь в ночи.

«Как аварийные огни ламп на щите операторов после срабатывания защиты реактора... — подумал Толик Тяпкин. — Не хватает только ревуна...»

На гигантском бархатно-черном блочном щите неба звездами мерцали сигнальные огни Вселенной.

4

Партийно-хозяйственный актив министерства подходил к концу. В работе актива принимал участие заместитель Председателя Совета Министров Союза. Он выступил с краткой убедительной речью. Сильно сутулый, с головой, глубоко сидящей в плечах, которую он то и дело выдвигал будто из Укрытия, зампред обликом своим чем-то походил на большую старую черепаху. Глухим, но четким голосом, спокойно глядя в зал и медленно, с достоинством поворачивая голову вправо-влево, он говорил, что партия и правительство,

учитывая всю важность задачи по наращиванию атомных энерго мощностей, помнят вместе с тем о том, что атомные электростанции должны быть предельно надежными и безопасными. Государство, говорил он, не жалеет средств на создание поистине безопасных атомных энергообъектов, идет на удорожание и удлинение сроков строительства во имя максимально возможного повышения их надежности...

После окончания актива зампред, которого сопровождали ответственные работники Госплана, а также заведующий отделом ЦК партии, маленький толстый человек с круглым непроницаемым лицом, собрал на совещание в кабинете у министра всех членов коллегии министерства.

Зампред выглядел утомленным. Лицо его было отекшее, нездорового цвета, редкие, истонченные седые волосы сегодня как-то особенно взбито торчали вверх, напоминая его знакомый по портретам ежик времен довоенной молодости, но зато глубоко сидящие серые глаза были внимательны и смотрели испытующе. Чуть выдвинув голову из плеч, он окинул взглядом собравшихся и глухо произнес с усилением на конце фразы, так что сказанное прозвучало полувопросом:

— Послушаем, товарищи, министра Крайского. — И, помолчав немного, уже твердо спросил: — Скажите, Семен Павлович, как вы оцениваете последнюю американскую аварию на атомной станции в Пенсильвании? И какие выводы в связи с этим сделало ваше министерство?

Семидесятипятилетний Семен Павлович Крайский густо покраснел, как это всегда с ним случалось в подобных случаях, и на багровой лысине сразу стал заметен спутанный клубок седых волосин. Он столь бодро встал, что уместнее было бы сказать — вскочил, резко двинув креслом, и начал докладывать, как всегда, бодрым хрипловатым голосом, гладко, что называется, без сучка и задоринки, чувствуя свое колоссальное преимущество перед гостями в знании специального материала и не очень боясь ошибиться.

— Артем Николаевич! — обратился он к заместителю Председателя Совета Министров, упершись сжатыми красными кулаками в столешницу. — Авария произошла на АЭС с водородным реактором. Ситуация предельно простая. Отказали питательные насосы парогенераторов. Аварийные питательные насосы уже три недели находились в ремонте. Парогенератор оказался без воды и не смог отводить тепло от первого контура, вырабатываемое атомным реактором. В первом контуре резко возросли температура и давление воды...

— Популярнее! — попросил зампред, быстро выдвинув голову из плеч.

Министр сбился. По широкому багровому лицу его скользнула тень недовольства. Он оторвал руки от стола, начал жестикулировать, изображая в воздухе корпус реактора, активную зону и контур циркуляции. Голос мало-помалу вернулся к привычной тональности.

— Артем Николаевич!.. Говоря попросту, резко ухудшилось охлаждение топливных урановых кассет из-за снижения расхода теплоносителя. Нейтронная мощность, особенно в центральной части активной зоны, в несколько раз превысила допустимую по запасу до кризиса. Кассеты расплавились. Осколки радиоактивного топлива с долгоживущими радионуклидами попали в теплоноситель, в пар... В дальнейшем ошибки, допущенные эксплуатационным персоналом, привели к попаданию радиоактивности и гремучей смеси в пространство под защитной оболочкой и к незначительному выбросу их во внешнюю среду...

Министру вдруг показалось, что голова зампреда глубже ушла в плечи, а глаза стали беспомощными. Но нет. Это ему только показалось.

— Вот, понимаете!.. — воскликнул зампред, вскинув голову и как-то заученно улыбнувшись. — Не заведешь ли ты нас, товарищ Крайский, не в ту степь?.. Не забросашь ли нас нуклидами?.. — Зампред хрипло хехекнул и, успокоившись, уже строго, стуча согнутым указательным пальцем по столу, предупредил: — Смотри мне, Семен Павлович! Мы с тебя строго взыщем, если что... Докладывай, как у тебя с безопасностью!.. Только четко.

Крайский, поджав, истово облизнул губы, чуть взбычил голову и, глядя прямо в глаза зампреду своими острыми черными глазами из-под сильно отекавших верхних век, будто исподлобья, твердо отчеканил:

— Артем Николаевич!.. У нас предусмотрены надежные системы подавления и локализации даже предельной проектной аварии! Устройство локализации с бассейном-барбатером, система аварийного обеспечения реактора водой, система управления защитой реактора... Таких систем у нас, как видите, — три. Или, как у нас здесь говорят, — «три по сто». — Министр утробно хохотнул, довольный своей шуткой. — Что означает: три системы безопасности по сто процентов обеспечения. И каждая зарезервирована...

— Хорошо... — перебил его зампред, и было похоже, что он озабочен услышанным. — Скажи, Семен Павлович. — В глазах зампреда попеременно читались то недоверие, то почтение к министру, к его многотрудной задаче по наращиванию атомных энерго мощностей с необходимостью безусловного удержания «атомных джиннов» в плотно закупоренных сосудах. Голова зампреда свободно покачивалась на старой морщинистой шее. — Скажи, положи руку на сердце, как на духу... А другого пути утечки радиоактивной заразы, помимо этих твоих «три по сто», нет?

— Нет! — почти рывкнул в ответ министр, но где-то в голосе его скрипнула нотка неуверенности.

— Хорошо... Спасибо, товарищи!.. — И снова к министру, переходя на «вы»: — Ну что ж, товарищ Крайский, мы вам доверяем, но и спрос будет, что называется, полной мерой!

Когда гости уехали, министр оставил всех своих замов и членов коллегии в кабинете. Беспокойство, то ли осадок какой-то остался у него на душе после отъезда зампреда. В глубине поднялось нечто наподобие возмущения, негодования на то, что в нем усомнились, что его слова, одного из самых авторитетных министров правительства, зампред позволил себе обыграть в полушутливом тоне, что бешеный, чудовищный по емкости достигнутого результата опыт последнего двадцатилетия, утвердивший под ним прочную, казалось, незыблемую почву и авторитет, вдруг, как ему только сейчас, после этого совещания, стало казаться, словно бы разжижились, почва под ногами вздрогнула и поплыла.

«Нет!» — все будто вскрикнуло в нем, он крепче ухватился за край стола, чтобы не покачнуться, потому что горячая волна коротким толчком неожиданно ударила в голову.

«Нет!» — еще раз мысленно сказал он уже спокойнее, подавив в себе волну эмоционального всплеска.

Да... Центральный Комитет партии, народный контроль обложили его министерство, самого министра со всех сторон. Его жестко контролируют на всех этажах и звеньях сложнейшего хозяйственного механизма. Так оно и должно быть... Но все же где-то, в чем-то Крайский чувствовал себя выше, вне этого контроля. Это «выше», это «вне» составляло именно ту самую разницу в уровне компетентности в специальных вопросах, где он был неуязвимым.

И вот теперь... Человек, обладающий большей, чем он, властью, но некомпетентный в специальных атомных вопросах, позволил себе усомниться в заверениях уважаемого министра.

Нет!.. Настроение Семена Павловича Крайского определенно испортилось. Из-под припухших век он быстрым взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, окинул собравшихся.

— Слышали, товарищи?! Зампред... Артем Николаевич... усомнился в правомерности наших заверений касательно безопасности атомных станций...

Министр сделал паузу.

Длинный массивный дубовый стол, за которым сидели члены коллегии, и вытянутые ручки микрофонов против каждого напоминали какое-то странное в сочетании с сидящими за ним людьми устройство для старта или взлета. И действительно, отсюда довольно часто взлетали и уходили в реальную жизнь серьезнейшие решения, коренным образом изменявшие жизнь и деятельность целых регионов огромной страны...

— Я повторяю! — усилил интонацию Крайский. — Совет Министров, да, именно, позволил себе усомниться в наших заверениях касательно безопасности АЭС... Что скажете вы, товарищ Смешков?.. Я вас спрашиваю! Начальник главного управления по эксплуатации!

Смешков встал, но продолжал молчать, обдумывая ответ. На сухоньком остроносом лице чуть виновато поблескивали большие серые глаза.

Министр раздраженно подтолкнул его:

— Вы, Смешков, двадцать пять лет эксплуатируете атомные реакторы. Что вы скажете по поводу наших гарантий безопасности?

— Семен Павлович!.. — сказал Смешков мягко, слегка дрожащим голосом, как было всегда, когда его «хватали за горло». — Вы знаете не хуже меня... — Смешков выразительно посмотрел на министра.

— Я хочу утвердиться в своем мнении, послушав вас, например... — пробурчал министр, и все почувствовали, что у него немного отлегло.

— Семен Павлович... Кроме тех мер организационно-технического порядка, которые мы приняли, есть еще живые люди...

— Ты хочешь сказать, — подхватил министр, переходя на «ты», — что какой-нибудь псих, извините за выражение, может нарушить инструкцию и заколбасить предельную проектную аварию?.. — И тут же, не дожидаясь ответа, приказал: — На все атомные площадки в медсанчасти направить психиатров. Два раза в год проводить проверку оперативных работников атомных станций на психическую выносливость и соответствие занимаемой должности... Спандарян, распорядитесь!..

Всех развеселил неожиданный поворот дела. Недавно прибывший в министерство новый заместитель министра по кадрам, направленный сюда на работу из аппарата ЦК партии, шутливо заметил безо всякого заднего смысла голосом, не утратившим до конца былой власти:

— Вот если бы это мероприятие решило все наши трудности!

Министр вскипел:

— Вы, товарищ Истомин, молчите! Я вам слова не давал!.. — И уже взорвавшись и переходя на крик: — Работая в аппарате ЦК, вы все время указывали мне, как работать, холку мылили... — Министр постучал ребром пухлой ладони по своей жирной холке. И вдруг засмеялся. — Видишь, какую мозоль наработал мне? — И посерьезнел. — А теперь прошу вас, товарищ Истомин, — позитивные предложения!.. И кадрами займитесь попристальней... Илью Василича Булдыгина — во знаток! Собаку съел на атомном деле, а куда ты его угнал с подачи уважаемого Ивана Ивановича Громова? На новостройку?.. Учти, что произойдет на Приморской, — ответ за тобой!

Истомин, весь красный, слушал, опустив глаза. Сказал очень мягко:

— Семен Павлович... Пустерин — атомный волк почище Булдыгина...

— Ну ладно, смотрите мне... — сказал министр примирительно. — Я устал... Смешков, завтра мне на стол перечень мероприятий, что мы еще недодумали. И проект докладной записки Председателю Совета Министров о мерах по повышению безопасности атомных станций.

— В девять утра будет у вас на столе, Семен Павлович, — поспешил заверить министра Смешков.

Когда все ушли, министр встал из-за стола и, сразу превратившись в усталого низкорослого старичка, растерянно озираясь и высоко вздернув плечи, глянул на циферблат. Часы показывали двадцать три ноль-ноль.

5

После того как Толик, выслушав ее жесткие слова и хлопнув дверью, раньше времени убежал на работу, Ниночка Тяпкина не находила себе места. Ощущение покинутости и одиночества не оставляло ее. Она то ложилась в постель и, укутавшись в жаркое шерстяное одеяло, застывала в неподвижности, глядя перед собою в темноту, то вскакивала вдруг с тахты рывком, включала свет, шлепала босыми ногами по лакированному паркету, одетая в ситцевую с большими красными розами ночную рубашку, нервно бегала по комнате, ощущая подошвами холод лака, раздражаясь, что в новой квартире (вселились полгода назад) уже сыплется со стен и потолка штукатурка, пузырятся около плинтусов обои, что нету еще ковра на полу, что капают в кухне и в ванной комнате краны, хотя Толик уже по пять раз менял уплотнения...

«Но это все пустяки!.. — думала Ниночка, мельком поглядывая то на карту, захлестнутую красной атомной сетью, то на себя в трюмо и отмечая где-то в глубине и с удовлетворением, что хороша, хороша-то собою весьма. — Главное не это... Главное — другое...»

Она снова плюхнулась в постель, укуталась в одеяло, выключила бра и замерла.

«Главное — другое... Зачем я родилась?... Зачем живу?...»

Вспыхнули тут в ее памяти светлые окна школы, то веселые, когда уверена в себе, то тревожные, когда в сомнениях, звонки на урок и с урока. Возбуждающий, зовущий к жизни гомон ребятишек, их доверчивые, нетерпеливые глаза и лица, ждущие обязательного ответа на все вопросы. Их рты, открытые в ожидании — что же будет дальше. Их неожиданно трогательные, беззащитные затылки, когда, пройдя по классу и повернувшись, останавливаешься в смятении. Сорок детских затылочков так всколыхивают душу, так обостряют чувство тревоги и ответственности за судьбу всех детей... Нет! Счастье быть с ними, видеть каждый день... Учить их... Любить их!..

Глаза Ниночки горели в темноте. Она широко улыбнулась и, прижав руки к пополневшей за последние три месяца и твердеющей уже груди, сжалась в комочек и счастливо взвизгнула.

«Господи, господи, господи!..» — вздохнула она в растерянности, не уверенная, что же ей теперь делать, куда деваться, и нахлынувшая было радость отошла, подступили слезы, и она, сморкаясь и хлюпая в край прижатого к лицу одеяла, ощущая неприятный вкус длинных пресных волосин, отдающих еще верблюжьим запахом, запричитала:

— Что же будет со мною, Толик, мамочка?! Неужто я родилась красивая и здоровая, в степной привольной России и должна жить здесь, среди невидимого, но злого атома, в этой

Растрескавшейся однокомнатной секции?.. И здесь должна родить и растить больным или полууродом своего тятку и иссушать душу от соцгородской скуки среди его красивых камней и асфальта?.. А книги?... Книги... Зачем я прочла столько книг, зачем с золотой медалью окончила школу и с отличием университет?.. Что же это такое?

Она металась, выискивая все новые причины теперешнего удрученного состояния, в глубине души понимая, что истинные причины в другом. Ведь, в сущности, у нее все хорошо. Не в ее ли решении, сообщенном час назад Толику, кроется все. Ниночка с удивлением и тревогой стала думать о своем намерении избавиться от беременности. Неужели она способна на это... преступление?

«Крепко подумай, прежде чем сделать серьезный шаг!» — часто говорила ей в детстве мать. Но Ниночка хотя и запомнила эти слова матери, но оставляла их тогда как бы без внимания. А теперь, с расстояния времени, все сказанное в те давние времена матерью обрело над ней неожиданную власть родового закона, преступить который она теперь не могла.

«То, что от Бога, — говорила ей бабушка, — то праведно!»

И Толик у нее от Бога, и ребеночек под сердцем тоже от Бога... Как же она могла сказать такое страшное своему Толику, родному мужу, от которого она зачала и который от Бога? Так ведь говорят в народе: первый муж от Бога, второй от людей, третий — от дьявола...

Она заплакала теми легкими очищающими слезами, которые бывают только у молодоженов. После них становится легко и радостно. В первые месяцы после свадьбы они с То- ликом после мелких ссор и обид плакали дуэтом, ослепленные любовью друг к другу, плакали подолгу, и незначительное слово или упоминание о нанесенной обиде вызывало новый приступ рыданий. Какие это были прекрасные слезы! После них наступал долгий и счастливый мир, а души будто рождались заново.

Со временем Толик утратил способность к этим святым слезам очищения. А у Ниночки осталось. И она частенько поплакивала потом одна.

— Нет, Толик, я не сделаю этого... Ты ведь простишь меня, глупую? Ты не бросишь меня?

Она плакала, словно очищаясь от греха, на путь которого чуть было не ступила, от яда иллюзий, отравивших ей разум. Но постепенно трезвея, все более задумывалась над будущей своей судьбой.

«Крепко подумай, прежде чем сделать серьезный шаг», — снова прозвучали в ней слова матери, она перестала плакать и притихла, задумавшись.

«Что же это я? — спохватилась Ниночка, вновь ощутив легкую тревогу. — Как же я могу не думать об этом? Ира Ветчинкина ведь умерла. Это правда. И нельзя от этой правды укрыться... Я же волнуюсь, Толик. Пойми же меня...»

Порою она не узнавала, пугалась себя, своей безжалостной душевной обнаженности, когда оказывалась перед собственным внутренним судом.

Так было частенько и в детстве.

Она верила в свое детство, в его суровую деревенскую простоту, в крепость его устоев и законов. Оттуда, из своего детства, она унесла с собой во взрослую жизнь любовь к родной земле, к лесам и полям, к дедушкиному саду над рекой...

И потому ей теперь так не хватало степей, вольного ветра, запаха родной земли, цветущего дедушкиного сада, синей пашни вдаль, назема, скрипа телеги на проселке...

Да! Она хотела незамысловатой, долгой и простой жизни. И смерти... Такой же естественной и простой, как эта жизнь.

— Да, я хочу простой жизни... Я рождена для нее, — прошептала Ниночка. — Я хочу учить сельских ребятишек, бегать со своим Тяпкой по лугам и собирать цветы. И жить волей и

согласием с родной природой. Разве это грех?.. Но что же я?! Неужели все это от нынешнего сознания, что то, о чем мечтала в детстве, в юности, хоть и вот оно, в руках, но не совсем такое?.. Но у меня ведь есть любимая работа. Я люблю своего львенка — он честный, сильный и хороший парень. Он романтик, и ему кажется, что он Прометей... Мы с ним пляшем под «Бони М»... И у меня уже растет животик... Я так люблю свой животик, мамочка, я люблю своего ребеночка, он уже есть, есть!.. И меня любит Толик. Это же счастье!.. Дура ты, дура! Не смей ныть!.. Ты рвалась в этот век! Все мы в него рвались... Из деревень, из лесов и полей. Вот он — наше ядовитое создание!.. Не нравится?.. Так измени его к лучшему! Измени!..

Она снова включила свет, встала, подошла к зеркалу, скинула с плеч бретельки и спустила ночную рубашу ниже груди, прижав ее локтями к бокам. Схватила руками груди, розовые, тугие, с темнеющими сосками, сильно нажала. Из сосков выступили прозрачные капельки.

— Грудь сгниет... — вдруг сказала она глухим голосом, с презрением глядя на свое отражение в зеркале. Исказила лицо в уродливой гримасе. — Вот тебе! Вот тебе! Уродина!.. Сгниешь!.. Вся сгниешь!.. — Покачнувшись, схватилась за виски. Рубаша упала на пол. Она стояла перед зеркалом голая. Уродливая гримаса исчезла с ее лица. Глядя на себя долго и пристально, она незаметно уходила в забытие. Плоть постепенно будто истаявала, исчезала, и она явственно увидела в зеркале стройный белокостный скелет. Свой скелет...

Широко открывая рот, она несколько раз громко клацнула зубами. Скелет, грозно ощерясь, вторил ей.

Когда забытие вдруг оставило ее, она увидела, что поглаживает свой тугий живот, натянувшийся широким выпуклым барабаном. Потом ударила ладошками по натянутой коже живота. Глухой звук ушел внутрь тела. Туда, где...

Не думая, зачем, почему это делает, она одним рывком сорвала со стены карту России, захлестнутую красной атомной сетью с жирными кровавыми узлами на переплетениях нитей. На стене, у кнопок, клиньями загнулись обрывки карты. Ниночка приложила, будто примерила карту к животу. В зеркале отразилась красная атомная сеть на фоне лесов, полей и рек. Красная сеть как раз, будто нарочно, вписалась точно в размеры живота.

Не отнимая от себя карту, Ниночка сказала задумчивым низким голосом:

На карту Центральной России

Он красную сеть наложил...

Она расхохоталась. В глазах выступили слезы. Изорвала карту в клочья, разбросав обрывки по комнате.

— Господи! — упала она на колени перед зеркалом и, вспомнив не раз слышанную в детстве и хорошо запомнившуюся бабушкину молитву, обращенную к ангелу-хранителю, прокричала в слезах:

— Ангел Божий, Хранитель мой Святой, от всякого зла сохрани мя и дитя мое!..

Ниночка припала ниже и коснулась лбом пола. Ощутила слабый, еще не выветрившийся до конца запах лака. Встала. Пошатываясь, обессиленная, прошла к тахте, погасила свет и, упав на постель, расслабленно забылась. Но забытие недолго владело ею.

«Господи!.. Что надо людям?! Что надо?!» — Она бережно пощупала свой растущий живот, вообразила уже родившееся дитя, тепленькое, кряхтящее, беспомощное, чмокающее крохотными губками, требующее защиты и помощи. Такое слабое и такое всесильное, будто в нем сошлось требование всего человечества: мира! Воли! Хлеба! Солнца! Жизни!..

Все существо Ниночки наполнило ликующее чувство, вскрылившее, обезумевшее ее, будущую мать человека. Она встала на колени, в темноте нежно, трепетными руками

обводила на подушке контуры воображаемого ребенка, принималась к нему щеками, целовала, лила слезы и вдруг, широко открыв глаза, сказала в темноту:

— Не-ет! Мы, женщины, в ответе за жизнь, за детей — больше, чем мужчины! Так почему же мы бежим за ними, как собачонки, почему не выбегаем вперед, не останавливаем их, не заглядываем глубоко в их глаза, полыхающие безумной страстью открывать все новые и новые пути уничтожения жизни?! Почему? Мы ведь сила! Мы ведь такая сила!..

Вконец истомленная, она внезапно отключилась и, упав на бок, заснула крепким сном без сновидений и кошмаров.

6

Лерен Петрович отпустил «Волгу» в гараж. В проходной показал пропуск, с радостью узнал стройного, седого, сухонького, долго где-то пропадавшего вахтера военизированной охраны, какого-то вышколенного, всегда очень аккуратного и чем-то напоминающего старого преданного фамильного швейцара из санкт-петербургских знатных домов, о коих он читывал в романах писателей девятнадцатого века.

«А барыни дома нету!..» — вдруг почудилось Ветчинкину в ответ на «здравствуйте»!

Лерен Петрович с грустью подумал, что скоро не станет и этого вахтера здесь — охрану атомных станций в ближайшее время передадут внутренним войскам.

Войдя на территорию атомной электростанции и пройдя небольшой лесок, он увидел вдруг атомный энергоблок весь сразу на фоне черного неба, казалось, несущийся словно огромный океанский лайнер и мерцающий красными навигационными огнями на стопятидесятиметровой вентиляционной трубе и по контуру кровли. Там и тут, в разных местах колоссального железобетонного корпуса электростанции матово струился парок из каких-то труб и дыр, просвеченный лучами прожекторов и наружных фонарей.

Пройдя в административно-бытовой корпус, где располагались санпропускники, Ветчинкин не стал переодеваться, надел только поверх костюма белый лавсановый халат, белый чепец на голову, сменил обувь на специально принесенные из дому для хождения по грязной зоне коричневые полуботинки с перфорированным верхом, прошел по эстакаде, соединяющей административный корпус с атомным энергоблоком, и вошел в помещение, смежное с деаэрационной этажеркой (блок помещений, где установлены деаэрационные баки, удаляющие кислород из воды).

Мощный ровный гул атомной электростанции окутал его. Теплый вонючий воздух помещений энергоблока, несущий в себе запахи растворов дезактивации и разогретого металла, ударил в нос Лерену Петровичу, когда он прошел эстакаду, сплошь застекленную с боков и сверху и заставленную ящиками с цветами. Лерен Петрович поморщился, притерпелся к запаху, к шуму, пошлепал, пришаркивая по пластикату, в направлении к коридору деаэрационной этажерки на отметку плюс двенадцать, откуда имелся выход в машинный зал, а также вход в помещение блочного щита управления атомной станции.

Проходя по помещениям, он отмечал про себя плохое качество строительных работ: бугристость и неровность стен по вертикали и горизонтали, шелушащуюся местами эпоксидную краску, какой-то внешне неопрятный вид почерневшего и порою вздувшегося пластиката.

«Да-а... Сюда иностранную делегацию не поведешь...» — печально подумал Лерен Петрович, проходя мимо двери с табличкой «БЩУ» (блочный щит управления) и испытывая

при этом нежелание входить в помещение пульта управления АЭС, теперь уже в качестве заместителя главного инженера по эксплуатации.

А ведь всего двумя днями раньше, будучи начальником турбинного цеха, он влетал в помещение блочного щита с легкой душой, с шутками-прибаутками, шел к своей правой турбинной части как хозяин...

«Эх!.. Вольному — воля!..» — горестно усмехнулся Ветчинкин, ощущая, как по мере приближения к турбинному залу грудь стала дышать свободнее, сердце забилося спокойней и сильнее, и, казалось, он готов был нырнуть навсегда, безвозвратно в родную свою стихию, в дело, которому он отдал, почитай, всю трудовую жизнь.

Он вошел в турбинный зал на двенадцатую отметку, и желанный гул родных турбин окутал, закружил голову, увлек по ярусам и площадкам. Он обходил оборудование, будто прощался с ним, не щупал, а будто обнимался с насосами, с трубопроводами и арматурой, приложился всей грудью, раскинув руки, и приник щекой к цилиндрам сначала одной, потом другой турбины, постоял возле конденсаторов, похлопал их по боковым крышкам словно старых приятелей, обошел вокруг маслостанций генераторов, вдыхая вкусный сытный запах паров разогретого турбинного масла, проверил слив масла на всех подшипниках турбин, походил около стопорнодроссельных клапанов, наблюдая, как автоматически, с шипением отрабатывали вверх-вниз от воздействия регулятора скорости блестящие полированные штоки.

Подошел дежурный машинист турбинного зала Задорнов, глыбастый, коротконогий, грубо скроенный. Приветливая жиденькая улыбочка брезжила на невыразительном лице. Маленькие лукавые черные глазки, чуть коснувшись лица Лерена Петровича, тут же в смущении уплывали в сторону.

Этот лижущий взгляд машиниста давно уже забавлял Ветчинкина. Он протянул машинисту руку. Тот с готовностью, даже как-то второпях, будто не ждал, подхватил ее своей короткопалой железной лапой и, сильно сотрясая, повторял:

— С назначеньцем вас, Лерен Петрович, с назначеньцем! Рады за вас и горды весьма... Из нашей, так сказать, турбинной братии...

— Спасибо! — сказал Лерен Петрович, с трудом выдернув руку из цепкой ладони машиниста. — Как дела, Иван?

— Все путем, Лерен Петрович... Мощность вот слегка подснизили... Вырубилась подстанция Северная... Ну, вот и смена идет, — сказал Задорнов, — пойду сдавать...

В этот миг что-то ухнуло. Гул в машинном зале стал лавинно опадать. Задорнова будто ветром сдуло, смена тоже побежала выручать машиниста.

У Ветчинкина заглохло в груди.

«Отвалилась единственная линия выдачи электрической мощности!.. Подскочит давление в реакторе, сработают предохранительные клапана... Все ясно!..» — мелькнуло у него, и он, сильно побледнев, побежал из машинного зала в сторону блочного щита управления, туда, откуда единственно только и можно было обозреть всю ситуацию, воссоздав ее до мелочей по показаниям приборов и самописцев.

«Ну, вот и началось!.. Влип... — сокрушенно подумал Ветчинкин, задыхаясь от бега и волнения. — Теперь ты отвечаешь за все, товарищ заместитель главного инженера по эксплуатации! С ходу в бой!..»

И снова ощутил сердце, которое колотилось где-то у самого горла...

Мария Львовна Ветчинкина не спала. Она слышала сигнал дежурной «Волги», слышала, как уходил муж, на цыпочках, но очень неуклюже ступая и скрипя половицами, слышала, как звенел он ключами и как щелкнул напоследок французский замок.

Окна в спальне были зашторены, свет от уличных фонарей, напоминающий лунный, проникал в комнату, падал голубоватым пятном на пол, ломался у плинтуса и напалзл треугольником на стену, обесцветив рисунок на обоях.

После смерти дочери Мария Львовна поначалу и вовсе не спала, только забудется на минуту-другую иссушенная горем душа ее и вдруг спохватится, испугается своего, как ей казалось, невысказанного кошмара и плачет снова от обиды и боли, от удивления горького перед этой внезапной смертью, противоестественным, чудовищным, несправедливым отторжением от нее дорогого, казалось, навеки сросшегося с ней юного существа, дочери, сгусточка света, солнца и радости... Девочка с ясной головкой, умница, в отрочестве своем уже обещавшая стать в зрелости красивой женщиной, красивой той самой спокойной степной красотой Средней России, которая невысказана без внутреннего света, врожденной доброты, как бы наполняющей все существо, заботливой матерью, продолжательницей рода степных русских людей, откуда и сама-то Мария Львовна вышла.

После смерти дочери Мария Львовна как-то сникла, стыдилась своего яркого румянца (дочь умерла, а мать румяная ходит), опустилась, стала даже неряшливой и нарвалась в конце концов на резкое замечание завуча, которое как бы встряхнуло ее, но ненадолго.

Внешняя сторона жизни словно бы перестала не то чтобы существовать, но потеряла то первостепенное значение, какое она имела в ее жизни раньше.

Муж ее, Лерен Петрович, «вечный турбинист», как она звала его в шутку, существовал где-то в стороне, вне ее жизни, превратился словно бы в тень, в ничего не значащую для нее фигуру.

Уроки в школе вела рассеянно, с лицом отсутствующим и безразличным. Ученики, сочувствуя ее горю, сидели на уроках тихо, добивали сами из учебных пособий то, чего недодавала им теперь она. Словом, щадили, потому что любили Марию Львовну и ее умершую дочь, которая недавно только училась в их школе и была пионервожатой в шестых классах.

Оцепенение от горя, постигшего Марию Львовну, проходило очень медленно, но все же проходило. Живущий человек должен выдюжить, пережить свое горе или умереть. И Мария Львовна выдюжила, но заметила, да и муж ее тоже, что стала она другим человеком.

Красота и опрятность вернулись к ней, но стало все это как-то холоднее и циничнее, что ли. В суждениях своих она стала резка и категорична, часто обижала людей, коллег по работе, учеников. Исчезли в ее поведении те полутона и связующие душевные нотки, без которых общение между людьми тускнеет, иссушается и в конце концов становится невозможным.

Смерть дочери как бы унесла с собою талант общения, доброту и нежность души, непосредственность излияния чувств. Она сознавала это, надо было что-то делать, и Мария Львовна пошла к врачу. Врач прописал ей мепробомат, седуксен. Она глотала эти транквилизаторы в больших количествах, одеревенела от них, оглохла душой. Порою, несмотря на кажущуюся успокоенность, срывалась с мужем на скандалы, во время которых атомная вина его перед дочерью распалялась в ее сознании, она ненавидела его и, ей казалось, хотела развода.

Лерен Петрович выхлопотал для жены у себя на работе дорогую путевку в один из привилегированных южных санаториев и проводил ее в дорогу в надежде, что вернется она поздоровевшей и отдохнувшей.

В санатории Мария Львовна первое время везде бродила одна, ибо палата у нее оказалась одноместной и на редкость комфортабельной — с санузлом, с душем и ванной, естественной спутницы в прогулках и хождениях на процедуры не было, только в столовой, где она питалась, за одним столом с ней сидел шестидесятилетний ученый-москвич из сельскохозяйственной академии, приехавший подлечиться и отдохнуть после очень напряженной работы по подготовке и защите докторской диссертации.

Новоиспеченный доктор поначалу выглядел весьма помятым и дохлым, но через десяток дней порозовел, очухался, стал явно замечать Марию Львовну, а потом оказывать ей всяческие знаки внимания. То розанчик в целлофане положит до ее прихода рядом с приборами, то плитку дорогого шоколада, то и вовсе однажды с букетом цветов пришел, вызвав тем самым завистливые взоры и восклицания женщин за соседними столами.

Мария Львовна при виде таких знаков внимания краснела, вскидывала высоко брови, непроизвольно расширяла глаза, журила соседа по столу, но мало-помалу и незаметно все чаще Называлась в его обществе на прогулках, в хождениях на процедуры.

«Старикашка», как она звала про себя Михаила Ивановича, был интересным собеседником, умело и очень научно «пудрил» мозги по поводу сельскохозяйственных проблем и других трудных и проклятых сторон и вопросов быстротекущей жизни. Она как-то незаметно доверилась, привыкла к нему.

Старикашка, несмотря на свои шестьдесят, был высок и статен. Глаза серые, большие и выразительные, всегда слегка влажноваты то ли уже от старости, то ли от эмоциональной наполненности.

Словом, когда он зашел к ней однажды вечером после ужина поделиться последними международными новостями, с газетой в руках, Мария Львовна нисколько не смутилась, встретила гостя приветливо и только, когда приблизилась к нему, чтобы взять газету, и увидела его вытянувшуюся, вдруг отупевшую, с обвисшими щеками и подбородком, какую-то серую козью физиономию, испугалась, побледнела, сердце заколотилось, ноги стали ватными.

И когда он молниеносно защелкнул замок и, плюхнувшись перед ней на колени, обхватил руками ее бедра и что-то сбивчивое бормотал ей в живот, дыханием пробив одежду и горяча кожу, Мария Львовна в состоянии какого-то полузабытья, вызванного стремительностью атаки Старикашки, а больше от стыда перед ним и в отчаянье, что допустила слабость, еще какое-то время стояла в нерешительности, потом опомнилась, увидела на плешистом черепе ухажера сухую склеротическую кожу с чешуйками перхоти, и ее вдруг стала бить дрожь.

— Т-тебе х-холодно?! — спросил Старикашка голосом, прерывающимся от одышки. От него пахло старыми газетами.

Ее охватил такой приступ брезгливости и презрения к чужому человеку, стоявшему перед ней на коленях, что она вдруг резким движением бедер вырвалась, бросилась к окну и, туго затянув халатик, закричала почти истерически:

— Уйдите! Немедленно уйдите! Вы... Вы... Мерзкий, жалкий!..

Доктор наук встал, отряхнул колени, подобрал газету и молча удалился, так и не достигнув еще одного, быть может, последнего в своей жизни реально осязаемого результата.

Мария Львовна в тот же вечер собралась и наутро покинула фешенебельный санаторий с тяжелым чувством в сердце.

Дома она против обыкновения злилась на Лерена Петровича, в душе проклинала его за эту полубезумную, нескладную жизнь. Потом, вспомнив неожиданно свою вину перед ним, начинала ластиться к нему, как-то неестественно и затаенно, как тигрица, заглядывала в глаза мужу и пыталась что-то прочесть в них.

Лерен же Петрович был, как всегда, мягок и ласков с ней. Часто ночами, когда они лежали рядом и подолгу и как-то утомительно, как ей казалось, молчали, она вдруг спрашивала его:

— Лерочка, милый, зачем мы живем?

— Станный вопрос... — отвечал Лерен Петрович, думая о своем.

А думал он чаще всего ни о чем. Просто так текли какие-то картины перед глазами. Память подсовывала то деревенское детство, скамью у плетня, грязь по колено, не успевающую просыхать от дождя к дождю, холмистые поля вокруг, чередующиеся то паром, то зелеными, а потом желтеющие зрелой, идущей под ветром волнами пшеницей... То вдруг откуда ни возьмись директор атомной станции Ив Ив заглядывал в глаза своими хитрыми совещательными глазами, то умирающая Ирочка, шепчущая почти бесплотно уже: «Папочка... Мамочка... Я отключилась от вас... Отключи...» — то гул турбин напал на него, возвышаясь до высокого металлического визга, то запахи, вонючие и тошнотные, боксов электростанции лезли в нос, душили и заставляли чихать или делать глубокие вентилирующие вдохи, то вдруг всплывало перед глазами багровое властное лицо министра Крайского, приезжавшего поздравлять коллектив с пуском очередного энергоблока мощностью миллион киловатт... Белые дома, цветы, боксы, вонь...

Лерен Петрович всхрапывал наконец, а сердце Марии Львовны сжималось от боли. Глаза ее наполнялись слезами, она долго и беззвучно плакала и засыпала за полночь каким-то дурманным, ядовитым сном, от которого утром болела голова и потом ныла весь день.

Мария Львовна шевельнулась в постели, сбрасывая охватившее ее оцепенение. Световое прямоугольное пятно на полу исчезло. На улице погасили фонари. Спать пора!..

— Ах, Лера, Лера!.. — прошептала Мария Львовна. — то же нам делать?

Какое-то немножко утиное, доброе бледное лицо мужа, былой здоровый цвет которого сожрали атомные турбины, встало теперь перед мысленным взором. Густые, сильно посеревшие от седины волосы всегда гладко зачесаны назад. Большой улыбчивый рот, крупная щербинка между верхними резцами...

Лицо Лерена Петровича вдруг улыбнулось Марии Львовне, карий глаз подмигнул весело и задорно: «Ничего, мол, Манечка, перевалим через зиму, а там легче будет...»

Потом лицо мужа стало расплываться, расплываться, и по-степенно образ его рассеялся. Мария Львовна вздохнула: Сколько уж зим перевалили, Лера... Сколько уж...

Ощущение пустоты и бессмысленности жизни после смерти дочери постепенно сменилось думами о возможности рождения нового ребенка, но думалось об этом вяло, без энтузиазма и радости. Мария Львовна не чувствовала в себе ни физических уже, ни духовных сил на такой подвиг. Начинать жизнь сначала с другим человеком она тоже не собиралась. В семье ее матери повелось испокон века иметь и любить одного мужа, который от Бога. С Лерой она срослась. Да и что уж там... Хороший он... А срыв в санатории...

«Этого уже никогда не повторится, до самой смерти!.. — поклялась вдруг и истово перекрестилась Мария Львовна. — Истинный крест, Лерочка, истинный крест!..»

И беспокойство за мужа, единственного в этой жизни после матери (отец ее давно умер) человека по-настоящему дорогого, доброго и близкого, не на шутку охватило ее.

«Куда уж ему это замство?.. Угробят они его...» — думала Мария Львовна, затравленно глотая слезы.

Министр Семен Павлович Крайский вернулся домой с работы поздно, когда старинные часы в холле-прихожей, облицованной дорогим темным матированным деревом, отбивали полночь. Он быстро разделся, бросив костюм и сорочку в стоявшее рядом с телевизором бордовое кресло, отделанное резным красным деревом, в трусах подошел к зеркалу и с брезгливым выражением на лице осмотрел свой жидкий вздутый животик, висящие на дряблых складках жира соски, густые с природным косым расчесом волосы на груди, сквозь которые тут и там виднелись красно-сизые закупорки разных размеров, кривоватые ноги, обтянутые сухонькой кожей, сквозь которую просвечивали синеватые вздутые вены, правда, без варикозных узлов и трофических язв, чем он внутренне гордился (ведь могло быть и хуже... За спиной чудовищный труд...). Ноги эти носили его еще довольно бодро, а вот руки — жиденькие наросты дряблого жира вместо мышц... Но зато красные большие и сильные ладони с короткими толстыми пальцами, казалось, чем-то выдавали сущность своего хозяина, были беспокойными, в постоянном движении, хват имели железный, словом, бездельем избалованы не были. Да еще лицо — умное, живое, обветренное многими ветрами и пургами, с вечным уже загаром, контрастно выделялось на фоне дряблого, в младенческих ямочках, иссиня-белого тела министра, еще вселяя в него надежду.

«Продержимся! Пробьемся!.. Куда?! — усмехнулся он и же сам себе ответил: — Вперед!»

Истово, всей пятерней, как это делают обычно в полном одиночестве, почесав багровую лысину и взъерошив остатки волос на затылке и висках, Крайский двинул в ванную комнату с тревогой отметив про себя, что веки у него отекли сегодня больше обычного.

Семен Павлович мылился бурно, фыркал. Зеркало, вмонтированное в стену против ванны, отражало взбитые бугры пены на плечах, руках, груди. Фантастически модная снежно-белая шевелюра закрывала его багровую плешь. Фигура его в узлах и буклях пены стала казаться атлетической, помолодевшей. А сам он и впрямь после энергичного массажа мочалкой почувствовал бодрость, кровь почти по-молодому гудела в жилах. Видавший виды министр тяжелейшей отрасли улыбнулся своему фантастически помолодевшему отражению, подмигнул левым глазом. Движение век было слишком энергичным, мыло попало в глаз и стало жечь сухой дергающей болью, напомнившей ему сразу не столь давнее кровоизлияние в левом глазу, изрядно испугавшее тогда и воспринятое как некое дурное предзнаменование.

Настроение сразу испортилось. Как гвоздь, как досадная заноза, в голове выстопорился было притихший, но подспудно мучивший вопрос зампреда: «А другого пути утечки радиоактивной заразы наружу помимо этих твоих — «три по сто» нет?..»

«Утечки, конечно, были, уважаемый Артем Николаевич...» — мысленно ответил он зампреду.

Быстро обмывшись и зябко укутавшись в махровый халат, сразу наполнившись злой, раздражающей силой, министр, громко шаркая шлепанцами по художественному, тщательно отлакированному паркету, прошел к себе в кабинет и лег на диван. Его слегка знобило. Он понимал, что это не простуда. Озноб был нервный, от невозможности тут же, немедленно излить накопившийся гнев.

«Были, были утечки...» — думал он, мысленно прошвыриваясь по минувшему бурному двадцатилетию. Одни утечки, что поменьше, скрыли от него начальники и директора заводов, покрупнее — скрыл он сам, да простит его Господь, в которого он никогда не верил... Скрыл от ЦК, от правительства, ибо это то, что в народе называют: «где пьют, там и льют», «лес рубят — щепки летят»... Важен результат. А результат есть!.. Результат ошеломительный. Есть, существует новая, невиданная доселе промышленность. Мощь и

гордость державы!.. Он сам неоднократно облучался еще в курчатовские времена, но ничего — жив...

Министр упустил при этом только одну немаловажную деталь, что те, не столь значительные дозы, о которых он так хорошо помнит, были получены им, когда ему было уже далеко за пятьдесят. А до того он, директор алюминиевого комбината, и слыхом не слыхивал, что это за зверь—облучение и с чем его едят...

Учуяв тогда «струю» и ринувшись с головой в новомодное и архиважное дело, он всем доказал, что такое Крайский: отличное здоровье, бульдожья хватка, предельная исполнительность «вверх» и жесточайшее деловое администрирование «вниз» — и итог налицо... Недавно вот бурно справили семидесятипятилетие... Да-а... Вырастил армию сильных людей и специалистов, стаю «атомных волков», как он любил про себя называть своих выдвиженцев.

Все путем!

«Но что-то все же просочилось в ЦК и Совмин... Это определенно...» — с беспокойством в сердце подумал Семен Павлович. Он-то знал, как круто и бесповоротно могут решить «там» в кратчайшие сроки его судьбу...

Порою казалось, что надо уходить самому, и в то же время прекрасно понимал, что «самому» так просто уйти не дадут.

«Но что же все-таки просочилось «наверх»?..» — подумал он, засыпая и сразу окунувшись в кошмарные сновидения.

Но Крайский беспокоился зря. «Наверх» ничего особенного не просочилось. Просто невиданные масштабы поставленной задачи по наращиванию атомных энергетических мощностей и стремительный разворот работ заставили партию и правительство более пристально и по-новому взглянуть на проблему сохранения среды обитания человека.

9

Остановившись в десятке шагов от блочного щита управления атомной станции и немного отдышавшись, Лерен Петрович вошел в помещение БЩУ, придав себе вид спокойный и важный.

Блочный щит управления атомной станцией всегда вызывал в Ветчинкине чувство скрытого уважения с оттенком некоторой боязни. И хотя правую, турбинную часть он знал, что называется, назубок, средняя и левая, реакторная, были для него вещью в себе.

Блочный щит управления встретил Лерена Петровича напряженными спинами операторов в белых лавсановых костюмах, непрерывным перезвоном аварийных и предупредительных звуковых сигналов, сопровождаемых перемигиванием тысяч круглых разноцветных лампочек, прямоугольных пластиков, блочных табло и мнемонических схем, неприятно действующих на нервы.

«Типичная аварийная обстановка...» — мелькнуло у Ветчинкина.

Его никто не замечал. Начальник смены атомной электростанции, тоже в белом лавсановом костюме, коротконогий, вислозадый, с сильно покатыми, будто обвисшими под тяжестью плечами, также стоял спиной к Ветчинкину, водил головой туда-сюда, шныряя взглядом по щитам с приборами, фиксируя сигналы и оценивая тяжесть ситуации. Изредка его рывкающие властные окрики вносили коррективы в действия операторов. Иногда он срывался с места, хватал тот или иной ключ управления и, лихорадочно щелкая им, ибо автоматика «отвалилась», подтягивал тот или иной параметр до терпимого значения.

За пультом управления сидел высокий белобрысый парень, в котором Лерен Петрович сразу же узнал встреченного им на дороге час назад молодого человека.

Не заявляя в этой суматохе о себе и как бы осваиваясь на блочном щите управления станцией в новом качестве, Лерен Петрович словно впервые осмотрел продолговатое помещение БЩУ, вдоль противоположной стены которого выстроились так называемые панели щита операторов с вмонтированными в них самописцами, лагометрами, малогабаритными показывающими приборами, кнопками и ключами управления, мнемоническими схемами и табло предупредительной и аварийной световой и звуковой сигнализации, сельсинами — указателями положения стержней системы управления защитой реактора, мнемоническим табло, моделирующим расположение технологических каналов атомного реактора, крупноэкранным телевизором, с помощью которого можно было при желании заглянуть в любое из основных технологических помещений атомной электростанции.

И все эти многочисленные приборы и табло светили разноцветными огнями, мигали, звенели, ревели ревунами, дрыгали стрелками показывающих приборов то на «зашкал», то на «нуль». Словом, происходила перед глазами Лерена Петровича та самая вакханалия звуков и света, которая характерна для переходного или аварийного режимов атомной электростанции, когда каждый прибор, каждая лампочка, звонок и ревун словно бы говорят, что у них «болит» и как сильно «болит»...

Слева, у самой стены, надрывно стучали, будто состязаясь и перегоняя друг друга, две автоматических пишущих машинки вычислительного комплекса, выпускающие из себя бесконечную белую полосу диаграммной бумаги, на которой фиксировались распечатки расходов теплоносителя в технологических каналах реактора и нейтронная мощность как поканально, так и суммарно.

Ближе к Лерену Петровичу полудугой размещались горизонтальные, с небольшим уклоном, панели пульта операторов с расположенными на них ключами и кнопками управления, показывающими приборами и сигнальными табло.

За панелями пульта сидели три оператора, управляющие слева направо соответственно реактором, теплоэнергетическим оборудованием электростанции и турбинным оборудованием машинного зала.

За спиной у Лерена Петровича, который подошел почти вплотную к жестикулирующему и выкрикивающему команды начальнику смены АЭС Сарыгину, располагались два вмонтированных в пол двухтумбовых письменных стола с телефонами и дисплеями (телеэкранами) для заместителей главного инженера по науке и по эксплуатации.

Сарыгин наконец заметил Ветчинкина, бешено дернул в его сторону глазами и, несколько приосадив бас, сказал, яростно подмигнув Лерену Петровичу:

— Посиди за своим столом... Свяжись пока с диспетчером энергосистемы... Они нам устроили, черти... Отключили без предупреждения энергосистему от станции!.. Ха-ха!.. — с иронией выдал Сарыгин, хотя можно было сказать проще:

«ЛЭП выбило по защите». (Отключение от перегрузки.)

Лерен Петрович в смущении отошел к своему столу, но по яростному, какому-то сверхотчаянному подмигиванию Сарыгина понял, что дела — хуже некуда.

Его мучило теперь, что он вроде не у дел, что не знает, к чему и как пристать, приложиться в этой какофонии звуковых и световых сигналов, как вмешаться и повести за собою действия операторов, начальника смены и вообще... весь атомный технологический процесс.

Лерен Петрович сидел за своим законным теперь письменным столом, и затравленно поглядывал на все происходящее мутноватыми покрасневшими глазами, и не знал, куда деть

руки. Наконец он догадался позвонить домой главному инженеру Пустерину, забыл в суматохе и оглушенный своим смущением, что надо было бы раньше связаться с энергосистемой.

Пустерин спросонок долго кряхтел, дакал, нукал, наконец вошел в голос и хрипло забасил:

— Упали, стало быть?.. Та-ак... С диспетчером энергосистемы говорил? Нет?.. Переговори... Но в любом случае — стабилизируйтесь на «нулях» и скорее кочегарьте реактор... Сопли не жуйте... Отравиться недолго... Свалитесь в йодную яму (отравление реактора радиоактивным йодом, паразитно захватывающим нейтроны и не позволяющим до завершения своего распада поднимать мощность реактора) — потеряете время... За это по головке не погладят... Ты меня понял?..

— Понял, Корней Иванович!

— Поднимайте нейтронную мощность! И быстрее!.. Запас по реактивности хилый... Правда, там на двадцати пяти технологических каналах подзагрузили свежие топливные сборки... Но будьте осторожны... Не перекосите нейтронный поток...

— Я вас понял, Корней Иванович! — отвечал будто заученно Лерен Петрович, пытаюсь на ходу собрать все сказанное главным инженером в единую стройную модель с прогнозом на конечный результат, как это он привык делать уже много лет со своими родными турбинами. Но четкой модели не получалось, результат не прослеживался, и потому, видно, Пустерин, уловив в голосе Ветчинкина неуверенность, добавил:

— С Сарыгиным держись плотнее. Он знаток... А СИУР кто там на смене?

— Белобрысый такой...

— На львенка похож?.. Тяпкин... СИУР что надо! Словом, опора у тебя есть. Кочегарься... Звони, если что... Буди, не стесняйся... — Пустерин бросил трубку.

А между тем звонки, зуммерение, световые блики и подмигивания на щитах стали как-то реже, одиночнее, что ли, режим все более и более стабилизировался, в помещении блочного щита управления стало наконец и вовсе тихо, начальник смены АЭС Сарыгин подошел к Ветчинкину и доложил:

— Лерен Петрович! Вышли на исходные «нули» к подъему нейтронной мощности. Надо скорее подниматься, пока не отравились и не остыли... Прощу добро...

— Приступайте, — сказал Лерен Петрович несколько неуверенным голосом и взял трубку связи с диспетчером энергосистемы.

Диспетчер ответил не сразу, а когда взял трубку, голос его прозвучал несколько виновато.

— Ну как у вас там?... Простите, с кем имею?

— Заместитель главного инженера по эксплуатации Ветчинкин Лерен Петрович.

— Новенький... — прозвучало на том конце провода несколько раздумчиво, но, вдруг спохватившись, диспетчер бодро отчеканил: — Через час линию включим, Лерен Петрович!. И Северная-Трегубов к утру подоспеет... А может, и к четырем часам утра... Так что — милости просим, будьте готовы!

— Будем! — твердо сказал Ветчинкин и, пожелав успеха, положил трубку.

Толик Тяпкин встал с кресла и прошелся взад-вперед вдоль пультов. Вид у него был удрученный, хотя он изо всех сил старался выглядеть спокойным.

Лерен Петрович почуял слабину в парне, обрадовался возможности с нейтрального разговора войти в контакт и обрести тем самым первый мостик хотя бы к одному из операторов, от которого сегодня прежде всего зависит, как быстро они «поднимутся» и начнут крутить киловатты.

Толик же Тяпкин неотступно, с того самого момента, как покинул дом, думал о чудовищном Ниночкином решении, не понимал, не хотел понимать ее, обрушивал мысленно

на нее то гневные и обличительные, то ласковые и молящие речи, всем существом своим стремился домой, скорее домой. Иногда он будто успокаивался, когда ему казалось, что Ниночка должна, не может не согласиться с ним. Но вскоре снова начинали мучить сомнения и страхи.

«А вдруг она стоит на своем!..»

Его жгло нетерпение, ему хотелось скорее приступить хоть к какому-нибудь делу, забыться, уйти от печальных мыслей, перебыть будто в забытии эти томительные часы и оказаться рядом с женой. Он ее убедит!.. Это сумасшествие! Так нельзя... Он ее убедит!

Толик все прохаживался взад-вперед, прислушиваясь к тому, что говорил Сарыгин, и поджидая, когда тот закончит разбираться с правым и центральным операторами. Сам Толик был готов к подъему нейтронной мощности. Исходное состояние — циркуляция теплоносителя через технологические каналы и уровень воды в барабан-сепараторах были в норме.

Лерен Петрович, широко улыбаясь щербатым ртом, подошел и тронул Тяпкина за рукав.

— Ну как дотопал?.. Анатолий... Не ошибся?.. А как по батюшке?

— Михайлович, — ответил Толик, смущенно улыбнувшись, и остановился против Ветчинкина, видимо, ожидая распоряжений.

Лерен Петрович чутьем уловил в СИУРе внутреннюю готовность к сотрудничеству, подчинению и, забыв о только что заданном вопросе, крикнул начальнику смены:

— Митрофан Николаевич!

Сарыгин как-то скользяще, будто юзом, пересек помещение блочного щита управления, быстро перебирая толстыми короткими ногами и выдвинув правое плечо несколько вперед. Круглое, сильно скуластое лицо Сарыгина, спокойный взгляд синих глаз, глубоко сидящих под остро наплывшими надбровьями, выражали готовность к немедленному действию. Весь он был разгоряченный, вспотевший, и над спортивным ежиком каштановых волос, казалось, парило.

Лерен Петрович, подавляя смущение — как-никак первый раз в жизни отдает распоряжение о пуске атомной электростанции — и пытаясь придать голосу большую твердость и уверенность, сказал, полуспрашивая, полуутверждая:

— Начали подъем?..

— Так точно, Лерен Петрович! — бодро выпалил Сарыгин, но по тону голоса и по всему виду начальника смены АЭС Ветчинкин так и не смог понять, принимает ли тот его всерьез. Что-то все же смутило Лерена Петровича. В груди у него все как-то помимо его воли сжалось, но он сдержался и, стараясь не сникнуть на глазах у подчиненных, через силу бодро сказал:

— Тогда — потопали! — и неожиданно для самого себя Добавил: — Я буду тут с твоим СИУРом Анатолием Михайловичем... Подучусь немного... — Ветчинкин, смущенно улыбаясь и весь покрывшись испариной, подмигнул Сарыгину. — А ты, Митрофан Николаевич, займись правой стороной... И контролируй нас тут почаще... — И поправился: — Меня больше... Я ведь тут новичок...

— Отлично! — бодро отчеканил Сарыгин, и Лерену Петровичу вновь послышалась еле уловимая странная интонация в голосе начальника смены, мол, «обошлись бы и без тебя, но раз уж ты здесь, делать нечего...».

Лерен Петрович вновь ощутил неприятную волну в груди от сознания своей ненужности здесь, но вместе с тем логика сложившейся ситуации, неожиданно вщелкнувшая его как патрон в обойму аварийного режима, невольно разозлила Ветчинкина, он уверенно прошел в проход между пультом СИУРа и панелями щита операторов, облокотился о панель пульта

несколько левее Толика Тяпкина, чтобы не мешать обзору, и застыл, внимательно следя за ним и фиксируя в памяти каждое действие старшего инженера управления реактором.

Толик взвел стержни аварийной защиты, проверил уставки приборов аварийной защиты реактора по нейтронной мощности и скорости разгона, «подзагрубил» их, чтобы не мешали более оперативному набору нагрузки, — и понеслось!

Работал он быстро, споро, казалось, шутя. Реактор еще не успел остыть, а потому за скоростью его разогрева, как это делается при выходе на мощность из холодного состояния, следить особенно не надо.

— МКУ (минимально контролируемый уровень нейтронной мощности)! — через некоторое время выкрикнул Толик Тяпкин повернувшись в сторону Сарыгина.

— Лады, — ответил тот, занятый правой стороной.

— Давай, давай дальше!.. — сначала еле слышно, а потом все более громко и настойчиво подталкивал Толика Лерен Петрович.

Он вроде почувствовал себя увереннее, ему казалось теперь, что он в некоей мере приблизился уже к ядерной физике. Какой-то неожиданный внутренний азарт, игрока не игрока, все более распалялся в нем. Он даже нервно всхрикнул и эдак быстро и весело потер вдруг очень сухими руками, ощутив в них при этом даже разряд статического электричества.

— Десять процентов от номинала! — выкрикнул Толик и с озабоченностью добавил: — Подотравились, что ли?.. Эффективность стержней СУЗ (системы управления защитой реактора) несколько подснизилась.

Сарыгин мигом подскочил к нему.

— Снизилась, говоришь? Ничего... Тяни до тридцати процентов, а там стабилизируем режим и замкнемся на барбатеры. Глядишь, пока энергосистема подготовит нам линию электропередачи, подотравимся и попрем дальше... Усек?

Толик молча кивнул, продолжая набор мощности.

Сарыгин сказал все это громко, внятно, как никогда обычно не говорил, и Лерен Петрович понял, что это для него. Учат... Сердце у него забилося убыстренней. На обычно серых щеках выступил грязноватый румянец, широкий утиный нос покрылся бисеринками пота.

Злость на Ив Ива и на Пустерина внезапно накатила на него, оглушила, он несколько раз внутренне чертыхнулся, проклиная тот час и день, когда по мягкотелости дал согласие идти в заместители главного инженера по эксплуатации. Вспышка гнева отключила его на какое-то время от действий СИУРа. Он пропустил целый ряд операций и, услышав наконец выкрик Толика: «Тридцать процентов от номинала!» — почему-то облегченно вздохнул.

«Слава богу!.. Первый этап пронесло!» — подумал Ветчинкин и мысленно перекрестился.

Посмотрел на часы. Было ровно три часа ночи. Лерен Петрович прошел к своему столу и сел за спинами операторов.

Вдруг на городском телефоне, который стоял по левую руку от Толика Тяпкина, послышался робкий звонок (телефон приглушили, чтобы не путать с рабочими звонками). У Толика почему-то екнуло сердце. Он снял трубку и грубовато пробасил:

— БЩУ! Тяпкин слушает!

— То-о-лик!.. — послышался в капсуле писклявый голосок Ниночки. — Прости меня, Толик... Милый мой львенок!

Толик покраснел до корней волос и опасливо оглянулся — не слышит ли кто. Но грудь, сердце, все существо его начала заполнять теплая, необыкновенно светлая волна нежности и ответного порыва к жене. Ноги как-то сами невольно вспляснули под козырьком панели, и, если бы никого не было, он бы гаркнул «Ура!».

— Ну хорошо, хорошо, Ниночка, — сказал он ей, прикрыв микрофон рукой и сдобрив свой басок солидной порцией нежности.

— Я никогда больше так не буду, слышишь? — тоненько, с дрожью в голосе прокричала Ниночка. — У тебя будет, будет Тяпка, топотушечка!.. Сын будет у тебя, ясно тебе это или нет?!

— Ясно... — пробурчал Толик, весь дрожа от волнения и охватившего его вдруг чувства благодарности к жене. Но тут же почти прервал ее, потому что неожиданно заметил, что все приборы и табло расплываются перед глазами, а у него ведь тридцать процентов нейтронной мощности от номинала. Надо держать ухо востро!.. — Ну все, Ниночка... Тут у нас небольшой переполох... До утра... Целую...

10

Лерен Петрович сидел за столом задумавшись. Расслабленность, охватившая его после спада первой волны напряжения, не проходила. Как обычно в минуты расслабления, какие-то картины, мысли прокручивались в голове сами по себе. Он, как и все теперь в помещении блочного щита управления АЭС, ждал звонка от диспетчера энергосистемы, ждал известий о включении в работу линии выдачи электрической мощности, и тогда... Тогда он форсирует набор электрической нагрузки и... к чертовой матери!.. Уйдет домой...

Где-то в самой глубине сознания, помимо его желания и воли, будто бил кто-то клювиком в скорлупку, скребся по-мышьиному, попискивал и каким-то вторым или третьим планом фиксировалось, итожилось: «Ах! Как мы хрупки перед этими гигантами! Нами же созданными... Кто же кого сильнее?! Кто кого ведет в этом мире огня, бетона и стали?.. В этом пекле творения?.. Что есть наши жизни, каждая отдельно жизнь, перед средоточием этой мощи, когда вот ты, Ветчинкин, не уверен, не умеешь управлять этой машиной?.. А сколько таких неумелых, полумелых?.. Скольких жизнь в жуткой своей коловерти наделяет дьявольским самомнением лжевладык создаваемой мощи?.. И если гигантов ядерной энергетики становится с каждым годом все больше и больше, от десятков и сотен их количество достигнет тысяч, кто может с полной уверенностью предсказать характер и направленность последствий от возможных предельных аварий и катастроф?.. Какие честность и мужество в настоящем и открытый взгляд в будущее нужны тут, чтобы дети и внуки тысяч и миллионов людей на земле не сказали однажды предсмертным шепотом, как это сказала незабвенная моя доченька: «Папочки... Мамочки... Мы уже отключились от вас... Мы уже навсегда покидаем этот мир... Мир без будущего... Ибо сами мы не способны зачать в себе и продлить жизнь...»

Лерен Петрович вздрогнул, поежился. Этот где-то третьим планом спонтанно прозвучавший голос совести, не тронув его сознания, все-таки встревожил его, вызвал легкий, казалось, произвольный озноб. Мучимый каким-то предчувствием, он томился своим пребыванием у пульта управления атомной электростанцией, инстинктивно хотел откреститься, отбояриться от этого сложного и опасного дела, с трудно и спорно предсказуемыми последствиями, но... Было уже поздно. Его уже давно втянули, заложили деталью в этот колоссальный механизм производства энергии, он уже включился в бесконечный круговорот сменяющих друг друга людей, коллективов, событий... Каждый день, каждую ночь, недели, месяцы, годы... И в эту круговорот втянуты сегодня и министры, и государственные деятели. И горе всем, если произойдет просчет! Цепь едина, разрыв ее страшен и губителен для самой жизни...

Раздался призывный и одновременно пугающий зуммер телефона диспетчера энергосистемы, и Ветчинкин странно медленно потянулся к трубке, неохотно возвращаясь от полузабытья к яви.

— Обе линии выдачи электрической мощности включены в работу! — бодро отчеканил диспетчер.

— Вас понял!

Лерен Петрович решительно встал, громко отодвинул стул и приказал подскочившему Сарыгину:

— Кочегарьте реактор!.. Подкопим пар на конденсаторы, а там разворот турбин и воткнемся в сеть... Часа хватит?

— Должно хватить... — Сарыгин фотографирующе зыркнул на Ветчинкина, удивляясь неожиданной прыти нового заместителя главного инженера.

Лерен Петрович вновь занял место чуть левее и впереди Толика Тяпкина.

Ловко орудуя ключами управления, при каждом нажатии на которые раздавался смачный щелчок реле: клоц-клоц, клоц, — Толик продолжил подъем мощности.

— Быстрее, быстрее, Анатолий Михайлович, — в каком-то нервном нетерпении, торопя скорее себя, нежели Тяпкина, бубнил Лерен Петрович.

— Быстрее нельзя, — улыбнулся Толик, зыркнув на Ветчинкина, — надо соблюдать шаговость в подъеме стержней... Подтянул немного вверх, остановись, подожди, пока нейтрончики успокоятся. И так все время...

— Быстрее, быстрее, быстрее!.. — не вняв объяснениям СИУРа, в каком-то ступоре продолжал давить Лерен Петрович, уже рассеянно глядя перед собой и одновременно устало думая: «Господи! Да почему же во мне все так аморфно? Почему я не могу плюнуть на все и уйти?.. Уйти от дела мне скучного, незнакомого?.. А Манечка сейчас не спит... Приняла, наверное, сорок капель корвалола, а сна все равно нет... Нет сна... Почему же в этой жизни нет сна?.. Когда можно будет спать спокойно?.. Сколько хочется...»

«На том свете... На том свете...» — пропищал в нем кто-то мышинным голосом на заднем плане.

«Я отключилась от вас, папочка... мамочка... Я отключилась от вас...» — услышал он снова голос дочери, но не от видения в палате, не от зримого образа.. Видения не было...

Клоц-клоц, — смачно чавкали ключи оператора. Голос дочери слышался откуда-то из пространства.

Лерен Петрович встряхнулся и переключил внимание.

С правой стороны блочного щита управления вовсю трудились операторы-турбинисты. Им активно помогал Сарыгин, то нажимая на кнопки переключения арматуры, то клоцая ключами управления. Напряженно и даже несколько воинственно урчали тысячи приборов, деловито позванивала предупредительная сигнализация, сопровождаемая вспышками табло. Пахло лаками, красками, приборной смазкой.

— Обе турбины на холостых оборотах! — зычно рявкнул Сарыгин и снял трубку телефона диспетчера энергосистемы. Ему ответили. — Внимание. Система! Синхронизируюсь!.. Прошу внимания!.. Включаю первую машину! Есть! Воткнулись!.. Теперь — вторую!.. Есть!.. — радостно сообщил всем Сарыгин, огненно сверкнув своими глубоко сидящими глазами, будто их на мгновение подсветили изнутри.

— Толик, поддай мощи! Нужен пар! — поторапливал он Тяпкина, сам проверяя распечатку значений нейтронной мощности по каналам реактора. Запас еще был.

Когда каждая турбина несла уже по триста мегаватт активной нагрузки, Толик Тяпкин отпрянул вдруг на спинку кресла и весело сообщил, вскинув руки вверх:

— У меня все! Стержни СУЗ (системы управления защитой) наверху. Надо ждать разотравления активной зоны. Мощность к концу смены подтянется. Мегаватт на сто, но не более...

— Как это так?! До отключения линии электропередачи атомная станция несла нагрузку миллион киловатт!.. — вмешался Лерен Петрович, совсем уже было успокоившийся, решивший, что дело сделано, и собиравшийся вызвать дежурную «Волгу». — Нам нужен миллион! Тяните еще!

— А куда тянуть?.. — рассмеялся Толик, весь сияя, — Все стержни наверху... Ну, правда, не все... Кроме вот этих двух... На малом котле (малая критмасса, состоящая из двадцати пяти топливных сборок). — Он указал Лерену Петровичу на нижний левый квадрант мнемотабло активной зоны реактора. — Тут вчера подзагрузили свежее топливо... Но их тянуть опасно. Можем перекосить нейтронный поток. И... расплавить топливные урановые сборки... Последствия... — Толик вздыбил обеими пятернями свои белобрысые волосы. — Бр-р-р! Страшно подумать...

— Митрофан Николаевич! — позвал Ветчинкин начальника смены атомной станции.

Сарыгин подкатил юзом, загребая правым плечом. Выслушал заместителя главного инженера по эксплуатации, почесал затылок.

— Дело рискованное... Но... Сейчас посмотрим...

Сарыгин стал внимательно изучать распечатки вычислительной машины по «малому котлу». К нему присоединился и Толик Тяпкин. Запас до кризиса теплоотдачи (до расплавления активной зоны) был. Тяпкин и Сарыгин посмотрели друг на друга.

— Тяни! — приказал Сарыгин.

— Ну вот... А ты боялся!.. — сказал Лерен Петрович Толику, широко улыбаясь и впервые за последние два часа ощутив необычайный прилив бодрости и уверенности в себе.

Он стал упруго и деловито прохаживаться взад-вперед перед Толиком, сунув руки в карманы лавсанового халата и сильно надавив вниз, так что плечи ощутили натяжение. Он был определенно доволен собой. Как-никак — первое толковое оперативное указание.

Электрическая нагрузка на турбогенераторах возросла до четырехсот пятидесяти мегаватт на каждом.

— Все путем, все путем... — бубнил, прохаживаясь, Лерен Петрович и с нетерпением ожидая выхода на миллион.

Сарыгин стоял, держа в руках распечатки поканальной нейтронной мощности, и лицо его приобретало все более озабоченное выражение.

— Странно... — пробасил он. — Странно, почему вычислительная машина не фиксирует рост нейтронной мощности на «малом котле»?.. Ведь мы тянем стержни СУЗ именно здесь...

Лицо начальника смены АЭС мало-помалу стало бледнеть, приобретая все более мертвенный оттенок. И вдруг, будто ударом молнии, перекосило все его лицо:

— Сто-о-й! — дико заорал он. — Стой!

Все вздрогнули от этого крика.

— Толик, стой!.. Мы, кажется, сожгли зону... Машина брешет! Вычислительная машина врет!.. Мы поднялись на сто мегаватт, а распечатка мощности по каналам прежняя...

Толик Тяпкин тоже побледнел, цвет лица его почти сравнялся с цветом волос, и он стал казаться еще более белобрысым.

— Если бы мы сожгли активную зону, — сказал он спокойно, но чувствовалось, что дыхание у него перехватило и голос порою вздрагивал, — сработала бы система контроля целостности технологических каналов (КЦТК)...

— Вот это меня и смущает... — задумчиво произнес Сарыгин, и в голосе его ощущалась надежда.

— Что случилось?! Что случилось?! — запричитал вдруг Лерен Петрович, тоже весь бледный и как-то бессмысленно заметающийся между пультом операторов и своим письменным столом.

В нем все как бы упало, оборвалось, заглохло. Как затравленное малосмыслящее дитя, воспринявшее чужое волнение и тревогу, он следил за выражением лиц окружающих его людей, будто искал защиты. Он не вполне понимал, что происходит, но нависшую опасность учуял.

— Что случилось?! — подскочил он к Сарыгину.

И в этот момент на них вдруг обрушился тревожный, раздирающий душу гул ревуна. Лихорадочно замигало табло системы контроля целостности технологических каналов.

Они сожгли активную зону! Сожгли!..

На какое-то мгновение все пять человек, бывшие в помещении блочного щита управления атомной станции, замерли, замонолитились в мертвых позах, будто мифические герои под взглядом Горгоны.

В следующее мгновение начальник смены АЭС Сарыгин и старший инженер управления реактором Толик Тяпкин одновременно протянули руки к красной кнопке сброса аварийной защиты реактора и вместе нажали ее. Толик все же успел первым, а Сарыгин корявым пальцем, прокуренным до желтизны, добавил сверху.

И с этого мгновения весь блочный щит управления АЭС взревел, взбесился, обрушился на операторов шквалом световых и звуковых сигналов, ревунов, звонков, сирен, разноцветным лихорадочным подмигиванием тысяч ламп и табло.

Надрывался телефон диспетчера энергосистемы. Весь объем помещения, казалось, был как мешок наполнен ревом, звоном и световым месивом аварийных и предупредительных сигналов. Воздух, словно бы армированный этим грохотом и светом, стал упругим и угрожающе горячим.

Этот воздух как бы оттолкнул Лерена Петровича к его письменному столу, и он стоял, плотно прижавшись к нему, смертельно бледный, и затравленно как-то, глазами, в которых плескалось смущение, стыд и страх попеременно, смотрел на это искореженное, искривленное нервными тиками звуковых и световых сигналов «лицо» атомного гиганта, каким ему представлялась сейчас вся совокупность панелей блочного щита управления. «Лицо» это будто искривилось от боли, от сознания того, что нутро его, активная ядерная зона, расплавилось и грозит бедой всему окружающему...

Операторы молниеносно носились вдоль панелей, с приборами, быстро оперируя ключами и кнопками управления, отключая оборудование и стабилизируя режимы на отдельных технологических системах.

И только начальник смены атомной станции Сарыгин стоял позади своих подчиненных, скрестив руки на груди, чуть наклонив голову вперед, проигрывая дальнейшее развитие аварии и возможные последствия.

«Расплавился «малый котел»... — думал Митрофан Николаевич Сарыгин, — технологические каналы в этой зоне разбились, теплоноситель, насыщенный частицами уранового топлива, проникнет в межканальное пространство, другая часть высокоактивных радионуклидов будет разнесена по всем актам основного контура, повысив его радиоактивность до недопустимых пределов. Перегретый теплоноситель, несущий в себе продукты радиолитической и пароциркуляционной реакции — кислород и водород, в межканальном пространстве превратится в пар, пар постепенно сконденсируется. Но водород и кислород

останутся и дальше... Дальше неизбежен взрыв гремучей смеси, который разнесет атомный реактор и его разрушенную активную зону... Сарыгин думал об этом спокойно, как это случается с психически сильными людьми на грани между жизнью и смертью. Он знал, что есть главное в этой ситуации. Главное — не допустить взрыва реактора... Продуть всю графитовую кладку аварийным расходом азота на шестисоткубовый мокрый газгольдер, смонтированный в основании вентиляционной трубы, а потом... Взорваться может и мокрый газгольдер, ибо гремучая смесь попадет и туда... Потом остается одно — нажать кнопку... — Он отыскал ее глазами на пульте управления. Вот она — по правую руку от Толика Тяпкина, прикрыта колпачком из красного оргстекла. — Нажать кнопку... И миллион кюри высокорadioактивных осколков деления урана факелом накроют атомный городок и окружающие земли... — Сарыгин прикинул возможные дозы облучения: — Где-то от трех-четырех рентген в час в первые несколько часов, не считая попадания радионуклидов внутрь организма через дыхательные пути и с пищей. Но... Пока еще есть время... Часа три-четыре до взрыва... Надо сообщить Пустерину и Ив Иву... Те брякнут в Москву Смешкову и министру... Наверняка запросят разрешения на нажатие кнопки...»

Сарыгин почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. Он обернулся. Рядом с ним стоял Лерен Петрович, немного оправившийся после первого испуга.

— Что будет? — спросил он Сарыгина глухим голосом. В Сарыгине метнулось вначале острое желание обматерить Ветчинкина, свалить на него всю вину за случившееся, мол, торопил все «тяните, тяните!»... Дотянулись... Но тут же внутренне осекся. «А у тебя, начальник смены атомной станции, зачем голова на плечах?.. Почему поддался напору некомпетентности?..»

— Дело дрянь, — буркнул Сарыгин, и они молча заглянули друг другу в глаза. Потом Сарыгин добавил, отходя в сторону: — Взорвемся, Лерен Петрович. Вы будете звонить главному инженеру? — уточнил Сарыгин, делая нажим на «вы».

— Я... — сказал Ветчинкин, бледнея, и направился к телефону.

11

Мария Львовна проснулась от боли в сердце. Сделала несколько глубоких вдохов. Дыхание было затрудненным. Она нащупала под подушкой таблетку валидола и сунула под язык. Полежав немного на спине и притерпевшись к темноте и к боли в сердце, подумала: «Сколько же сейчас времени?»

Включила бра.

— О господи! Еще только три часа ночи, — сказала она вслух, и голос в ночной тишине спальни показался ей незнакомым и странным.

Мария Львовна пристально посмотрела на электрическую лампочку в бра, огонек вольфрамовой нити, обычно расплывчатый, сфокусировался, она четко, очень контрастно увидела самую нить, погасила свет и, ощущая холодок от валидола под языком, долго еще в темноте перед глазами видела вольфрамовую нить лампочки, сначала очень яркую, белую, потом все более тускнеющую и, наконец, расплывшуюся тусклым сиреневым туманом.

Она вздохнула. Сердце немного отпустило.

«Лера еще не приходил...» — подумала она, еще ни разу за всю жизнь с ним не пропустившая ни один его ночной приход, просыпалась сразу же, как только он вставлял ключ в замочную скважину.

«Как-то он там командует?..» — подумала Мария Львовна, отмечая в себе какое-то странное безразличие к жизни.

«Почему мне все стало так неинтересно?.. Сорок два года... Для женщины это уже прожитая жизнь... И мне ничего не хочется... Будто все узнала, увидела я на земле... Но что, что запомнилось мне за всю мою жизнь с Лерой? Что?.. — она задумалась. — Выходит, и вспомнить нечего? Будто не было жизни. Пусто все... В человеке остается самое щемящее, иногда незначительное совсем, но как примета, как знамение, как отпечаток чего-то, что казалось большим и важным, а вышло всего маленьким оттиском в душе... Что осталось от Иринки?.. Наплывающий из темноты светлый образ ее и шепот: «Я отключилась от вас, мамочка, папочка... Отключи...» Именно это тревожит и ранит душу более всего, потому что это оказалось главным на фоне всей светлой памяти о ней... Или серое лицо Лерена Петровича с печальными карими глазами, будто говорящими: «Все, что смог, Машенька, все, что смог...» И еще пугающий в ночной тиши звук всовываемого в замочную скважину ключа — это Лера пришел после вечерней смены. Он долго так приходил, десятилетия. И нервный скрип половиц под его тихими, осторожными шагами. И школьный звонок, и детские голоса, пронзившие пространство и время. Вот все приметы моей жизни. Вот те отметины в душе, через которые я ощущаю, что еще жива... Да-да... И еще, конечно, мир книг — Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, созданный ими образ прекрасной великой России и ее многострадального, мужественного народа... И еще мотив... Музыка... Звучит в душе музыка жизни. Монотонная, средней тональности. В первые семнадцать лет замужества слышны еще легкие, радостные тона. Это Ирочка, это энергия и надежды молодости. Потом трагические ноты смерти и вечной печали. И гул, далекий и высокий гул Лериных турбин... И люди... Идут люди мимо моей жизни, сквозь мою жизнь. И почему-то нет отзвука в душе. Почему? А ведь они есть, есть прекрасные светлые люди, с которыми вольно дышится, хорошо и открыто живет... Где вы? Где вы?! Откликнитесь!.. — Она вдруг остро почувствовала, что смысл жизни, интересное где-то очень рядом, надо только захотеть, приложить усилия, дотянуться. И вдруг со стыдом подумала: — А Лера?.. Почему я забыла о нем?.. Кого ищу я? Чем маюсь? — И вспомнила поразивший ее ответ подруги: «Уходить от мужа надо только тогда, когда чувствуешь, что жить с ним не вмоготу, смерти подобно. Но и тогда еще раз подумай, прежде чем уйти...»

Ей почему-то сделалось хорошо на душе. Она представила себя идущей по правильной среднерусской степи, молодой, смеющейся, радующейся ветру и солнцу и синим небесам.

Она привстала на локте, будто всматриваясь в даль. Потом села на кровати. Привычным движением рук откинула назад волосы. Таблетка под языком почти совсем растаяла и царапала острыми краями.

Мария Львовна вспомнила, как еще девочкой катал ее с братьями дядя Костя на трофейном «БМВ» по хоперским степям. Машины-легковушки тогда были большой редкостью.

— Поехали заход солнца смотреть! — звал ребят дядя Костя, сам весь серый и исхудавший от язвы, мучившей его долгие годы.

В степи он съезжал с дороги и мчал прямо по целине. Трава шелестела и скребла по днищу кузова, терлась о бока машины, сквозь приспущенные стекла горьковато пахло степью. И красное вечернее солнце, уже наполовину ушедшее за горизонт. И сгорающие на его фоне, будто в костре, стебли ковыля. И чувство непередаваемой радости и свободы, и мечта о любимом, о будущем счастье переполняли тогда Машеньку, и казался ей дядя Костя лучшим из людей, и поездки те она запомнила на всю жизнь. Значит, не обойдена она жизнью, знала она прекрасных, лучших людей... Дядю Костю...

Но дядя Костя умер от прободной язвы пятидесяти лет от роду, и Мария Львовна уже из Сибири приезжала к нему на могилку, в Воронеж...

— Умирать буду и видеть буду тебя, дядя Ко, столько ты мне радости принес... Столько, что и не было большей... — прошептала в темноту Мария Львовна.

А вот двоюродный брат ее, сын дяди Кости Иван, с которым она была очень дружна и вместе проучилась в школе все десять лет, сидя за одной партой, став доктором философии и редактором важного журнала, зачурался родни, живет замкнуто. Но дошли как-то слухи через теток, что и ему живется трудно и тоже на горьком замешена его жизнь, хотя все у него есть: и дача, и пайки, и чего только нет... Всего, кроме простой и ясной жизни. И любви к ближним своим...

Но куда? Куда же подевались, где, на каком переходе отвалились враз крылья силы и надежды, веры в доброту и великую значимость человеческой жизни?.. Неужто эти их с Лерой переезды от атомного центра к атомному центру только и были что неосознанной погоней за внешним достатком, за видимым благополучием и какой-то ложной престижностью?

Потом неожиданно в темноте комнаты все отошло от нее, и явился образ дочери, сияющий, в голубом нимбе. Она шла, шла, Ирочка, но все никак не приближалась к ней...

Мария Львовна легла, уткнувшись лицом в подушку, мокрые пятна от слез ощущались все шире и шире, но и там, в этом глухом, замкнутом пространстве, Ирочка все шла, шла к ней...

— Доченька моя!.. Доченька моя-х!.. — простонала Мария Львовна, сотрясаясь в рыданиях.

12

Министр Семен Павлович Крайский спал беспокойно, ворочался, мычал во сне. Жена где-то около часу ночи тихо вошла к нему и осторожно накрыла его тонким, очень нежным и легким пуховым одеялом.

Беспокойство, с которым министр пришел к себе в кабинет, лег и сразу уснул, окунуло его в сон с быстро сменяющимися, очень четкими и ясными картинками. Осязаемость картин была столь очевидной, что министр во сне тут же реагировал на эти картины, ввязывался в какие-то действия, требовал, на кого-то кричал, удивлялся, что ему не подчиняются, бросался на кого-то в атаку, получал по зубам до ощутимой боли в челюсти...

Потом куда-то все проваливалось, вновь наплывало. И те, с кем он дрался и спорил минуту назад, угодничали и лестили ему, выказывая всяческое повиновение...

«То-то же... То-то же...» — бормотал он сквозь сон.

Потом он вдруг почему-то обнялся и троекратно расцеловался с каким-то тщедушным человечком неопределенной внешности. Затем они сидели с ним в каком-то саду на ребристой скамье. Министр про себя удивлялся, почему он сидит с этим неизвестным ему человечком и так внимательно его слушает.

Человечек очень мягко, но достаточно твердым голосом говорил о недостатке общей культуры, о гуманизме, о каких-то вечных истинах... Удивительным образом прямо тут же, в саду, моделировал ядерные и водородные взрывы, гибли и рушились многочисленные низкорослые города, похожие на модели, сгорали и умирали мелкие, чуть крупнее кузнечиков люди, плавилась и проваливалась земля...

Человек провел рукой, и снова все стихло... Но почему министр повинуется ему, этому хилаку?! На что этот тип намекает, что ему надо?!

Министр отмахнулся от надоедливого человечка, и все вдруг исчезло, будто по мановению волшебной палочки. И сменилось реальными картинами и событиями, имевшими место в его жизни.

Вот он, директор первого плутониевого завода, участвует в монтаже графитовой кладки первого промышленного атомного реактора. Ползет, зажатый хитросплетениями труб, по каким-то металлоконструкциям... Затем куда-то проваливается, выпадает из сна... Вновь появляется в какой-то полевой степи. Бежит, весь обливаясь потом, и катит перед собой перекасти-поле, которое постепенно превращается в зловещий черный шар. Шар будто отрывается от него, но министр все наращивает, наращивает бег. В груди уже больно, не хватает Дыхания, но он все же ведет шар, катит его куда хочет... И вдруг шар делится на три шарика поменьше, на каждом из которых вспыхивают и горят огненные цифры «100%». Цифры сияют, вспыхивают, подмигивают... Потом откуда ни возмись над ними появляется и парит в воздухе переполненная, брызгающая пеной кружка пива...

«Три по сто и кружка пива!..» — сообразил Семен Павлович, весь налился гневом и заорал: — Смешков!.. Каналья!.. Вот твоя безопасность!..

Крик министра, мечущегося во сне, аукнулся в пустоте ночного кабинета. В этот момент у самого уха его, на тумбочке зазвонил телефон.

Семен Павлович никак не мог сообразить, где же это и кто звонит. Сами собой стали моделироваться всевозможные ситуации: то звонил звонок на урок и вихрем неслась крикливая ребятня, то вдруг вращался и звонил машинный телеграф в рубке «Большого охотника», на котором он служил в молодости мотористом, то зуммерил звонок в его приемной, это он вызывал секретаршу... И так, перебирая во сне десятки возможных ситуаций, он, еще не проснувшись, методом проб и ошибок заключил: «Телефон!»

Он просыпался тяжело, мучительно, будто освобождаясь от боли, с трудом выбирался из липкой глиняной ямы тревожного сна. «Телефон!..» — Он широко, словно застигнутый врасплох, открыл глаза и сел на диване. Снял трубку.

— Крайский слушает, — сказал он еще хриплым, не отошедшим ото сна голосом.

Звонил начальник главного управления по эксплуатации атомных станций Смешков.

— Семен Павлович!.. — Смешков сделал паузу.

— Ну что?.. Что будишь, спать не даешь?.. Хотя... Правильно, что разбудил... Такой сон приснился — нарочно не придумаешь...

— Семен Павлович... у меня хуже... На Приморской АЭС только что расплавили активную зону... Ну, не всю, часть... Но от этого не легче...

— Посмешнее ничего не мог придумать?.. — спросил министр каким-то придавленным голосом, за которым, Смешков это хорошо знал, мог последовать «ядерный взрыв»... Но он решил выдать все до конца и сразу.

— Семен Павлович... Пустерин запрашивает разрешения продуть активную зону аварийным расходом азота на мокрый газгольдер и далее в вентиляционную трубу, чтобы избавиться от гремучей смеси и избежать взрыва в реакторном пространстве. Но вместе с газами продувки в трубу улетит более миллиона кюри долгоживущих радиоактивных осколков и частиц разрушенного топлива...

Министр долго молчал. Почему-то перед глазами явились и с лихорадочной быстротой стали проплывать модели лучшего в стране детского городка с дворцами и парками, который он задумал соорудить в соцгородке Приморской АЭС... Как спасательный круг совести, явившаяся картина стойко закрепилась у него в голове и не исчезала.

С трудом отхаркнув ком мокроты, насухо прикипевший к глотке, и ощущая мерзкую сухость во рту, он сказал первое, что пришло в голову:

— Я твоего Пустерина... — Семен Павлович по слогам, четко и громко отчеканил длиннющий матюк. — Я его к чертовой матери!.. Я ему дам — осколки!.. Сам он у меня как осколок улетит в трубу!.. Ладно... — вдруг сказал министр снившим голосом. — Дай подумать... Не могу я так сразу... — и вдруг выкрикнул: — Зампред-то оказался прав!... Эх ты-ы!.. Три по сто и кружка пива!.. Звони через пятнадцать минут...

13

Ниночка Тяпкина лежала, свернувшись в комочек. Одеяло не грело ее. Она дрожала, казалось, от холода, но на самом деле это был озноб от возбуждения и бурной радости, заполнившей все ее существо после недавнего разговора с Толиком по телефону.

Она накрылась с головой, нервно и радостно взвизгивая под одеялом. Окончателность принятого ею решения и бодрила, и пугала ее. И если уж совсем руку на сердце, то она боялась рожать, боялась смерти от родов. Четыре года назад ее подруга Аня умерла после родов от сепсиса. Можно было спасти, но в Союзе не нашлось лекарства. Кто-то подсказал, что должно быть в институте Пастера, в Париже. Послали телеграмму-молнию президенту Франции с просьбой о помощи. Лекарство прислали самолетом, но было уже поздно... А ребеночек остался жить. Мальчик...

Первобытный страх небытия то наплывал на нее, то отпускал.

Нет! Она храбрая, храбрая девочка!.. Она ничего не боится. У них с Толиком будет сын... Обязательно будет сын!.. Тяпка... Топотушечка, хлопущечка...

Она в оцепенении застыла под одеялом, словно бы оглушенная воображаемой картиной.

Они назовут его Толиком... Анатолий Анатольевич... Здорово! Конечно, здорово!.. А Толик... Он ведь инженер... Он может работать в любой отрасли промышленности, необязательно в атомной энергетике... Не лежит у меня душа к ней, милый, не лежит...

От мысли этой ей стало легко на душе. И впрямь ведь — счастливая мысль!

Ниночка скинула с головы одеяло, легла на спину. Теплая волна пробежала от головы и лица вниз, и ей стало жарко... Хорошо!..

Она широко раскрытыми глазами смотрела перед собой в загустевшую вдруг темноту, полная надежд, жизни и жажды материнства.

14

Главный инженер атомной электростанции Пустерин и директор АЭС Иван Иванович Громов прибыли на место аварии через сорок минут после того, как Лерен Петрович Ветчинкин сбивчиво доложил по телефону сначала одному, потом другому, внутренне весь сжимаясь и холодея от сознания необратимости катастрофы.

Его качало, мутные круги плыли перед глазами. Он растерянно топтался то в одном, то в другом месте помещения блочного щита управления, готовый провалиться сквозь землю. Как он будет смотреть теперь в глаза Ив Иву, Пустерину?.. И вместе с тем его все более и более наполнял страх, и не оттого, что он был трусом, нет! Страх от непонимания, в чем истинное существо и масштабы надвигающейся опасности. Он презирал себя и в то же время чувствовал и понимал, что он, в общем-то, не виноват... За незнание — полнаказания!..

«Спокойно!.. — говорил он сам себе. — Спокойно... У тебя на твоём веку случались аварии с разномом турбины от гидроудара... Вдребезги!.. Но там все было ясно... Ошиблись ДИСы

(дежурные инженеры станции), забросили воду в турбину... Весь машинный зал разнесло... Но там все было ясно и чисто... Никаких осколков, радионуклидов...»

Лерен Петрович остановился около своего стола, вдруг ощутив, что спокойствие возвращается к нему, голова все более обретает ясность мышления и оценки ситуации не столько аварии, сколько своего места в ней.

Стройный, невысокого роста, широкоплечий, с легкой улыбкой смущения на лице, он стоял, сунув руки в карманы белого лавсанового халата, покорный Богу и судьбе, мол, «не обессудьте, братцы! Казните иль милуйте — дело ваше!-»

Но его уже не замечали вовсе.

Толик Тяпкин, осознав всю чудовищность постигшей катастрофы, выскочил с кресла, схватился руками за голову и волчком крутанулся на месте, взыв тягуче, как-то по-волчьи.

«Ниночка, Ниночка...» — мелькало в его воспаленном сознании.

Он вдруг перестал психовать, повернулся спиной к своему рабочему месту и, в упор глядя на Сарыгина, глухим голосом, что прозвучало несколько театрально, сказал:

— Виноват я!.. Во всем виноват я, Митрофан Николаевич!

— Ну и что?.. — спокойно спросил Сарыгин, и еле заметная улыбка тронула его пересохшие губы. Покорность судьбе была в этой улыбке, но и уверенность, какая-то затаившаяся уверенность таилась в этой улыбке. — Виноват... Виноват... Взорваться можем... То есть... Не можем, а взорвемся...

Правые операторы, во всем облике которых чувствовалась непричастность к катастрофе, дожимали свои ключи и кнопки, стабилизировали режимы в системах машинного зала и на теплоэнергетическом оборудовании, иногда с тревогой и как-то пытливо зыркали в сторону начальника смены АЭС.

Лампы, звонки, ревуны, сигнальные табло — все это еще звенело, ревело, мигало, дрыгалось, но как-то уже слабее, утомленнее, что ли, и чувствовалось, что вскоре и вовсе умолкнет. Атомная станция как бы конвульсировала, потрясенная тяжелейшим инсультом.

Толик Тяпкин своими бледно-голубыми, а теперь и вовсе побелевшими глазами глядел на Сарыгина.

— Почему взорвемся?.. — тихо спросил он.

В его вопросе прозвучало будто неожиданное открытие для самого себя, хотя он хорошо знал и о радиолизе воды в активной зоне, о взаимодействии пара с цирконием, и о наличии «гремучей смеси». Глаза его заматались, забегали, будто ища опоры. Он еще не нашел своего места в разыгравшейся драме, как бы не определил своего отношения к возможности взрыва и его тяжелейшим отдаленным последствиям. Он будто еще спал привычным сном исполнительного технаря, когда все нравственные человеческие ценности как бы исчезли, не существуют для него или отступили на задний план.

Только железо! Только неумолимая и, казалось, наполняющая великим смыслом логика техники, этого суррогата смысла Жизни на земле!.. Только она существовала для него в эти минуты...

И вдруг образ живого человека, его жены, его Ниночки, ее тревожные глаза, ее голос:

«Я все думаю, Толик... Чем все это кончится?.. Вся наша жизнь, и жизнь нашего Тяпы... если он родится... Как ты думаешь, твой атом не повлияет на моего ребенка, не убьет его?..

«Тебе надо будет уехать к маме...» — вспомнил он свой ответ ей.

— Взрыва не должно быть! — сказал вдруг Толик Сарыгину, краснея.

— Мы взорвемся, — спокойно сказал Сарыгин. — Как только остынем...

— Что надо делать, чтобы не взорваться?.. — допрашивал Толик с все нарастающим возбуждением.

— Надо продуться аварийным расходом азота на мокрый газгольдер... И далее... «выплюнуть» все в вентиляционную трубу... Вот так... — энергично закончил Сарыгин, которого начала раздражать уже какая-то злая настырность СИУРа.

— Так мы же накроем облаком высокоактивных радионуклидов соцгород, наши семьи... — с изумлением в голосе сказал Толик, и в глазах его появился нехороший блеск. — Этого не произойдет! — вдруг тихо и с угрозой заключил он.

— Тогда взорвемся, а это еще хуже... — будто дразня его, ответил Сарыгин.

Толика вдруг осенило. Он оглянулся на красную кнопку аварийного сброса азота из реакторного пространства, понял, что он должен защищать, и крикнул угрожающе Сарыгину:

— Эту кнопку никто не нажмет!

Он занял оборонительную позицию.

— Не подходить! Убью!.. У меня первый разряд по каратэ!.. К телефонам не подходить!

В этот миг в помещение блочного щита управления атомной электростанцией ворвались главный инженер Пустерин и директор АЭС Громов, оба ошалелые, потерянные, багроволицые.

— Стоять на месте! Не подходить!.. — грозно предупредил Толик Тяпкин и вновь провел серию ударов каратэ по воздуху.

— Он не хочет аварийно продувать азотом графитовую кладку реактора, — доложил вошедшим Сарыгин.

И директор, и главный инженер в ответ на это удивленно вскинули брови, налитые кровью глаза полезли из орбит.

— Как это не хочет?! — грозно пробасил Пустерин, делая шаг в сторону СИУРа.

— Стоять на месте! — приказал Толик, стрельнув ногой на уровне головы главного инженера. — Убью!

Пустерин побледнел и остановился.

— Он сошел с ума!.. — прошептал Ив Ив и стал пятиться в сторону выхода.

— Ни с места!.. Стоять на месте!.. Перебью всех!.. Мне жизнь не дорога! У меня беременная жена, ясно?.. Она ждет ребенка... И вы хотите, чтобы я накрыл ее радионуклидами?! А сотни других беременных женщин в соцгороде?.. А дети?.. Вы забыли об этом?.. — Глаза Толика горели безумием. — Слушай мою команду!.. Вы, Пустерин, отдавайте приказ об эвакуации города! Срочно!.. Всю тыщу автобусов. Будите людей!.. Эваку-а-ци-я!..

— Ты спятил, Толик, — сказал Пустерин, снова багровея.

Толик вновь провел по воздуху пушечный удар на уровне головы главного инженера.

— Убью!.. Выполняйте команду!

Пустерин, пятясь и не спуская с Толика глаз, приблизился к столу Ветчинкина и взял трубку. Лерен Петрович уже набирал номер автохозяйства. Будто розовый ветер пронесся перед его глазами. Шумы блочного щита погасли в нем, и голос души, совести прозвучал неожиданно четко и тревожно:

«Природа сбалансировала себя и создала человека для радости и жизни на солнечной голубой планете... Но зачем же она заложила в него страсть к расщеплению целого, к нарушению этого зыбкого живительного баланса, каким-то чудом сотворенного Вселенной?.. Зачем человек научился высвобождать дьявольские силы смерти и разрушения, тщательно сокрываемые самой Природой в течение тысячелетий? Зачем?.. Ведь следы этого потрясающего расщепления, осколки материальной сущности останутся. В генах и хромосомах облученных детей... И уйдут эти отпечатки в будущее уродствами или

идиотизмом. А то, может статься, и вовсе никуда не уйдут. Природа ведь не дура в конце концов. Она может и не захотеть продолжать самое себя...»

Еще оглушенный, отвлеченный этим пророческим голосом, Лерен Петрович будто сквозь туман увидел, как Пустерин вдруг нажал на рычаг телефона и медленно опустил трубку на аппарат.

— Не могу, Анатолий... — услышал Ветчинкин сникший голос главного инженера.

Толик смотрел на Пустерина с презрением.

— А бросать осколки на головы родных и близких можете? — голосом тревожным, почти на срыве, спросил Тяпкин. — Кто вам разрешил нажимать кнопку сброса?.. В инструкции такой записи нет!

— С министерством согласовано, — вяло ответил Пустерин. И уже просительно продолжил: — Но ты пойми, Анатолий... Будет паника... А потом — кто беременные, разве узнаешь ночью?

— Будите начальника медсанчасти!

— Анатолий, но ведь это невозможно... Ну пойми же... — унижаясь перед мальчишкой, почти простонал Пустерин.

Какая-то странная, перевернутая атмосфера установилась в помещении блочного щита управления атомной станции. Фактическую оперативную и административную власть на какое-то время захватил мальчишка, движимый чувством вины и угрызениями совести.

Лерен Петрович с добрым чувством, даже с любовью смотрел на него, думая, что ведь нравственность — это прежде всего долг, совесть, стыдливость, ответственность. Это душа человека, это земля, на которой эта душа произросла. Это любовь к людям. И пока эта любовь жива в человеке, жив и сам человек...

«Но сейчас горе, — думал Лерен Петрович, — а в горе люди тянутся друг к другу, ищут опоры и поддержки... А тут — вражда...»

Он вспомнил, как давней ночью в палате медсанчасти, где он лежал, к нему бросился вдруг больной с соседней койки и все шептал: «Мне страшно! Страшно мне!.. Я умираю, помогите!..» У больного был вегетативно-сосудистый криз, сопровождавшийся острым страхом смерти. «А тебе легче, когда ты возле меня?» — спросил Ветчинкин.

«Легче...» — «Ну и будь рядом... Не умрешь ты, не бойся... Вон как сиганул с койки... Разве умирающие так сигают?..»

«Но почему мы не ищем выхода?.. — думал Лерен Петрович. — Почему рука тянется к красной кнопке, не дав поработать разуму?.. Конечно, страшно стоять на бомбе, ожидая взрыва... Страшно... Но ведь это и есть паника... А рекомбинация (реакция гидролиза без взрыва) гремучей смеси?.. Ведь до взрыва еще четыре, а то и шесть часов...»

Он окинул взглядом присутствующих.

Ив Ив стоял в стороне. Тень беспомощности лежала на его розовом одутловатом лице. Глаза ему, видно, жгло, он часто моргал.

Пустерин, держа руку на телефонной трубке, просительно смотрел на СИУРа. Тяпкин, с окаменелым лицом, на котором читались гнев и презрение, в любой момент готовый к нанесению удара, прикрывал собою кнопку сброса.

Сарыгин пылливо рассматривал своего СИУРа, которого он, выходит, раньше и не знал вовсе.

— Время еще есть, — вклинился в паузу Ветчинкин. — Мне кажется, надо попытаться рекомбинировать гремучую смесь... Интенсивной прокачкой воды через активную зону...

Водород хорошо растворяется в воде... И через дыхательную емкость освободиться от него... Подобное мы делали еще в пору моей юности на электролизерной станции, где я тогда работал...

Все повернулись к Лерену Петровичу. Он несколько смутился. Сказал:

— Это так, товарищи... Информация к размышлению...

— То-то же, что к размышлению... — грубо буркнул Пустерин. — Качать воду мы можем только через активную зону, а стало быть, будем и дальше надувать внутриреакторное пространство водой и... гремучей смесью...

Толик Тяпкин в это время лихорадочно размышлял. Состояние внезапной душевной ярости, которое владело им, стало мало-помалу спадать. Убеждающий голос Лерена Петровича и выражение его лица, почти спокойное и лишь чуть смущенное, каким-то странным образом подействовали на него. Внезапно ощутил отчуждение, неуверенность и даже испуг. Он, Толик Тяпкин, СИУР милостью божьей, чем он сейчас занимается? Он применяет силу... Долго ли это продлится?.. Даже если он перебьет всех этих неплохих в сущности ребят?.. Все трудяги... Все, да... Ну, а что дальше?.. Останется он, Тяпкин, один на один с этой красной кнопкой и с гремучей смесью в реакторном пространстве и... будет ждать взрыва?.. А может, взрыва не будет?.. Нет... Это из области фантастики... Ах, если бы кабы... Будет взрыв!.. Или кнопка...

И тут Толик понял очень ясно и отчетливо, будто ему это понимание и эту ясность каким-то волшебным образом втолкнули в черепок как квант разумной энергии.

«Не будет эвакуации, не будет... Будет кнопка... Может, не сразу... Еще есть запас времени... Еще будут кумекать, совещаться, звонить в Москву, тормозить министра... Но когда-то же, в какой-то миг она будет нажата... Но есть Ниночка!.. В ней все! Она — это то главное сейчас для него... Самое главное... Ее-то он может спасти от облучения... Обязан!.. А остальные?.. Но он один против всех... Сейчас ночь... Ах!.. Они не хотят... Не хотят они... Почему они не хотят?.. Когда все так ясно...»

Директор атомной станции Иван Иванович Громов внимательно следил за СИУРом, и первое желание немедленно покинуть помещение блочного щита управления, вызванное откровенным страхом от нападения подчиненного, теперь постепенно сменялось чувством густой сдавленной злобы. Он первый заметил, как дрогнуло и смягчилось лицо Толика. Как тень неуверенности мелькнула в его глазах. Тут уж Ив Ив не стал больше ждать. Вложив в свой голос всю силу скопившегося в нем гнева, он рявкнул:

— Старший инженер управления реактором товарищ Тяпкин, я отстраняю вас от работы!.. Отстраняю! Поняли?! — чуть мягче спросил Громов, все же опасаясь атаки подчиненного. — Прошу покинуть помещение блочного щита! Без вас справимся!..

Главный инженер Пустерин от неожиданности вздрогнул. Густо запунцовел, исподлобья поглядывая на СИУРа.

Толик обвел всех открытым взглядом.

«Как же так?.. Почему они ничего не понимают?.. Ведь все так ясно!..»

— Я свободен? — спросил он. Поза его все еще была воинственной. — Кто примет у меня смену?

— Да-а, вы сво-бод-ны! — отчеканил Громов, внимательно следя за выражением глаз и лица СИУРа, и на всякий случай посторонился от двери. — Вы свободны, товарищ Тяпкин, прошу, — и резким жестом указал на дверь. — Начальник смены, примите у своего СИУРа вахту!

Толик размашисто сделал запись в оперативном журнале: «Приказом директора АЭС отстранен от вахты.

Смену сдал: Тяпкин. Смену принял: ...»

Сарыгин, не говоря ни слова, расписался в приеме смены и отвернулся от Толика. Лицо его было бесстрастным. Толик в последний раз окинул всех взглядом и взволнованно выкрикнул:

— Оглоеды вы! Оглоеды!.. Подумайте, что творите!..

Вслед за тем он в два прыжка достиг двери, рванул стометровку по коридору деаэрационной этажерки, лихорадочно переоделся в санпропускнике и бегом же покинул блок. Удивился только, что бежал будто в какой-то немоте и глухоте, не ощущая ни запахов, ни звуков.

«Хуже Хиросимы не будет!.. — кто-то истерично прокричал в нем. — Хуже Хиросимы не будет, не будет, не будет!..» — уже вторил первому солирующему голосу отдаленный хор.

— Не будет, не будет... — вторил сам себе Толик, легко наращивая бег.

Дорога все быстрее уходила из-под ног, и чем короче становился отрезок пути, который надо было преодолеть, тем легче дышалось и бежалось ему. Он никого и ничего не видел по сторонам, хотя глаза уже притерпелись к темноте. Только жар и запах собственного дыхания, да еще ощущение ногами дороги — были главными в осознании самого себя.

Он изредка только оглядывался и видел высоко в небе, на фоне дальних звезд, тревожные красные навигационные огни на стопятидесятиметровой вентиляционной трубе. Оттуда полетит факел выброса активностью миллион юри...

«Хуже Хиросимы не будет!..» — снова завизжал в нем солирующий голос.

— Давай, давай!.. Скули, скули!.. — передразнил Толик солиста.

Подбегая к гаражу, где стоял его «Иж», он глянул на часы. Семь километров он пробежал за двадцать минут.

«Но солидный кусок был в гору...» — подумал он, будто оправдываясь перед самим собой.

Выкатывая из гаража мотоцикл и ощущая сладковатый запах горючей смеси, он с любовью подумал о машине: «Только не подведи, дружок!..»

Толик завел мотор, бурно прогазовал на холостых оборотах и, резко отпустив сцепление, рывком взял с места в карьер, яростно пробуксовав задним колесом, так, что ощутил сырой теплый запах прогретшейся от трения земли.

Мотоцикл выскочил на широченный проспект соцгорода и, набирая скорость после поворота и дико взвизгивая на перегазовках, понесся по голубоватым от света фонарей улицам ночного города. Гром мотора гулко отдавался в пустых кварталах.

Обдуваемый ночным прохладным ветром, Толик ощутил вдруг свое тело, напряженное, будто сжатое извне. А в груди нарастающую ясность, легкость какую-то. Впереди он отчетливо видел коридор, бесконечно длинный канал — выход! Он не думал в этот момент о том, что он физик, молодой специалист, что ему еще год отрабатывать после института... Все это отсеклось само собой, ничего теперь для него не значило. Под ним ревел новый, только прошедший обкатку мотор, он успеет вывезти Ниночку!.. Вот она, дорога — сто пятьдесят километров добротного асфальта до аэропорта. Атам... Он вернется... Но теперь это уже не имеет значения... Там будет видно...

«Оглоеды! — снова взорвалось в нем негодование. — О своих бы семьях подумали... Герои...»

Когда Голик влетел в комнату и врубил люстру, вспыхнувший свет показался ему чужим, не радующим душу светом его квартиры, а чужим. И комната, и мебель, и ключья разорванной и комками разбросанной карты, и грязный под лаком паркет, и висящий на паутине кусочек известки, вздрогнувший и закачавшийся от легкого движения воздуха. Все это принадлежало уже другой эпохе, другому времени. Времени до аварии. И только она, Ниночка, крепко спящая, не услышавшая даже шумного прихода мужа, с легкой

блуждающей полуулыбкой на разбуряившемся лице, только она, еще спящая, принадлежала его настоящему и будущему. Только она...

Толик присел на тахту и нежно провел рукой по светлым волнистым волосам жены.

Ниночка открыла глаза. В них метнулась радость. Она обхватила Толика руками за шею и прижалась горячей щекой к его холодному лицу.

— Я люблю тебя, Толик! — Ниночка пободала его головой в грудь и поцеловала рубашку. Но вдруг встревоженно спросила: — От тебя пахнет бензином!.. Ты на мотоцикле?.. Что случилось?!

— Ниночка... — Толик смотрел на жену внимательно и спокойно.

— Прости, милый, я изорвала твою красную атомную сеть... Твою карту... Мы новую купим...

Глаза Толика спешили. В них было нетерпение. Он боролся с собой, не зная, как лучше сказать ей, чтобы не напугать.

— Что случилось, Толик?! — Ниночка побледнела, — Что-нибудь случилось?! — И, не дожидаясь ответа, соскочила на пол, впопыхах натянула рубаху.

— Ниночка, успокойся, прошу тебя!.. — взмолился Толик. — Я должен срочно отвезти тебя в аэропорт...

— Что случилось, Толик?! — Ниночка затопала ногами и сильно покраснела.

— Мы расплавили активную зону, и будет большой выброс активности... — глухо сказал Толик, на мгновение опустив глаза. Ему было стыдно перед женой.

Ниночка побледнела, вся как-то обмякла и вяло села на тахту, безвольно опустив руки.

— Я же тебе говорила... — тихо сказала она и заплакала. — Дура я, дура... Бедный мой ребенок... Он-то, он-точем виноват?..

— Мы спасем его... — сказал Толик тихо.

— Спасем, да?.. — спросила Ниночка так доверчиво и проникновенно, с такой надеждой в голосе, что у Толика невольно дернуло судорогой грудь, и он глотнул влажный ком.

— Одевайся, быстро! — сказал Толик грубее, пряча волнение.

Ниночка засуетилась. Быстро-быстро лепетала что. Иное Толик не различал, но порою она выговаривала вн нее, хотя видно было, что все ее существо, вся она устремлена в себя.

— Ничего, ничего, миленочек, Тяпушка ты мой родной... Ты будешь жить... Папочка нас спасает... Он добрый, хороший, сильный... Наш Толик... Я его очень люблю... Он ведь не оставит нас в беде... Нет-нет... Не оставит... Он сильный, хороший, добрый...

Ниночка суетилась больше обычного, бледность не сходила с ее лица. Наконец она была готова. Стояла, беспомощно глядя на Толика. Держала в руках маленький узелочек.

— Зачем это? — спросил Толик мягко, кивая на узелок.

— На всякий случай, милый, может, для ребеночка сгодится... — Ниночка смотрела теперь на Толика испуганно. Он крепко схватил ее за руку.

— Пошли, Ниночка, пошли...

Ощувив сопротивление, Толик широко открытыми бледно-голубыми глазами, в которых видны были решимость и нетерпение, вопрошающе посмотрел на Ниночку.

— Ты что?! Каждая минута дорога!

— Я никуда не пойду! — решительно, дрожащим голосом сказала она, пытаясь выдернуть руку. — Мои ученики!.. Мои дети!.. Они же остаются... — Ниночка гневно смотрела на Толика, кровь прилила к ее лицу. — Дети ведь! Ты понимаешь?.. Де-ети!

— Я им говорил! — отрывисто сказал Толик.

— Ко-ому?! — изумленно воскликнула она.

— Им всем... Там, на блочном щите... — Толик снова потянул Ниночку за собой. — Пошли, Нинуля, пошли! Я им все говорил... Они ничего не хотят слушать... Они очумели...

Ниночка села на пол и, вырывая руку и плача, прокричала:

— Я никуда не поеду! Я от детей не уеду!.. Это предательство!.. Как ты не поймешь это, Толик?!

— Я все понимаю, но я бессилен изменить что-либо... Я должен увезти тебя отсюда... — Голос его прозвучал твердо.

Неожиданно он схватил ее на руки. Она брыкалась, царапалась, пыталась зацепиться руками и ногами за косяк, но тщетно. Толик вынес жену из дому. Поставил наземь. Она вдруг притихла, вся покорившись воле мужа.

Пронзительно взревев, мотоцикл с Толиком и Ниночкой Тяпкиными с ревом пронесся по чистому голубому асфальту соцгорода, вырулил на шоссе и, набирая скорость, устремился к областному центру, где был аэропорт.

Ниночка, всегда боявшаяся мотоцикла, казавшегося ей весьма призрачным устройством, крепко грудью и тугим животом прижалась к мужу. Она обхватила Толика за талию, и каждое движение машины, передающееся его телу, передавалось и ей. Мотоцикл казался ей живым существом, особенно на поворотах и виражах. Действия центробежных сил, инерция, внезапные тугие перетоки крови, перехваты дыхания... Ее поташнивало...

— Толик! — крикнула она, ощущая, как снизу поддувает теплым, с запахом горючей смеси, воздухом от цилиндров двигателя. — Толик!.. Мы бежим от атомного века?! Да, милый?!

Она все время ощущала животом, набухшей грудью и особенно руками, как жила, двигалась, дышала спина, талия Толика. Как вздрагивали, напрягались и расслаблялись отдельные мышцы его тела. И такими бренными и зыбкими показались ей в этот миг и сама она, и ее сильный могучий Толик, и... все, все живое, готовое вздрогнуть, разорваться от напряжения...

— Толик! — крикнула Ниночка. — Мы ведь от себя бежим!.. От атомного века не убежишь! Мы в нем!.. Мы в самой его активной зоне!..

— Убежим!.. — крикнул Толик. — Мы его приструним — этот век!.. Мирный атом не благо!.. Неизбежное зло!.. А коли зло неизбежно, его надо терпеть с наименьшим вредом для человека!.. Тут нужны честность, открытые глаза!.. Долой вранье!.. Все остальное у нас есть!

Ветер закладывал уши, прижимал ресницы, прикрывал веки. Мощный дальнобойный луч фары покачивался, как огромный меч, порою взлетая высоко в небо...

15

Министр Семен Павлович Крайский нетерпеливо прохаживался взад и вперед по темному ночному кабинету у себя дома. Электричества не включал. Блеклая световая полоса от уличных фонарей легла от окна к противоположной стене.

Прохаживаясь, Семен Павлович то в нетерпении скрещивал руки на груди, то совал их в отвислые карманы халата, то заводил за спину. Прилив неистового гнева после звонка начальника эксплуатационного главка Смешкова теперь уже иссяк, и голова стала ясной.

Махровый халат был чуть ниже колен. Голые ноги, не охваченные привычными брючинами, казались ему все более усыхающими, какими-то неестественными, не своими, стыдно голыми. Это его раздражало и мешало сосредоточиться. Он просто не любил, даже ненавидел себя в эти минуты. Дискомфорт, владевший им, ощущался в какой-то странной,

незнакомой ему дотоле отягощенности сердца. Казалось, душа свинцовела и постепенно опускалась, опускалась от тяжести все ниже, постепенно покидая тело.

«Может, это инфаркт?..» — подумал он, вспомнив инструктаж лечащего врача о предвестниках тяжелого сердечного недуга.

У него было такое ощущение, вначале смутное, а потом все более проявлявшееся, ощущение, что ему хочется освободиться от бремени. И он вдруг суеверно подумал, как, должно быть, тяжело женщине носить плод под сердцем, и так, наверное, невыносимо порою желание освободиться от него...

«Освободиться от бремени... — подумал он. — Не зря ведь так говорят...»

Но как же?! Как же успокоить свою совесть? Как совместить выпестованную им и многочисленными его соратниками в умах миллионов людей величественную модель безопасного мирного атома и... это... Необходимость выброса радионуклидов?..

Он ускорил шаги. Взад-вперед, взад-вперед. Словно зверь, загнанный в клетку. Тяжесть в животе не проходила. Его охватил легкий озноб, предвестник гипертонического криза.

— Нет! — взревел Крайский, — Нет!..

Не может, не должна так грандиозно, красиво отлаженная модель, система его, Крайского, мирного атома рухнуть, навсегда исчезнуть под облаком проклятого выброса!.. Но пострадает не только абстрактный «мирный атом»... Сама идея широкого использования уранграфитовых реакторов необратимо истощает себя...

«И вообще... Насколько все это преувеличено... Обвиняют нас, атомщиков, во всех смертных грехах... А между тем... — Он с чувством глубокого удовлетворения, на какое-то время ослабившего внутреннюю напряженность, вспомнил последнее выступление своего ученого друга на недавнем общем собрании Академии наук. Глубоким утробным басом, лаково поблескивая своим яйцевидным черепом, тот говорил:

— Нас вот, товарищи, упрекают, что мирная атомная (в слове «атомная» он сделал ударение на втором слоге) энергия представляет опасность для окружающих. Но, товарищи, вред этот несоизмерим с тем, что постигнет нас в результате ядерного конфликта. И мы стремимся, мы делаем все, чтобы мирный атом становился все менее опасным. Работающие атомные станции — яркий пример тому...»

Воспоминание это ненадолго успокоило министра. Чувство непроходящего внутреннего ожидания, где-то глубоко нем будто тикающие часы мины замедленного действия оттеснило прочь кратковременную успокоенность. Гнев снова накатился, наполнил все его существо. Он не хотел ждать.

— Нет!..

Ярость снова владела им.

«Когда уже они там разродятся?! Каналья Смешков!.. Почему нет звонка?! Давно пора... Чего вы ждете, мальчики? Громов, Пустерин?!»

В который раз уже он вспомнил и проиграл последний разговор с директором АЭС Громовым. Стал убеждать, успокаивать себя. «Нет... Вроде все верно... Надо продуваться... Иначе — взрыв...»

Да, он разрешил... С чувством тошноты, правда... Пульс в переносице... Но разрешил... А теперь вот... Невмоготу... Нетерпение... Почти истерика...

И вновь ощутимая тяжесть в животе надавила вниз. И опять суеверно, но где-то далеко внутри, с ехидным подсмеиванием над собой подумалось: «Схватки...»

Он ускорил шаг. И вдруг будто лопнул туго накачанный пузырь. Напряжение мгновенно спало. Министр остановился посреди кабинета. Воображение лихорадочно работало. Яркие,

яркие картины. Снова этот знаменитый детский городок. Дворец, черт возьми!.. Он построит для детей Приморской АЭС такой роскошный детский городок... Все позавидуют...

«Пусть завидуют вам, дети мои!..»

Министр включил свет и подошел к телефону. Старинные стенные часы отбили половину четвертого ночи... Семен Павлович позвонил домой начальнику главка, ведающему проектированием. На том конце провода трубку сняли довольно быстро, но долго сипели, хрипели, словом, просыпались. Потом тихий сонный голос:

— Куреев слушает!

— Крайский звонит... Николай Петрович, прости за ночной звонок. Не спится мне... Не забудь завтра, то есть сегодня, к десяти утра ко мне с проектом детского комплекса на Приморской... Не забудь... Все, будь здоров... Досыпай...

Семен Павлович вновь погасил свет и успокоенно прошелся по кабинету. Но мало-помалу тягостное ощущение вновь стало заполнять его.

Наконец нервно вздрагивающий, длинный междугородный звонок телефона разорвал темноту кабинета. У министра от волнения посветлело перед глазами, он схватил трубку-Прокричал срывающимся от волнения голосом:

— Продулись?! Наконец... Разродились, черти полосатые!.. — И уже затвердевшим начальственным голосом: — Немедленно меры по деактивации!.. Чтоб духу и слуху не было!.. Смотрите мне!

Он с облегчением бросил трубку на аппарат, плюхнулся на диван. Успел еще зло подумать о своем заме по кадрам, который с подачи Ив Ива выдворил с Приморской Илюшку Булдыгина... Он бы не допустил... Уберег бы...

«Ужо мне!..» — угрожающе подумал министр о своем заместителе по кадрам и в следующее мгновение уснул крепким мертвецким сном без терзающих сновидений и кошмаров.

16

Толик Тяпкин, что называется, давил на все железки. Спидометр показывал сто километров в час. Ветер свистел в ушах. Лица, особенно щеки, От сильного и длительного воздействия ветра одеревенели.

— Как же ты вернешься назад, Толик?! — пропищала Ниночка, — Они же тебе дадут прикурить!

— Вернусь!.. А выгонят — найдем место!.. На карту Центральной России я красную сеть наложил... Кстати, почему ты порвала карту?!

Ниночка не ответила.

Толик вдруг ощутил жаркий прилив крови в лицо. И очень ясно и отчетливо, но тихо прозвучало в нем: «Они остались!.. — И уже громче и чаще: — Они остались!.. Они остались! Они остались!..»

Неожиданное совестливое чувство захлестнуло его. Он ведь и раньше об этом думал, но не трогало. А вот сейчас, на расстоянии, вдруг оглушило.

«Они остались...»

Мысленно он уже развернул мотоцикл и мчал назад.

И вдруг протестующее недоумение.

Что за черт!.. Ведь он спасает Ниночку... Время еще есть... Он вернется... Он вернется... И как выход — упругое чувство в груди.

«Я прав!.. Я только отвезу Ниночку и вернусь... Ве-е-ер- нусь!..»

— Понимаешь!.. — крикнул Толик. — Есть реакция захвата — Это когда ядро захватывает нейтрон... Сегодня мирный атом захватывает в свою орбиту людей, их судьбы, судьбы целых регионов... Понимаешь... Идет реакция захвата... И если таких, как мы, будет много, не допустим выбросов!.. Неизбежное зло, то есть мирный атом, надо держать крепкими и честными руками!.. В этом все дело, Ниночка!..

Дорога шла холмами. Поля и леса окрест то и дело сменяли друг друга. «Иж» то будто проваливался в невесомость, ныряя в гигантскую впадину между холмами, то с ревом брал затяжной подъем, и все это время Ниночка остро ощущала, что она и Толик верхом на добром железном коньке такие маленькие, ночь так сузила, так обдавила их, оборвала связи с внешним миром. Они одни, будто совсем одни верхом на гигантском прыгающем луче света несутся неведь куда и неведь где.

Вдруг она ощутила острую боль внизу живота, и что-то липкое, густое и горячее стало расплываться под ней. Мгновенная слабость легким ветром прошмыгнула по всему телу, она вскрикнула и крепче обхватила Толика.

Толик почуял что-то недоброе и сбавил скорость.

— Что такое, Ниночка?!

— У меня кровь, Толик... Сильно... — Голос Ниночки был отрывистый, сухой и горячий.

— Что делать?! — крикнул Толик, и в голосе его послышалось отчаяние. — Что делать, Ниночка, дорогая?!.. Что делать?!..

Мотоцикл совсем было замедлил бег.

— Сколько еще пути? — спросила Ниночка.

— Тридцать километров...

— Тогда жми что есть силы! — глухо, с какой-то неожиданной решимостью приказала Ниночка и, крепко прижавшись к спине мужа, прошептала: — Прощай, мой малыш, прости меня...

— Зажмись, милая, зажмись что есть силы! Я сейчас мигом домчу тебя!

Он плавно набрал скорость. Ниночка ощутила, как напряглось и стало твердым тело мужа. Скорость все возрастала.

Мотоцикл, ведомый Толиком Тяпкиным, снова проваливался в невесомость, ныряя в очередную черную впадину между холмами. А за спиной Толика сидела, крепко прижавшись к нему, истекающая кровью Ниночка, и встречный ветер размывал на ее щеках и мгновенно высушивал жгучие слезы несчастья. А длинный, как меч, луч фары высоко вскидывался в ночном небе будто огненный перст и долго еще, удаляясь, грозил кому-то...



1

Меня неизменно поражает внешность профессора Синицына. Тщедушный, сутуловатый и какой-то даже поблекший, с застывшим выражением слегка помятого лица, с большими блестящими, несколько рассеянными карими глазами, он напоминал человека, который не может вспомнить, куда положил нужную вещь. Но таким Синицын казался только непосвященным...

Мы-то знали, что он как вулкан, внешне спокойный, зато в голове непрерывная и напряженная работа мысли.

И когда уж начинается «извержение», он преображается. Удивительно красив Арсений Иванович в эти минуты. Заражает своей энергией, вовлекает в спор, бульдожьей хваткой берет неверную мысль оппонента и не успокаивается, пока не разнесет ее в клочья.

Теперь вот тоже. Необычайно взволнован. Настаивает перед главком о немедленной фиксации на цветную киноплёнку клинической картины острого лучевого поражения Сережи. Особенно же злит его необходимость доказывать очевидное.

— Такой случай больше не представится! — говорит он чиновнику из главного управления. — Это ведь типичнейшее острое течение!

Ну конечно!.. Наши милые министерские перестраховщики боятся подзалететь. Иначе не назовешь...

Они уходят от разрешения и все говорят Арсению Ивановичу, что зря он волнуется. Что, мол, не на одном этом парне свет клином сошелся (такой довод меня особенно возмущал). Описать клинику болезни — это пожалуйста! Тут вам никто не помеха...

Спасибо!.. Разрешили!.. Сами знаем... Что же касается будущих вероятных случаев, то я с ними вполне согласен. Возможность крупной ядерной аварии или третьей мировой войны никто еще с повестки дня не снял. Но киносъемку в той войне делать, наверное, не придется: некого будет снимать... Да и некому... Хотя... После взрыва хиросимского «Малыша» фоторепортер Харно Киёси прошел опустошенный город вдоль и поперек и... кое-что заснял... Но ведь в Хиросиме был стандартный мегатонный «Малыш», да еще взорванный на высоте пятисот метров...

Сергея привезли вчера ночью самолетом. Парню здорово не повезло. Работник НИИ. Манипулировал с радиоактивными веществами в «горячей камере». Кажется, с плутонием. Из-за чрезмерного сближения кусков вещества произошел ядерный всплеск или взрыв... Словом, высокоинтенсивная нейтронная и гамма-радиация.

Когда это произошло, очень спокойно оценил ситуацию. Вышел из помещения. Несмотря на сразу же начавшуюся рвоту, написал отчет о случившемся, рассчитал ориентировочную дозу, им полученную,— около десяти тысяч рад... Предположительно, была активность эпитцентра ядерного взрыва...

Тут сразу же надо сказать, что для смертельного исхода достаточно шестисот рад...

Через полчаса потерял сознание. Пришел в себя у нас в клинике через восемь часов после аварии. Увидел плачущую жену, сказал ей:

— Ты знала, с чем я работал... Это могло произойти в любой день... Радуйся, что случилось не год и не два назад... — Потом тихо добавил: — Хорошо еще сына успели родить... — и улыбнулся.

Если бы не наша помощь, он бы уже умер. Но... Очень хотелось спасти его, хотя подобную клинику острой лучевой болезни мы наблюдали впервые и опыта почти не было...

Внешность: Атлет колоссального роста (сто восемьдесят девять сантиметров). Лицо умное, немного насмешливое. Глаза серые с пушистыми ресницами. Брови, сросшиеся на переносице. Большой прямой, с горбинкой нос, крупные губы. Когда улыбается, выражение лица становится беззащитным, по-детски беспомощным. Ослепительно белые крепкие зубы. Волосы редковатые, светлые. Зачесаны назад...

Я все это записал и постарался накрепко запомнить его еще, несмотря на обширные ожоги и отеки, необычайно красивого и одухотворенного. Пройдет всего несколько часов, и он неузнаваемо изменится...

2

Директор института Семен Петрович Сурьмин был глубоко убежден, что работа, которую проводит под его руководством лаборатория протекторов, направлена против смерти, и только против смерти!..

Глубоко сунув руки в карманы брюк, он вышагивал по красной ковровой дорожке своего рабочего кабинета, глядя в пол и напряженно размышляя.

Да! Сурьмин знает, чего хочет! Вернее, — чего от него ждут люди... Да-да!.. Многие тысячи людей, работающих на атомных электростанциях... И вообще — все люди, которых, не дай бог, может поразить ядерная радиация... Ведь радиация — это не сказка... Реальность!.. Суровая реальность сегодняшнего дня!..

Размышляя так и все более наполняясь уверенностью и пружинистой силой, Семен Петрович вспомнил то давнее время, когда он впервые занялся проблемой антитодов.

Антитод — означает «против смерти»!

Да-да... Он уже давно воюет против смерти... Очень давно... Но тогда он синтезировал и исследовал вещества, блокирующие вредное воздействие отравляющих веществ... Теперь же... И это закономерно... Он создает вещество-протектор — защиту против ядерной радиации...

Три года опытов на мышах и кроликах дали, по его мнению, неплохие результаты. Выживаемость подопытных кроликов и мышей оказалась значительно выше выживаемости животных контрольной группы.

— Значительно выше! — повторял он приятно звучащую фразу, продолжая прохаживаться взад и вперед по кабинету.

Но в это же время в его сознании подспудно шла еще другая, не менее важная работа по выработке решения. Там, где-то на втором плане, перед его мысленным взором возникли два Сурьмина. Один молодой, пышноволосый, подтянутый, в ладно сидящей черной тройке, второй — плешивый, с отеком невыразительным лицом и уставшими выцветшими глазами, в мешковатом сером костюме, несколько скрадывающем полноту...

Молодой человек — это был Сурьмин времен работы с анодами, пожилой — периода создания протекторов...

Двойники как-то странно расположились в пространстве кабинета, хотя эта странность показалась Сурьмину отчасти закономерной: молодой — у письменного стола, старый — у входной двери...

Когда реальный, во плоти, Сурьмин подходил к столу, он видел себя молодого, полного сил и замыслов. Теплая приятная волна заполняла его грудь. Он улыбался. Память давнего успеха ласкала сердце...

— Против смерти! — произносил он вслух. — Только против смерти... — И подмигивал пышноволосому молодому Сурьмину, стоявшему у стола.

Когда же он подходил к двери и встречался взглядом с Сурьминым-стариком, то начинал ощущать ускользящее время...

Он не любил... Нет! Просто ненавидел этого старого человека, который так поздно взялся за столь важную работу.

— Выживаемость подопытных значительно выше!.. — произносил он, словно бы успокаивая себя, и пожилой двойник понимающе и как-то даже заискивающе кивал ему.

Так он ходил взад и вперед, словно маятник, отсчитывая шаги от молодости до старости и обратно. От успеха до, казалось, безнадежности, и напряженная аналитическая работа все больше и чаще подталкивала его к выводу о необходимости клинических экспериментов.

Он попытался было, поравнявшись с собой молодым, произнести:

— Выживаемость подопытных значительно выше...

Но молодой Сурьмин недоверчиво улыбнулся, укоризненно покачал головой и вслед за тем исчез.

Сурьмин в испуге повернулся и пошел к двери. Старый плешивый мужик в сером костюме поджидал его в конце красной ковровой дорожки и вдруг с готовностью произнес:

— Выживаемость подопытных значительно выше... — и глубоко заглянул в глаза приятно удивленного Сурьмина, после чего, как и молодой, мгновенно истаял в пространстве...

Семен Петрович остановился посередине кабинета и, высоко вскинув голову, вымученно рассмеялся.

— Что это я?.. — сказал он в пустоту комнаты, но сомнений больше не существовало.

Он быстро прошел и сел за письменный стол.

— Очень мало времени! — вдруг жестко произнес он, вольно ища глазами своего пожилого двойника. Но увы! В комнате, кроме самого Сурьмина, никого не было.

— Время не ждет!.. Протектор нужен людям... — снова жестко повторил он, как бы завершая тяжкую внутреннюю работу души и с ненавистью подумав о своем старом, но так понимающем его двойнике, возбужденно выкрикнул. — Против смерти! — И задорно подмигнул кому-то в пространство.

Семен Петрович еще не знал, что ночью в институтскую клинику привезли смертельно облученного Сергея.

А когда на следующий день узнал об этом, невольно приободрился, подумав, что жизнь сама выводит его на широкую дорогу клинического опыта...

3

Сергею казалось, что он успел найти путь к бессмертию... Ах!.. Это как дикая неутолимая жажда!.. Он успел! Успел постигнуть тайну... Он создал модель своего бессмертия!.. И в

короткие периоды затихания болей, непрерывно думая об этом, словно прокладывая мостик от своей жизни до взрыва к тому близкому и страшному, чем предстояло ему стать после недалекой уже смерти...

Гипотеза советского ученого Фирсова о сжимающихся и расширяющихся с определенной периодичностью космических системах завладела воображением Сергея незадолго до трагических экспериментов. Фирсов умер молодым вскоре после того, как сделал открытие. А было это в начале двадцатых годов в голодном Петрограде...

Размышляя, Сергей держал руками рычаги манипуляторов и, прильнув к толстому защитному свинцовому стеклу «горячей камеры», медленно сводил кусочки полукритмасс плутония, внимательно следя за тем, чтобы не сдвинуть куски чересчур близко. Тогда взрыв, смерть... Он все время видел выступ стопора. Это его успокаивало, вселяло уверенность, что все будет нормально. Прислушиваясь к учащающимся щелчкам из динамика интегратора, все думал, думал...

Образ стремительно расширяющейся стихии ожил в его сознании. Олицетворился с революцией, которую он вдруг представил как систему... Космическую систему обновления. Князья, цари, а потом монархия Романовых сжимали, стягивали Россию все более усиливающими давлением обручами централизации. Пока... не началась пластическая деформация системы, а за нею последовал разрыв пути... Стремительное расширение...

Вольница Революции? Нет! Расширение шло по законам марксизма. Ленин был олицетворением, энергией движения. Очищающий, преобразующий вихрь должен был длиться достаточно долго. Но Ленин умер...

Сергей знал, что космогенные теории неправомерно распространять на общественные системы, но...

Теперь Сергей лихорадочно думал: «Мы не в безвоздушном пространстве. Огромная страна Россия — несется вскачь. Человечество следит за нами. И чем большую энергию мы развиваем, тем зорче будет следящий глаз...»

Думая так, он все время цепко держал в поле зрения стопор, который как предохранитель у бомбы. Пока взведен, взрыва не будет... И снова будоражил, то появляясь, то исчезая, настырный вопрос:

«Кто мы, люди? Вонючий сгусток живой материи? Нас так мало... Масса живого, мыслящего вещества — ничто в общей массе Вселенной, неживой, сжимающейся и расширяющейся. Единение, сжатие — это средоточие колоссальной энергии созидания, добра... Но и зла... Ибо в великой силе, где-то в самой глубине, заключено и великое зло. Ибо два начала в энергии — жизнь и смерть. Да-да! Фирсов прав — чрезмерное единение, концентрация чреват взрывом... Часть и Целое. Найти их разумное соотношение. Природа в нас. Мы в Природе. Мы — Природа. А раз так, ее законы справедливы и для нас...»

Кусочки плутония все более сближались, щелчки от динамика интегратора становились чаще. Сергей отрывал руку от манипулятора, делал записи. Главное не разогнаться на мгновенных нейтронах...

«Слотин, кажется, очень кричал...» — вспомнил он рассказ одного американского физика о своем знаменитом друге, участнике создания американской атомной бомбы.

«Мы вонючий сгусток слизи, живой слизи... Кости, тело — нельзя считать жизнью... Жизнь только в мозге. В серой сметане из нейронов и синапсов... Пять миллиардов черепных коробок. Пять миллиардов маленьких галактик. Целый космос, ужатый до объемов мозга и втиснутый в граничные размеры черепа... Как нас ничтожно мало в общей массе Вселенной! И как, оказывается, много мы можем! Но что значит — «много»? Мы расковышиваем у нас на Земле притихшие силы мирового Космоса. Мы освобождаем сжатую в нас энергию. Мы

стремимся к свободе. Но к какой? Каковы граничные рамки Вселенной, каков ее «череп»? Мы пытаемся слиться с Галактикой, с Космосом? Это?.. Или мы хотим задержать, продлить случайно возникшее равновесие, названное жизнью? Что есть Мировой разум? Мы? Или то, есть в иных мирах? Или Мировой разум — это только отпечаток, оттиск исчезнувшей жизни на матрицах Вселенной?.. Мираж, манящий нас сладостью поиска?.. И не по образу ли и подобию Великой Материи Галактики построена мыслящая материя человека? И не находится ли она в постоянной и непрерывной связи со своей прародительницей? Велики и таинственны законы подобия!..»

«Не забывай о стопоре!.. — повторял он сам себе, когда через металл манипулятора ощущал легкие щелчки полукритмассы о борт предохранителя. — Не забывай!..»

Сергею вдруг отчетливо представилось, что Вселенная не просто случайное скопление звезд, горящих и потухших, пространство между которыми заполнено космической пылью. Нет! Это строго организованная система не только в ньютоновском и эйнштейновском понимании этого слова. Не представляет ли собой система космических тел сверхмощные и сверхчувствительные приемные и усиливающие устройства, через которые каждый звук, произнесенный на Земле, любое сколь угодно малое биополе, излучаемое мозгом человека Или животного, улавливается этими устройствами и регистрируется на гигантских запоминающих устройствах космической памяти?.. Ничто не исчезает бесследно! Ничто!.. В этом мире бесконечной, неумирающей и Великой Материи!..

Сергей очень хотел, чтобы так было.

Порою ему даже казалось, что все это пахнет идеализмом, оправданием существования божественного Мирового разума, но вскоре он понял, что неожиданные образы и идеи эти лишь разрушают идеалистическую идею мистического Мирового разума. Все объяснимо! Материя всеильна и всепобеждающа! И да! Может настать час, когда развернется в нашу сторону мировой космический детектор, и мы услышим голос неба, но это будет голос не бога, но человека, увековеченный своеобразной электроникой мирового Космоса. Сработает вселенская обратная связь. Обратная связь всепобеждающей жизни!..

«Невольный поиск, побег в бессмертие...» — с улыбкой подумал он о себе, сближая очередные куски плутония.

Таким образом, человек, созданный Вселенной, все время находится в ее фокусе, являясь единственной в мироздании живой мыслящей материей. Космос нуждается в человеке. Космосу нужен мыслящий мозг, ибо человек — это инструмент Вселенной в познании самой себя...

И теперь, сближая с помощью манипуляторов куски плутония в «горячей камере», он думал, что в какой-то мере повторяет опыты доктора Слотина, который экспериментировал с «сердцем» атомной бомбы...

И вдруг далекое, откуда-то из двадцатых годов, лицо Фирсова, худое, с черными горящими глазами, всплыло перед Сергеем и вслед за тем погасло...

Сергей был восхищен стройностью и неожиданным долголетием гипотезы молодого ученого, позволившей ему теперь приблизиться к бессмертию... Неважно, что это у него получилось именно так, по-своему, но ключ ему дал этот истощенный молодой парень из голодного Петрограда...

Но атомная бомба... Определение минимальных критмасс ядерной взрывчатки теоретическим путем всегда неточно и требует проверки опытным путем...

Гипотеза сжимающихся и расходящихся космических систем владела Сергеем. Мир вокруг обрел новую значимость. Особенно остро последнее время трогало его все живое — жучок ли, пташка, дождевой червь на влажной тропке после грозы...

Стала поражать схожесть отдельных внешних черт человека и животных, зверушек, птиц. Глаза-то у всех почти одинаковые... Уши, рот, дыхательные отверстия... А текущая по жилам кровь?... И все, все!.. Как много роднит нас, людей, и все живое на земле! Так похоже!.. Человек! Не слишком ли вознесся ты над живым многообразием? Случайности радиационной мутации вручили тебе разум и могущество... То есть опять же — Космос. Оттуда пришла твоя сила. Оттуда!.. Так удержи, продли случайно возникшее равновесие, названное жизнью. Продли!..

Сергей знал, как умер Слотин. Девять дней невероятных мучений. Тогда он чрезмерно сблизил полушария урана-235, предназначенные для хиросимской бомбы. Одно из полушарий проскользнуло, и зазор, препятствующий интенсивной цепной реакции, мгновенно уменьшился. Образовалась критмасса, и лабораторию наполнил ослепительный голубой свет. Завыли сирены. Присутствующих охватил панический страх. Полушария урана сдвинулись настолько, что мог произойти ядерный взрыв. Слотин перескочил через защитную стенку и руками рванул полушария в разные стороны...

Сергей извлек урок из опыта Слотина. Он теперь производил эксперименты один. К тому же критмассы были значительно меньшими.

Слотин оперировал с зарядом «Малыша», убившего Хиросиму, Сергей же работал с миниатюрными ядерными зарядами. Но суть была та же: уточнение и доводка критических размеров.

Он невольно ловил себя на том, что представляет себя битым, погибшим от ядерного взрыва. Это происходило само собой. Видимо, так ему было легче. Заранее предполагал худшее и тем самым снимал напряжение. К тому же это ведь могло случиться...

То он видел себя в воображении рядом со Слотином, то в эпицентре ядерного взрыва в Хиросиме. Его невольно тянуло туда, притягивало словно магнитом. Случится взрыв, он сразу же окажется там, в развалинах Хиросимы. Пройдет разрушенный город вместе с фоторепортером Харно Хиёси, проползет весь путь от кухни до реки с киноактрисой Мидори Нокао... Он будет там! Там!.. Он давно готов. Давно... Он работает против войны таким вот опасным способом, но умрет ее жертвой... Почему в Хиросиме? Она — антиатомный символ...

Но вывод, к которому он пришел путем мучительных размышлений, отправляясь от гипотезы Фирсова, говорил о другом, и Сергей, как заклинание, повторял его:

— Нет! Человек не должен быть уничтожен! Он неуничтожим, как неуничтожима материя...

4

Срочное совещание у Сурьмина (директор института, при котором наша клиника) с участием представителя главного управления.

Инициатор совещания Арсений Иванович. Он как никогда возбужден. Теперь никого не могла обмануть его внешняя тщедушность. Вулкан, сокрытый в нем, готовился к извержению.

Сурьмин же, как всегда, внешне бесстрастен, даже флегматичен, в любой ситуации. Перед совещанием он подозвал меня и спросил, не желаю ли я перейти в его лабораторию...

Он у нас сравнительно недавно. Биохимик. Пришел из какого-то «ящика», где занимался вопросами создания антидотов. У нас организовал и возглавил лабораторию протекторов (слово «протектор» означает — защита) с целью синтезировать вещество, блокирующее

действие ионизирующих излучений на живую ткань. Дело нужное, спору нет. Но еще нужнее предотвратить ядерную войну и устранить источники радиации...

Мы уже немного раскусили его. Внешне флегматик, но в работе бульдозер. Арсений Иванович, можно сказать, с первого дня нутром не воспринял его...

Я сказал Сурьмину, что должен подумать и посоветоваться с Арсением Ивановичем. Как-никак я его ученик, и под его руководством завершаю работу над диссертацией...

— Защититесь у меня, — сказал Сурьмин равнодушным голосом.

— Этика, знаете... — засмеялся я. — Неудобно...

— Ну, думайте... — сказал он. — Только быстрее. Время не ждет. Мы готовим эксперимент...

Совещание началось бурно. Слово взял профессор Синицын. Такой уж это был человек. Покоя от него не жди.

— Я считаю действительно необходимым, — нетерпеливо начал он, — немедленно, сию же минуту, приступить к съемкам цветного фильма. Сегодня и, я надеюсь, еще долго, поступивший в клинику будет редчайшим и типичнейшим случаем острого лучевого поражения. Налицо — смерть под лучом! Мало описать клиническую картину, надо и очень полезно многим, студентам в частности, ее увидеть. Так или примерно так умирают люди, облученные в эпицентре ядерного взрыва... Мы должны запечатлеть эту картину с научной целью... К сожалению, в Хиросиме фоторепортер Харно Хиёси, чудом оставшийся в живых, очень редко нажимал на спуск фотокамеры... Но... Там это можно понять... Нам же непростительно упускать такую возможность... Я категорически настаиваю на разрешении отснять фильм!..

— У вас все, Арсений Иванович? — бесстрастно спросил Сурьмин.

— Да, у меня все.

— Как ваше мнение, Илья Фомич? — обратился Сурьмин к представителю главного управления.

Видимо, Илья Фомич не ожидал столь быстрого к нему обращения и не совсем кстати спросил:

— Мое мнение?... — Затем, рассердившись на себя за выказанную неловкость, уже твердо заявил:— Мое мнение таково, что, Арсений Иванович, нельзя аварию делать типичным случаем и обобщать. Не слишком ли вы горячитесь? Статистика, например, показывает, что поступившие именно ваше отделение с наибольшим процентом аттестуются к профбольные... Так, извините, можно докатиться черт знает до чего...

— До чего же, интересно? — спросил Арсений Иванович и тщательно протер платком лысину.

Худощавое, обычно бледное лицо его было теперь ровно розовым, широко раскрытые глаза полны недоумения.

— А до того, что все работники атомных установок окажутся сплошь профбольными... Это недопустимо в любом смысле... И в политическом тоже... — добавил Илья Фомич многозначительно.

— Стало быть, если я вас правильно понял, — Арсений Иванович слегка побледнел, — я не доктор медицинских наук, а специалист по левой ноздре и занимаюсь очковтирательством?..

— Ну что вы, Арсений Иванович! — Представитель главка не особенно струхнул, да Синицын и не пытался пугать его. Просто такой у него темперамент, и объясняется он всегда бурно.

Вообще, по секрету, сторонники Арсения Ивановича уже знали, что он собирается уходить в институт к своему старому учителю профессору Кумирскому. Сурьмин определенно мешал работать, и условия складывались все более неблагоприятно. Первое, с чего он начал,— это беззастенчиво стал переманивать к себе сотрудников Сеницына, предлагая более высокие ставки. Двое клюнули... Второе — он стал ограничивать как-то незаметно ассигнование средств на эксперименты в нашем отделе. Это делалось очень осторожно, но вскоре стало сказываться. Зато уж лаборатория протекторов обеспечивалась на все сто, прямо по литерному пайку. Третье — он постепенно восстановил главковское начальство против нашего отделения, и против Сеницына главным образом.

И вот сейчас, сидя на совещании, я будто впервые увидел Сурьмина. Пытался как-то совместить злонаправленность, как мне казалось, его действий со столь невыразительной внешностью. Я, конечно, понимал, что физиономизм тут совершенно ни при чем. И тем не менее жадно смотрел на него, пытаясь уловить в этом небольшом лице скрытые черты упорного и злого характера.

Тщательно бритый череп лоснился, миндалины серых бесстрастных глаз казались вдавленными в розовое тесто лица. Брови не просматривались. Небольшой, дулькой, носик тоже казался прилепленным кусочком теста. Губ в обычном понимании не было. Была небольшая, в основном плотно сомкнутая ротовая щель. Словом, почти что маска, если бы не кожа лба, очень подвижная и уползающая на темя всякий раз, когда Сурьмин хотел рассмотреть кого-либо повнимательней. Эта его редкая и неожиданная мимическая гримаса казалась мне особенно неприятной и раздражающей. Но спору нет, там, за этим лбом, здорово работали извилины. Работали целенаправленно и упорно. Это мы уже все почувствовали...

Я невольно посмотрел на Арсения Ивановича и не мог оторваться. Лицо его, полное противоречивых чувств, притягивало столь необычной сегодня открытостью. Чуть выпуклые большие карие глаза выражали некоторую растерянность. Конечно же он переживал сейчас обидный выпад главковского представителя, и я не сомневался, что он ответит убедительно. И тем не менее я думал, что действия Сурьмина по отношению к нам в какой-то степени можно было понять. Ведь Арсений Иванович категорически отказался сотрудничать с ним на ниве изучения и поисков протектора. Не то чтобы он в принципе был против протекторов. Отнюдь. Он просто был против сурьминской постановки задачи. Арсений Иванович считал, что эксперименты надо проводить на кроликах и мышах до тех пор, пока не будут окончательно выяснены механизмы действия вещества протектора на живую клетку. Пока что наши встречные контрольные опыты на мышах показали, что применение протектора приводит к последствиям не менее тяжелым, чем последующее после его введения облучение. Контрольные опыты ставил я. Методами биологической дозиметрии владел также я. Это было темой моей диссертации...

Но Сурьмин торопился... Ох, уж эта мне торопливость! Сумасшедший бег времени. Он, как мода, увлекает, торопит людей. К результату! К результату!.. Скорее вылущить ядрышко, разжевать и проглотить... Горько!.. Ах, го-о-орько?..

Сурьмин нетерпеливо ждет добровольцев. Успеть первым?.. Работают американцы, французы, англичане? Ну и что?.. Открыли коробочку, а там гремучая змея... А теперь бегаем кругами, пытаюсь найти противоядие...

Назад в коробку? Дудки! Дураков нет! Процесс необратим. Впрочем...

Но Сурьмин широко афиширует работу, выпячивая, конечно, благородство цели, конечный результат. Пресса, радио...

Недавно я был случайным свидетелем, как его ближайший, но пока еще мало умеющий помощник Низов, сидя перед Сурьминым, выразительно читал текст своего предстоящего выступления по радио.

«Низов о Сурьмине», — подумал я.

«Семен Петрович, — читал Низов, — увлекающийся человек. Пройдя труднейшую школу жизни, он остался при этом прекрасным, целеустремленным человеком, замечательным товарищем, любящим людей, искусство, литературу... Последнее хочется подчеркнуть особо. Семен Петрович отлично разбирается в литературе...»

Низов читал с энтузиазмом, и его густая, острыми волнами, каштановая шевелюра казалась еще гуще рядом с плешивым, поблескивающим черепом Сурьмина.

Я вошел неслышно, и они поначалу меня не замечали.

Сурьмин слушал с каким-то странным выражением на лице, немного склонив голову. Казалось, будто он чуть-чуть недоволен или смущен, но все же по всему облику его было видно — он принимает текст...

Я очнулся, когда услышал, что Арсений Иванович обратился ко мне.

— Игорек, объясни уважаемому представителю главного управления, каким образом мы определяем профзаболевание... — И уже ко всем: — Это, кстати сказать, тема его диссертации, которую он вскоре защищает...

Я встал и начал объяснять, обращаясь главным образом к представителю главка и с удовлетворением отмечая, как он порозовел от смущения и схватился за ручку и блокнот.

«Пиши, пиши, голуба...»

— Мы пользуемся методом биологической дозиметрии, который нами детально разработан. Сущность метода заключается в следующем. Достоверно известно, что под действием ионизирующих излучений хромосомы пострадавшего подвергаются разрушению, расщеплению, расчленению, если хотите. Это неоспоримый факт, и он достаточно подробно описан как у нас, так и за рубежом... Нами замечено, что характер разрушений хромосом, или хромосомных aberrаций клеток крови, зависит от дозы, полученной больным. Далее сама собой напрашивалась мысль получить эталоны хромосомных разрушений, чтобы затем с ними сравнивать реальные случаи поражений как с известной, так и с неизвестной мощностью Дозы. Мы облучали гамма-лучами «ин витро» (в пробирке) Донорскую кровь и получили довольно широкую шкалу эталонных хромосомных aberrаций и, таким образом, в настоящее время имеем возможность с достаточной степенью точности определять степень лучевого поражения в случаях, когда неизвестна доза, полученная поступившим. Таким же образом мы проверяем известные, официально отмеченные в документах дозы, и проверка показывает, что в некоторых случаях дозы на местах занижаются...

— Достаточно! — прервал меня Арсений Иванович.— Думаю, вопрос о завышенном проценте сдох, едва успев родиться.

Представитель главка, на этот раз уже здорово красный, уклончиво улыбался, мол, здесь еще не все ясно...

Арсений Иванович ринулся в атаку:

— Товарищи! Я настаиваю на отснятии фильма!

— Я не понимаю вашей горячности, — спокойно вставил Сурьмин.

— Лучше сто раз увидеть и сто раз услышать! — парировал Арсений Иванович. — При опытах с протектором, особенно на людях, я советую тоже прибегнуть к кино съемке. Это будет убедительный документ...

Это уж было слишком. Арсений Иванович всегда вот так. Выльет все, что накопело на душе, а потом остынет и жалеет о своей горячности.

Сурьмин побледнел. На мгновение глаза его метнулись в разные стороны, словно ища выхода. Но эта слабость, если можно ее так назвать, длилась столь недолго, что вполне могла быть и незамеченной. Он промолчал. Да. Выдержка отменная. Потом мягче обычного и даже несколько заговорщически спросил представителя главка:

— Ну как решим, Илья Фомич?..

— Я должен посоветоваться с начальником главного управления, — ответил тот достаточно твердо.

— Заметьте при этом, — сказал Арсений Иванович, — что время не ждет и поступивший умирает. Мы делаем все, чтобы его спасти, но это как раз тот случай, — Синицын в упор смотрел на Илью Фомича, — когда бесспорное профзаболевание приведет к неизбежному летальному исходу...

К чести Ильи Фомича надо сказать, что он хоть и густо покраснел, но напор Арсения Ивановича выдержал и глаз не отвел...

5

Подкорка работала... Но вот вернулось сознание, и заработала кора. Память торопливо вернула Сергея к исходной ситуации и словно оттиск поднесла ему пережитое в последние десять часов.

«На испытаниях тактического ядерного оружия (в основном малые заряды ствольной артиллерии) вместо атомных взрывов порою случались «клевки». Взрыв происходил без светового воздействия и ударной волны. Куски ядерной взрывчатки соединялись при этом, видимо, недостаточно плотно или же полукритмассы плутония несли в себе какие-то дефекты. В этих случаях критмасса превращалась всего лишь в мощный источник ионизирующего излучения, что для ведения боевых действий было явно недостаточно...

Сергей искал причины отказов. Засиживался в «горячей камере» допоздна. В его распоряжении был набор кусков плутония разной давности производства и с разных заводов.

«Может быть, идет зашлаковывание продуктами спонтанного распада...» — думал он, набирая и исследуя критмассы из разных партий делящегося материала.

И хотя работа производилась в «горячей камере» с помощью манипуляторов, вероятность ядерного всплеска или «клевка» имела. Случись взрыв, биозащита — монолитная железобетонная стена и толстое свинцовое смотровое стекло в ней — не спасут...

Работая с критмассами, Сергей все время помнил о Слотине. Канадский физик, положивший свою жизнь ради атомной мощи Соединенных Штатов Америки, был в сознании Сергея как недреманное око, как своеобразный внутренний предохранитель...

Главное, не сблизить куски плутония больше положенного, чтобы не произошел неконтролируемый разгон... Память умирающего Сергея работала быстро, мышление было воспаленным и четким. Он теперь с какой-то особой старательностью прослеживал каждый свой шаг, словно это могло спасти его, отодвинуть неминуемую смерть. Степень засоренности плутония разных партий шлаками Сергей определял при одинаковом расстоянии сближения по нарастающему интенсивности потока нейтронов, контролируемого приборами.

Сблизить куски ядерной взрывчатки ближе допустимого не позволяли стопорные бурты. И все же... Сергей все время помнил о миллиметрах смерти... Так он называл застопорное пространство, которое ничем не отличалось от остального — тот же воздух и безопасная интенсивность радиации...

Но в основном Сергей не думал об опасности. Работа как работа. Надо было всего-навсего промерить все куски делящегося материала и составить номограмму — эталон оценки взрывоспособности. Для физика его класса работа была несложной, даже в какой-то степени рутинной. Но тут важна была его глубокая эрудиция в вопросах нейтронно-физических процессов в критических массах. Именно это...

Автоматизм... В таком деле страшнее всего автоматизм...

Когда он увидел голубую вспышку, было уже поздно

«Срезало стопорящий бурт!..» — мелькнуло у него буднично.

Мысленно прикинул мощность дозы: не менее десяти тысяч рад... Вполне достаточно на двадцать смертей...

Мысли стали рваться, во рту пересохло. Очень резко, до темноты в глазах, до полуобморока, сжались сосуды. Мышление стало неуправляемым. Он с трудом написал объяснительную. Все время смотрел на часы, будто ожидал взрыва в самом себе.

«Минут через двадцать отключусь...» — подумал он.

Невольно перед глазами распахнулись просторы Земли,— и взрывы, ядерные взрывы... Один за другим... Много, очень много...

«Что это я? Что это я взрываю?.. — отмахивался он от видений. — Или это месть?.. Почему должен умирать только я?! Почему?! Нет-нет! Я не боюсь... Не боюсь... Здравствуй, смерть!.. Вот ты, оказывается, какая!..»

Он чувствовал, как все тело сжимает, словно невидимые кольца удава плотно обвили его. И снова услужливо вспыхнуло подсознание, подсунув ему как вариант, как подсказку вывода...

Недавно он видел, как самосвал сбил девушку. Она упала и тут же потеряла сознание. Все тело у нее мгновенно сжалось, и сапоги сами съехали с ног. Когда ее относили с дороги, снялось платье...

«Сжатие смерти...» — слышал он чей-то голос.

«Вот он час!» — все закричало в нем.

— Подкорка работает... — сказал Сергей вслух. — Скоро будет работать только одна подкорка... Вплоть до самой смерти...

Его стало скручивать, будто кто-то гигантский сгибал его в бараний рог. Он упал на пол, сознание отключилось. Но подкорка работала. Лихорадочно, надрывно, словно спешила успеть нахвататься жизни... В подсознании на него то стремительно наплывало, увеличиваясь до гигантских размеров, то удалялось, превращаясь в точку, лицо физика Фирсова...

«Вселенная расширилась! Сжалась, сжалась, сжалась!..»

Сергей лежал на полу, все более сжимаясь, скручиваясь. И вдруг подсознание застопорилось и затем устремилось куда-то...

Надо успеть!.. Рабочие еще стоят у своих станков, чиновники работают в канцеляриях, женщины занимаются уборкой или покупками, дети играют в парках. Голубое небо, утреннее солнце, бескрайнее море, штиль. Портовый город живет обычной жизнью...

Через пять минут майор Фирби откроет бомбовый люк...

Сергей спешил в Хиросиму. Он так торопился, что началась одышка. Только бы успеть достичь эпицентра атомного взрыва раньше, чем он произойдет... Сергей знал, что погибнет вместе с Хиросимой. Он ведь крохотная добавка всего к сотням тысяч смертей, но он принадлежал им... И он успел...

Майор Фирби открыл бомбовый люк «Энолы Гэй» ровно в восемь часов пятнадцать минут. Или немножко раньше. На пятьдесят восемь секунд. Потому что через пятьдесят восемь секунд содрогнулась земля и дома начали с грохотом падать...

Бомба взорвалась на высоте пятисот метров над центром города. Сначала появилась маленькая яркая точка, которая мгновенно превратилась в огромный шар диаметром восемьсот метров. Затем шар лопнул, испустив в небо огненный столб пурпурного цвета. Из моря пламени поднимался белый столб дыма, который расширялся вверху, приобретая форму шляпки гигантского гриба. Гриб достиг высоты восемнадцати километров. Внизу, у его подножия, в круге диаметром пять километров бушевала красная кипящая масса. Так выглядел взрыв сверху...

С земли Сергей увидел атомный взрыв иначе. Сначала появилась ослепительная зеленоватая вспышка, грохот. Острая режущая волна горячего воздуха, и в следующий момент все вокруг загорелось. Страшная тишина, наступившая вслед за грохотом неслыханной силы, нарушилась треском разгоравшегося огня...

Под обломками рухнувших зданий лежали оглушенные, раненые, в пламени гибли женщины, в огненном кольце умирали очнувшиеся и пытавшиеся спастись...

С людей, которых взрыв застал на улице, валилась вспыхнувшая одежда, вздулись отеками руки, лицо, грудь... Лопались багровые волдыри, и лохмотья кожи сползали на землю...

Те, кто еще стояли на ногах, как привидения, с поднятыми руками, двигались толпой, оглашая воздух криками... По земле полз грудной ребенок без кожи. Мать мертва... Ни у кого нет сил прийти на помощь, поднять... Оглушенные и обожженные люди, обезумев от мучительных болей, слепо тыкались в разные стороны, ища выхода.

Часто меняющийся ветер приносил удушающий смрад. Город горел. На улицах всюду лежали люди — живые к мертвые...

Сергей брел, переступая через трупы, и горестно думал: «Это всего лишь «Малыш», одномогатонная бомба... В теперешних кассетных боеголовках каждая составляющая имеет мощность, равную десяти «Малышам»... Что же будет?.. Что же будет в той войне?..»

Несмотря на сильный запах дыма от бушевавших вокруг пожаров, очень остро все же ощущался запах озона. Кислород был ионизирован мощной ядерной радиацией...

Сергей шел... Кругом вповалку лежали и корчились в мучениях люди. Живые выглядели ужаснее мертвых. Люди, у которых от взрыва вытекли глаза, ползли по улицам, стараясь по памяти найти путь к реке, чтобы утолить страшную жажду. Они уже не были похожи на человеческие существа, а напоминали скорее личинок насекомых, которые упали с листы на тротуар и теперь беспомощно ползли...

Сергей вдруг натолкнулся на идущего навстречу человека. Это был фоторепортер Харно Хиёси из хиросимской ежедневной газеты «Сигоку Симбин», чудом уцелевший.

«Ах, какой чудовищный материал! — подумал Сергей, задыхаясь от гари и жары. — Но печатать будет негде. Все типографии города уничтожены...»

— Почему вы так мало снимаете?! — выкрикнул Сергей. — Посмотрите вокруг! Прошу вас, снимайте, ради бога, снимайте!..

Но Харно Хиёси редко нажимал на спуск.

— Мне стыдно, — сказал он, — запечатлевать на пленке то, что открылось моим глазам...

«Жаль, очень жаль, — думал Сергей, поспешно направляясь дальше, к эпицентру взрыва, к «кругу смерти». Весь город не погиб мгновенно и целиком. Не все мужчины, женщины и дети Хиросимы умрут сразу, избавившись от чудовищных страданий. Многие будут обречены на длительное, бесконечное умирание... Нет! Хиросима не безмолвное кладбище,

как она выглядит на фотографиях, а место неописуемых мук и отчаяния... Это говорю вам я, умирающий так же, как они...»

Сергей торопился. Ему надо еще было найти киноактрису Мидори Нокао, женщину редчайшей красоты и таланта. Он должен ее найти, она там... Он огляделся вокруг. Все, кто мог бежать, идти или хотя бы ползти, чего-то искали: глоток воды, еду, лекарство, врача, жалкие остатки своего имущества и прежде всего тех, кто уже избавился от страданий — своих погибших близких...

Чудом оставшиеся в живых постепенно выбирались из внутреннего «круга смерти» и отошли на два-три километра от места наиболее сильного воздействия бомбы. В «круге смерти» осталась пустыня. Зловещее, абсолютно лишенное жизни, пятно лежало между семью рукавами устья реки Оти. При каждом приливе и отливе ее течение непрерывно несло трупы...

У парализованных людей изо рта шла кровь. Когда кровотечение прекращалось, человек умирал...

«Мне еще все это предстоит...» — думал Сергей, стараясь не наступить нечаянно на тела мертвых или агонизирующих людей.

В более легких случаях радиационные поражения проявлялись в необычайно низкой сопротивляемости организма. Укус обычной блохи вызывал долго не заживающую гнойную рану...

Сергей прикинул мощность дозы облучения. В центре взрыва она достигла двадцати тысяч рентген в час, а на расстоянии трех километров от эпицентра в некоторых местах составляла около одного рентгена в час...

Мидори Нокао Сергей нашел в обломках здания в семистах метрах от эпицентра взрыва. Как ни странно, она внешне не изменилась. Только несколько ссадин. Она была в нижнем белье.

— Ах, — сказала она, схватив Сергея за руку, — произошло что-то ужасное. — Голос Мидори дрожал, ее знобило. — Я была на кухне, потому что должна была варить завтрак своим коллегам. На мне был легкий красно-белый халат, когда комнату озарил белый свет. Я подумала, что это взорвался котел, а потом потеряла сознание. Когда я пришла в себя, вокруг было темно... Потом ты меня нашел, мой бедный мальчик...

Они сначала бросились бежать к реке, потом упали, обессилев, и поползли. Мидори Нокао в рваной исподней сорочке, едва прикрывающей наготу, Сергей в новом сером костюме, в котором его застал ядерный разгон...

Повсюду пылала огненная буря. Они задыхались от гари и смрада. Жаром нещадно жгло кожу... Они достигли реки и бросились в воду. Несколько сот метров их несло течением, а потом какие-то солдаты помогли им выбраться из воды...

Вскоре хлынул черный ливень...

Сергей очнулся в клинике. Над ним склонились врачи.

— Я умер, — сказал он, еле ворочая распухшим языком. — Я умер...

Он закрыл глаза. Все тело его, будто гноем, наливалось невыносимой болью. Боль стала основным и последним его ощущением жизни. И он вдруг стал кричать. Врачи отпрянули от него. Крик был душераздирающий...

Я дежурил, когда позвонила Таня. Слушая ее, с удивлением подумал, что совсем забыл о ней. Болезнь Сергея и вся эта история с Сурьминым и добровольцами как-то незаметно

отдалили нас. Образ моей невесты потускнел, и я теперь слушал ее голос будто из какого-то нереального далека, хотя звучал он очень четко и близко. Видимо, она звонила из автомата где-то совсем рядом.

И удивился я не столько тому, что забыл о ней, а внезапной мысли и ощущению — более важное, более страшное в жизни если не обесценивает вовсе, то заставляет серьезно переоценить прежние ценности.

Я как бы раздвоился теперь между Таней и Сергеем, а точнее, между ним и той ситуацией, в какую попал.

Да! Смерть важнее, чем жизнь! Парадоксально звучит, но ведь когда смерть вот она, рукой подать, думаешь только о ней, борешься только с ней. Тут, конечно, инстинкт, но величайший из всех — сначала отогнать смерть, а потом уже думать о жизни... Собственно, борьба со смертью — это самая концентрированная дума о жизни...

Я слушал Таню, испытывая чувство отчуждения к ней. Понимал, что она ни в чем не виновата, но поделаться с собой ничего не мог. Голос мой звучал деревянно. Она сразу это заметила и с волнением спросила, что произошло. Не получив вразумительного ответа, выкрикнула:

— Все понятно! — И бросила трубку.

Услышав короткие гудки, я бережно опустил трубку на аппарат и задумался. В душе моей действительно происходила какая-то очень интенсивная работа.

Перед внутренним взором проплывали то удивленная и восклицаящая мама, уже старенькая, чуть сгорбленная, с неизменными очками в коричневой роговой оправе и с пушащимися седыми волосами у висков, то аморфная физиономия Сурьмина, то в благородном гневе розовое лицо Арсения Ивановича, то задумчивая фигура Тани, удаляющаяся в перспективу воображаемой улицы...

Я был поскребыш в нашей семье. Два старших брата с семьями жили отдельно, а мы остались вдвоем с мамой. Отец умер десять лет назад от рака легких. Недавно я вспомнил о нем и неожиданно со скорбью подумал, что даже самые родные, самые близкие люди тоже как-то незаметно уходят из души. А почему?.. Когда я сказал об этом маме, она печально покачала головой и заплакала.

— Да, Игорек, да... К сожалению... Но я не знаю почему... Жизнь стала очень бездумная... Как ветер... Дует, дует все... Непрерывный сквозняк... Душу выдувает... Тебе жениться надо... Почему вы тянете с Танюшей?.. Она вполне приличная и порядочная по нынешним временам девушка... Иногда мне кажется, женись ты — и теплее станет... Я уже старая... Могу не дожить...

— Доживешь, обязательно доживешь, мамочка... Вот защищу диссертацию...

Мама строго и изучающе посмотрела на меня и вдруг спросила:

— Скажи, сынок... А вы с ней... Ну...

— Ну что ты, мама!.. — неловко заулыбался я и отмахнулся от дальнейших расспросов.

Помню, мама повернулась и пошла, пробурчав что-то вроде того, что, мол, сейчас все торопятся жить...

Я заметил, что у мамы съехал гармошкой чулок на правой ноге. От этого почему-то больно защемило сердце. Я и раньше замечал... Но нет, это не неряшливость. И это не просто старость... Ломается душа... И частый ее неожиданный, на высоком тоне, выкрик стоит в ушах:

— Спасибо тебе, сыночек, за бодрый голос!

«Мамочка! Что с тобой?! — мысленно восклицал я. — Какие катастрофы регистрируешь ты своей тонко чувствующей душой?..»

И книги... Она почти непрерывно читала. И мне виделось в ее лихорадочном чтении что-то паническое. Ей будто не хватало воздуха, и она словно выхватывала из книг дополнительные глотки кислорода...

Раньше мне казалось: защищу диссертацию, тверже зашагаю по земле... Сергей все поломал. Ну, если не все, то почти все. Собственно, не было бы его и таких, как он, на кой черт тогда моя диссертация? Об этом я как-то раньше не думал... А надо бы. Ой, как надо помнить о том, что все мы на земле повиты одной веревочкой и друг от друга зависим...

Но нет! До конца я все-таки не раскис. Моя работа — это доказательство, инструмент, а сегодня еще — и ключ к постижению истины. А это уже что-то! Сурьмин превратил ее в ключ.

— Спасибо Сурьмину! — выкрикнул я вслух и рассмеялся, мысленно отмечая внутреннюю ломку, происходящую в душе.

Но я взбадривал, все время как бы подхлестывал себя. Арсению Ивановичу хуже, чем мне. Он доверяет, надеется на мою бесспорную поддержку. Я не имею права раскисать.

Но Таня ведь звонила не зря. Она хотела что-то сказать, может быть, очень важное...

Я вдруг ощутил запоздалое угрызение совести и потянулся рукой к телефону... Но звонить не стал. Да и куда, собственно? Мне казалось, она сейчас удаляется от меня, бредет какой-нибудь улицей. Одна. Нескорым шагом. Стройняшка, довольно высокая. На лице легкая печать разочарования. Это очень частое выражение ее лица и глаз, больших и карих. Словно она догадывалась о чем-то таком, не совсем хорошем. А мне было все время жаль ее и очень хотелось, чтобы ей было хорошо.

Странной была наша дружба. Да и знакомство тоже.

Мама познакомилась с Таней в магазине. Совсем случайно. Стояли в одной очереди. Слово за слово. Разговорились. Оказалось, что Таня инженер-металлург. Два года уже, как закончила институт и работает по назначению в одном НИИ. Сама-то она не москвичка. Здесь ее оставили и прописали по лимиту. Живет в общежитии в комнате на двоих с подружкой. Живут в общем-то скучно. Подружка ведет себя повольнее, порою не ночует дома. На укоры Тани отвечает смеясь:

— Так быстрее, Танька, замуж выскочу. Методом проб и ошибок... А ты, милочка, совсем уж строга, совсем уж... И не пококетничаешь, и ни тебе в ресторан с начальником отдела... А я вот была... И хорошо мне с тобой, Танька! Мужики на тебя прут, как мухи на сахар. Но ты ведь нос воротишь... Так я уж, прости меня грешную, стрелку на себя перевожу... Принимаю, как говорится, огонь на себя! Ха-ха- ха!..

— Циник ты, Валя, — строго сказала ей Таня.

Все это рассказала мне мама, и еще что коса у нее толстая и до пояса, и что красавица она писаная, и что скромница и ничего себе такого не позволяет, на что многие девушки не задумываясь идут, и что... Тут мама немного смутилась, но все же на лице ее сияла мечтательная улыбка и выражение немой мольбы одновременно.

— Игорек! — взмолилась она. — Девушка-то хороша! И чует мое сердце — для тебя она создана... Сын!.. — воскликнула мама как-то даже патетично, но вдруг сникла и беззвучно заплакала.

И только тогда я подумал, что слушаю маму холодно и даже отчужденно. Я вдруг запоздало устыдился и как можно мягче сказал:

— Мамочка, но ведь так... Пойми меня... Будто по заказу... Я так не могу... Я уверен, что встреча должна быть случайной. Судьба должна быть...

Мама вскинулась и заговорила горячо, будто читала молитву:

— Игоречек! Так ведь это же случайно, совсем случайно! Ведь в очереди. Могли и не встретиться! Понимаешь, это же судьба!.. А какая девушка! Запала вот в сердце, и все!

Мама жадно смотрела мне в глаза, и белый пушистый дымок седины у висков придавал ее лицу особое выражение истовости.

— Ну, хорошо, мама, познакомь меня с ней.

— Она хорошая, хорошая, сынок, — уже как-то успокаиваясь и удовлетворенно повторяла мама.

7

Я надел пропитанный свинцовыми солями халат, защитные очки и прошел в стерильную палату к Сергею. Сегодня он в сознании. Но очень плох. Сильно кричит. В клинику был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Многократные рвоты, температура сорок, отек лица, шеи, верхних конечностей...

Я не мог измерить у него давление обычной манжетой. Пришлось надставлять... Очень терпеливо перенес трепанбиопсию и пункцию костного мозга. Тяжелейшие ожоги... Сегодня уже кожа сходит пластами...

В воздухе сложный лекарственный запах. От кварцевания сильно пахнет озоном... Мы сделали все, что было в наших силах: мазь синбезон, Вишневского, фурацилин, настойка прополиса, облепиховое масло... Все это лежало рядом с ним, на столике. Там же корнцанг с намотанной на него марлей. которым сестра обрабатывает ожоги...

Вскоре после поступления клиническая картина осложнилась пневмонией и агранулоцитозом... Пересадили костный мозг от шестнадцати доноров...

Привезли его вчера, в воскресенье, и найти доноров оказалось не так просто. Как-никак процедура сложная. Костный мозг берут под общим наркозом...

Благодаря пересадке костного мозга с пневмонией и агранулоцитозом условно справились. Кроме того, у него тяжелейший панкреатит. Он страшно кричит именно от болей в поджелудочной железе... Крик резкий, душераздирающий, неконтролируемый... Мороз по коже и перехватывает дыхание от этого страшного крика.

Странно, но я ловил себя на том, что хотел бы побывать в его шкуре. Конечно, тут такие слова неуместны и даже, может быть, кощунственны, но во мне как бы автоматически срабатывала любознательность научного работника. Я ведь мог фиксировать только внешние проявления клинической картины болезни Сережи и, конечно, анализы, и догадки относительно его ощущений...

Я еще и еще раз перечитывал записки японского ученого Нагаки, изучавшего радиоактивность и в сорок пятом году ставшего жертвой атомной бомбардировки Нагасаки. Правда, у него был несколько стертый случай, так как он находился сравнительно далеко от эпицентра. Случай Сергея был практически равносителен облучению ядром атомного взрыва. Но таких пострадавших ни в Хиросиме, ни в Нагасаки в живых не осталось. Сергей был единственным, кто мог рассказать, но... Он кричал...

В крике он широко раскрывал рот, рваное мясо губ расползлось в кровавых трещинах. Вначале басистый, с душераздирающими вибрациями голосовых связок крик постепенно переходил на визг, сначала резкий, потом слабеющий. Распухший язык выдвигался изо рта, и в ярком свете ламп виден был вибрирующий в вихрях дыхания, как кровавый флажок тревоги, — маленький язычок...

Были мгновения, когда мне казалось, что я вот-вот потеряю самообладание при виде столь мучительных страданий. Более того, я ощущал горький стыд, потому что вынужден был сохранять профессиональное спокойствие в то время, когда сердце мое требовало внешнего проявления жалости и сострадания. Не знаю, как бы вел себя я на его месте, но во всех случаях, кроме того времени, когда боль разрывала ему поджелудочную железу и когда не кричать было невозможно, он вел себя очень мужественно. Я преклонялся перед ним. Часто с его уст слетало имя доктора Фирсова, какая-то гипотеза о космосе... И доктор Слотин... Об этом я, кажется, слышал...

Я любил Сергея. Любил в нем мужество и стойкость. С трудом сдерживая себя в состоянии видимого спокойствия, я назначил ему морфий, промедол, омнотон, что поможет, и пошел в ординаторскую. Сел за стол страшно опустошенный. Передо мною лежала история болезни Сергея, но я не мог к ней притронуться. Я сильно надавил кулаками на глазные яблоки. Раньше этот прием несколько снимал оцепенение, но сейчас ожидаемого эффекта не произошло. Я достаточно стойко приучил себя, и это уже вошло в привычку, в любых ситуациях прежде всего постигать смысл происходящего. Но ради бога! Какой же великий смысл был в страданиях и неизбежной предстоящей смерти Сергея?! Во имя чего, зачем люди придумали друг для друга возможность того, что я теперь наблюдаю?!

«Бессмысленность! Бессмысленность! Бессмысленность!» — стучало в мозг.

В это время раздался телефонный звонок, и я в надежде схватил трубку, думая, что это Таня. Но я ошибся. Звонил какой-то парень.

— Скажите, пожалуйста, — услышал я чистый молодой голос, — это институт биофизики?

— Да, — ответил я. — А что вам угодно?

— Видите ли... — парень замялся. — Тут у вас было объявление... Набор, словом... Добровольцев... Я хочу записаться...

«Сурьмин уже старается, — мелькнуло у меня. — Зря время не тратит...»

— Сколько вам лет? — спросил я у парня.

— Двадцать... Здоров как бык...

— Зачем вам это надо? — спросил я, стараясь придать голосу большую задушевность. — Это, между прочим, опасно...

— Я не боюсь, — сказал парень и хохотнул. — Мне деньги нужны... А здоровья у меня хватит на десятилетия...

— В таком случае вам надо подойти к директору. Это будет наверняка... — Я бросил трубку. — Ну, бульдозер!.. — прошептал я в бессильном гневе и ощутил усталость.

Становилось совершенно ясно, что «Васька слушает, да ест», и чем кончатся наши с Арсением Ивановичем усилия — неизвестно...

Но черт возьми! Я не имею права раскисать... Я взял перо и придвинул ближе историю болезни Сережи...

Не знаю, сколько прошло времени, может быть, около часа, когда вбежала сестра Марина с мученическим выражением на лице.

— Сергей кричит... Игорь, я больше не могу!.. Господи! Какие мучения... Надо что-то сделать...

Я назначил наркоз закистью азота. Помогло. Он успокоился. Кажется, заснул. Если в таком состоянии существует сон...

Закончив писать, я снова прошел к больному. Палата непрерывно кварцуется, чтобы избежать излишней инфекции... Островато пахло озоном, облепиховым маслом и еще чем-то, возможно, лимфой Сережи, которая испарялась с поверхности его тела.

Я подошел к нему. Он лежал на высокой кровати, над которой был устроен каркас из железных прутьев. На нем очень мощные лампы, чтобы не было холодно, потому что под каркасом Сергей лежит совершенно голый. Сверху на каркас наброшена простыня. Получилось что-то наподобие палатки. Да... Он лежит совершенно голый. Кожа от облепихового масла стала желтоватой. Волосы, брови, ресницы — выпали. Температура не снижается — тридцать девять — сорок. На протяжении всего времени, пока он не заснул, у него очень горели и чесались глаза. Кожа на лице, голове, шее отходит толстыми пластами, сворачиваясь в длинные трубочки серого цвета и обнажая совершенно гладкий, влажный, темномалиновый слой. На его поверхности, сразу же после скручивания верхнего слоя в трубочки, выступили капельки крови, очень маленькие, но частые — пятнадцать — двадцать на один квадратный сантиметр. Это обнаженные капилляры. В локтевых сгибах и под коленками, на шее и лице темномалиновый слой образовал корки, которые лопались при малейшем движении. На месте лопнувшей корки тут же выступала сукровица. Создавалось впечатление, что весь больной блестит. На губах корки. Каждое слово, каждое мимическое движение даются с трудом — корки сразу лопаются.

Периодически в палату заходит сестра Марина и марлей, смоченной дизраствором, снимает верхний слой кожи, скрученный в трубочки, и отодвигает от центра ожога к здоровой коже. Это сравнительно небожно, потому что все нервные окончания в коже убиты...

Арсений Иванович приказал записывать клиническую картину в мельчайших подробностях. Я пошел в ординаторскую писать. Неожиданно вошел Вадим. Я знал, что он собирается уходить от нас. Но не знал о причинах ухода. Он вошел и как-то решительно и энергично протянул свою лапищу и больно сжал мою руку.

— Пришел попрощаться... — сказал он, не выпуская мою руку из своей, и вдруг смутился и присел на краешек кушетки. — Вот так, Ишка... — сказал он, опустил голову и взял руки в замок. — Ухожу... Попрощался со своими кроликами и мышатами... Подложил им корму... Ты там поглядывай за ними... Или возьми к себе... — Он очень открыто, незащищенно посмотрел на меня. — Видишь ли... Я с этими игрушками кончаю... Знаешь, вдруг стало ясно, что круг мой весьма узок... Столь узок, что стало страшновато... Ходил я здесь полгода за одним профессором философии, упросил... Согласен брать в ученики... — Он рассмеялся и развел руками. — Надо расширить амбразуру видения мира... Ни черта не понимаю...

Я молчал. Пораженный и его поступком, и совпадением наших настроений. Он решительно встал и снова крепко пожал мне руку.

— Не одобряешь?... Это решено окончательно... Ну, будь...

Когда дверь за ним закрылась, я с некоторым запозданием тихо сказал:

— Счастливо, Вадик...

И снова отчего-то стал думать о маме, о ее непроходящем внутреннем беспокойстве... И чтение... Каждую новую книжку берет дрожащими руками... А вчера снова подошла вдруг, заглянула в глаза и в который уже раз произнесла:

— Спасибо тебе, сыночек, за бодрый голос... За уверенность...

А мне теперь показалось, что она не благодарит, а просит меня, чтобы я был таким, чтобы не сломался... Вот так...

И тем не менее — надо писать!..

И все же мысли о Тане даже в эти нелегкие дни до конца не покидали меня. Лишь притухли и время от времени вновь напоминали о себе. Я невольно вспомнил и наше знакомство, и последующие встречи, во время которых я вел себя, как теперь мне казалось, не лучшим образом. А началось это так...

Однажды, было, кажется, воскресенье, раздался какой-то уж больно настойчивый, тягучий звонок в передней. Я открыл. В дверях стояли мама и незнакомая мне стройная девушка, физически у нее была очень простая, темно-русые волосы гладко зачесаны назад и заплетены в толстую косу, перекинутую на грудь. Очень милое, пожалуй даже красивое, чуть скуластенькое лицо, как бы изнутри просвеченное смущением, а в глазах, через силу глядевших на меня, — любопытство и какие-то колкие огоньки. И словно бы говорили они — ее глаза: «Хоть и смущена я сверх меры, но гордости нам не занимать...»

— Вот я привела к тебе «народоволочку»... — сказала мама, вся сияющая и счастливая.

Ох, уж как ей не терпелось лишиться меня свободы... Но мама действительно выглядела счастливой. И мне как-то тепло стало на душе. Давно я не видел маму такой. Я даже на мгновение потеплел к «народоволочке». А она и впрямь чем-то была похожа на молодую Веру Фигнер... Во всей стати ее были легкость и изящество...

— Таня! — назвала она вдруг себя с некоторым вызовом и протянула мне прогнутую ладошку.

Рука Тани была сухой и горячей.

Когда мама с Таней вошли в прихожую, я машинально завернул в свою комнату, перехватив огорченный взгляд мамы, а женщины, также, видать, машинально или в знак протеста, не знаю, направились на кухню.

А я тоже, чурбан, хорош, будто девушку привели не ко мне в гости, а так, посидеть на кухне с мамой.

Через несколько минут, как и следовало ожидать, мама вошла ко мне и, широко открыв глаза, горячим шепотом сделала мне выговор:

— Как тебе не стыдно! Девушка вся сникла... Она уйдет! Понимаешь, уйдет!.. Твоя судьба уйдет!.. Выйди немедленно к ней!

Мама покраснела. Волосы у нее сегодня были аккуратно причесаны и собраны двумя довольно толстыми косами сверху в красивый крендель. И седые волосы у висков не так пушились, и глаза широко раскрытые, серые, горящие...

«Нет, мама у меня красивая...» — подумал я, обнял ее, поцеловал в высокий лоб и вышел к Тане.

Мне показалось, она обрадовалась. Большие карие глаза стали влажноватыми и чуть мечтательными. И уж как-то очень ласково поблескивали.

Мама ушла на кухню стряпать и оставила, нас одних.

Мы сидели в креслах вполоборота друг к дружке. Оба чувствовали себя деревянными и глупо улыбались. Я про себя чертыхался и не рад уже был, что согласился на встречу-

Таня опомнилась первая.

— Вы занимаетесь научной работой, да, Игорь? — спросила она очень уважительно, и мне даже стало как-то неловко.

— Да, — ответил я, чувствуя, что у меня начинает сосать под ложечкой, и не столько от неловкости, сколько от какого-то внутреннего протеста, что мою, так сказать, «судьбу» мне самым форменным образом навязывают. Пусть даже и мама, но это все равно насилие над личностью.

«Но девушка ведь и впрямь хороша! — внутренне прикрикнул я на себя. — Хороша ведь!»

И в этот миг оцепенение незаметно покинуло меня. Я видел, что держит она себя просто, естественно. Не то что какая-нибудь манерная дура. Голос у Тани мягкий, не деланный, как у иных кокетничающих дамочек, которые хотят казаться умными...

«Нет, она простая, милая девушка, — уговаривал я сам себя. — И конечно же ждет инициативы с моей стороны. А я как чурбан...»

— Знаете что, Таня? — сказал я вдруг, смеясь и как-то даже чересчур раскованно. — Пойдемте-ка чай пить.

— Пойдемте! — как дитя обрадовалась Таня, пружинисто встала с кресла и показалась вдруг мне в своем коричневом платице почему-то очень теплой и родной.

Так мы познакомились. Не скажу, чтобы это было очень оригинально. Бывает хуже. Но бывает и лучше, романтичнее, что ли...

Мы очень быстро привыкли друг к другу, подружились, и это, наверное, самое страшное в таком деле, потому что от дружбы до женитьбы в моем представлении путь огромный, если не бесконечный... Старомоден я был тут несколько, но что поделаешь, такой получился. А теперь вот и мама пытается втолкнуть меня в другую шкуру. Но не так-то это просто...

Во всяком случае, я себе дал слово, что не трону девушку до тех пор, пока не полюблю...

Мы ходили с ней в кино, в театры, подолгу иногда гуляли по Москве. Я рассказывал ей о своей работе. Она слушала очень внимательно, с полуулыбкой на губах и чуть опустив голову. У нее был очень легкий шаг, и вести ее под руку было одно удовольствие. И хотя я видел, что она, когда слушает меня, — вся внимание, порою мне все же казалось, что лицо ее вдруг на короткое время становится как бы отрешенным, а в глазах появляются колкие огоньки...

Она часто приходила ко мне на работу, когда я отрабатывал результаты экспериментов. Мы подолгу сидели с нею в боксе, где я перед тем облучал гамма-лучами донорскую кровь, а потом просматривал под микроскопом хромосомные aberrации. Она сидела рядом со мной, очень близко. Локоть к локтю. Я ощущал запах ее волос, еле уловимый духов и тепло. Тепло, исходившее от нее...

Как-то мы сидели так, и она вдруг сказала, потупившись:

— Ты меня никогда не полюбишь, Игорь...

— С чего ты взяла? — шутливо и вроде мимоходом спросил я, но сердце мое обдало холодком.

— Не знаю... Так мне кажется... А я вот... — она не досказала, а я не стал уточнять...

Смешно подумать, но за год нашего знакомства я ни разу не поцеловал ее. У нас вон в отделении двое облученных больных, она с завода регенерации ядерного топлива, он с атомной электростанции, заперлись в лифте и чуть ли не полдня катались вверх-вниз. Еле их оттуда выпроводили...

Как-то Таня предложила мне походить вместе в плавательный бассейн. Даже абонементы купила. Осталось только медкомиссию пройти. А я вроде и не отказал прямо, но ходить в бассейн не стал, уклоняясь под всякими предлогами. Таня предложила раза два и больше не напоминала.

С мамой моей они были очень дружны. Дарили друг другу подарки.

Однажды я пришел с работы, вижу — мама на кухне, а в ванной комнате душ работает. Думаю, что за черт, видно, мама забыла закрыть кран. Хватить дверь и замер на месте. Татьяна сидела в ванне, волосы распущены, вся по шее в жемчужной пене. И такие у нее в это мгновение глаза были: испуганные, молящие, тревожные... Мокрые волосы потемнели, распались, побледневшее милое лицо в каплях воды...

У меня был, видно, очень дурацкий вид, но вскоре я опомнился, довольно сухо извинился, закрыл дверь и машинально повернул защелку с наружной стороны.

Я подошел к маме и в упор посмотрел ей в глаза. Вид у нее был заговорщический.

— Ничего странного, Игорек. Я предложила Танечке принять ванну с жемчужной пеной...

И все же мама была немного смущена.

Я ничего не ответил и ушел к себе. Потом услышал, как стучала в дверь ванной комнаты Таня, как, щелкнув шпингалетом, открыла ей мама. Слышал потом их приглушенный говор...

Когда я вошел на кухню ужинать, Таня сидела с заплаканными глазами. Мы молча поели, и она ушла. Я не стал провожать ее.

— Нехорошо ты, мама, сделала... — сказал я, когда Таня ушла. — Обидела девушку, а за что?

— Это ты ее обижаешь, сынок... — мама заплакала. — Какая жизнь сейчас... Какая жизнь, милый... Очень нелегкая... Девушка мечется. Она ведь тебя любит, а ты...

— Я ничего, мама...

— Чурбан ты, вот кто... Хоть и мой сын...

А теперь вот все не выходит у меня из головы ее последний звонок. И тревогой обдало меня вдруг. Где-то она теперь ходит... Ведь у меня такая забота сейчас: спасти Сережу... Я ей рассказывал о нем. И о ситуации в институте, и о нашей с Арсением Ивановичем борьбе против Сурьмина, о готовящихся им опытах на добровольцах...

Она же так умеет слушать... Как никто...

9

Меня срочно вызвал Сурьмин. Когда я вошел, он сидел за столом. Кабинет довольно просторный. Обставлен скромно. Собственно, двухтумбовый стол, полупустой книжный шкаф с застекленными дверцами, два грязноватых, изрядно просиженных зеленых кресла. Белая штора гармошкой собрана наверху окна. На ковровой дорожке большой прямоугольный алый солнечный зайчик. Пахнет старой мебелью...

Сурьмин был озабочен. Его бритый череп сегодня особенно лоснился и блестел. Как обычно, не изменяя тональности голоса, он спросил:

— Ну, Игорь, согласен? — и вяло улыбнулся.

Сразу видно, что этот человек улыбается редко. Улыбнулся и как-то непривычно, неловко себя почувствовал. Слегка сконфузился. Провел ладонью по черепу. И там, где прошла рука, блеск пропал. Я также смутился, потому что Сурьмин был неизменно со всеми строг и не иначе как по имени-отчеству... Дело ясное... Постановка натурального эксперимента на добровольцах, но без надежной поддержки... Да что там говорить! Без моего метода биологической дозиметрии, которым сегодня владел вполне только я, дело рискованное и волнует даже Сурьмина.

Я молчал. Что говорить, когда все уже давно сказано и обе стороны четко стоят на своих позициях. Арсений Иванович и я принципиально не согласны с постановкой опытов с протектором на людях. Это Сурьмин знал хорошо. И все же. Здесь уже работала схема «бульдозера». Он будто читал мои мысли и чувствовал мое настроение настороженности и неприятия.

— Вы должны согласиться, Игорь Васильевич... — Ясно, что дружеская фамильярность была не его призванием. — Как ваш больной?.. — И сам же ответил: — Ваш больной плох, а

вы не желаете сотрудничать в столь важном деле... Ведь если бы ему перед его экспериментом планово ввели протектор, он бы сейчас был жив-здоров...

— Сомневаюсь...

— Почему?

Это «почему» мне очень нравилось. Сам прекрасно знает и спрашивает. Слава богу, его опыты на кроликах и мышах дали пока совершенно определенное «не знаю». Чего уж больше... Как правило, выживаемость подопытной группы против контрольной после введения вещества протектора с последующим острым облучением гамма-лучами увеличивалась процентов на тридцать, но... И это самое главное, протектор вызывал глубокую гипоксию (кислородное голодание) клетки и, как следствие, первое — некоторую устойчивость к радиационным воздействиям, второе... Тут как раз собака и зарыта... В своем встречном опыте с мышами по предложению Арсения Ивановича я разделил эксперимент на две части, а именно: ввел мышкам протектор и через некоторое время исследовал кровь подопытных на хромосомные аберрации. Я получил поразительную картину — хромосомы клетки были разрушены так, будто я облучил малышей порадочной дозой. Парадокс!..

Я доложил результаты Арсению Ивановичу.

— Вот именно! — воскликнул он. — Эффект защиты перекрывается фактором поражения защищаемого организма...

Я даже составил номограмму разрушения хромосомного аппарата клетки в зависимости от дозы вводимого протектора. Вот так...

Сурьмин отреагировал классически:

— Любая защита ведет за собой издержки... А что вы думали, молодой человек?! Получить чистый выигрыш без затрат?!

Что тут ответишь?.. Я промолчал, но Арсений Иванович, когда я потом рассказал ему, взвился:

— Это уж слишком!.. — Ему хотелось прибавить позабористей, но он сдержался.

К вечеру того же дня он предложил мне срочно связаться с ленинградскими биофизиками и попросить их повторить опыт с мышами в части, касающейся введения протектора с последующим исследованием процессов в кровеносных сосудах на капиллярном уровне. Арсений Иванович не без основания опасался, что глубокая гипоксия клетки может дать множественные инфаркты различных органов животного или человека. Я вылетел тогда в Ленинград, и мне удалось увлечь тамошних ребят на этот эксперимент. Более того, они обещали даже отснять цветной фильм. Мы ждали результатов...

Сурьмин повторил вопрос:

— Ну так как же, Игорь Васильевич?

Я понял, что он не отступится и вопрос может даже стать так: быть или не быть... Если так, то лучше уж не быть. Я уйду с Арсением Ивановичем. Но сначала надо защититься...

— Я должен защититься... Организационные изменения сейчас затруднят завершение работы...

— Хорошо, — твердо сказал Сурьмин. — После защиты готовьтесь к переходу в мою лабораторию.

Это уже был почти приказ, и я догадывался, что он внутренне готов к опыту на добровольцах. Я все рассказал Арсению Ивановичу и заодно поделился своими сомнениями относительно нашей индифферентности к работам Сурьмина, а в конце концов, к проблеме защиты от радиации. В ответ получил довольно жесткий выговор.

— Защиты есть! — гневно выпалил он. — Первое — борьба за мир, долой ядерную гонку! Второе — надежная организация работ и защита: экран, расстояние, время... Работа над

протекторами, может, и необходима, но я сапожник и печь пироги не умею. Моя специальность — лейкозы, черт возьми! Уметь лечить лучевую болезнь необходимо, но... Устрани источник излучения, исчезнет и болезнь... Болячка сия, так сказать, приобретенная. А лейкозы... Это болезнь... И с не вполне известным механизмом... И кривая роста налицо... Итак, коллега, каждому свое... Как Серега?

10

Серега был плох. Он был в сознании. В коридоре сидела жена. Когда я проходил, поздоровалась. Красивая. Сухие блестящие глаза. Холеные руки с ярким маникюром, большие зеленые серьги в ушах, косметика на лице. Я разрешил ей сидеть против застекленной двери в палату, и она могла его видеть. Мне показалось, что она не верит в его близкую смерть, тоже не верил. Мне казалось еще, что мы можем его спасти, подошел к нему. Он попытался улыбнуться, но не смог. Получилось подобие вежливой гримасы. Ни на что не жаловался. Сказал только, что очень сильная слабость. Да. Резкая слабость и чувство большого груза на теле.

— Я весь отяжелел, — прошептал он, — каждый палец руке весит не меньше пятнадцати килограммов... — и вдруг добавил: — Как бы я хотел сейчас увидеть Фирсова... Он так был прав...

— Может быть, можно пригласить его? — спросил я, обрадованный желанием Сергея.

Он вновь попытался улыбнуться, но губы расползли в кровавых трещинах.

— Нет... Он... умер пятьдесят лет назад... Но он бы прав...

Я не стал уточнять, в чем был прав Фирсов, чтобы излишне не утомлять Сергея.

Я приступил к осмотру. Выслушивать сердце было очень трудно. Над областью сердца массивный радиационный ожог. Прослушиваю его чуть ниже, под мышкой, слева, ближе к лопаточной линии. Измерил артериальное давление на ногах, руки чудовищно отеки. Но показатели вроде бы ничего. Давление — сто десять на семьдесят, пульс — сто, тоны сердца очень глухие, но ритм не нарушен. Я вижу, как тяжело ему держать на лице вежливую гримасу. Хочется спросить стереотипное: «Что вас беспокоит?» Но я молчу. Вопрос кажется нелепым. И так все ясно. Он вдруг прошептал:

— Я так устал... Мне тяжело... Как будто на мне лежит гора... В Хиросиме тоже так умирали... Теперь я знаю, как им было тяжело... Мне очень тяжело... Меня раздавливает...

Я нажал кнопку. Вбежала Марина. Я приказал поставить капельницу с мезотоном, кокарбоксилазой, преднизолоном ДОКСА...

В этот момент в палату вошла доктор Стрешнева. Обычно она как-то потусторонне рассеянна, непричесана, бледна. Я никогда раньше не замечал ее глаз. Ходит с опущенной головой. А тут чрезвычайно оживлена, даже порозовела слегка. Глаза блестят. Кажется, синие. Не разобрал...

— Игорь Васильевич! Вас срочно просит Сурьмин.

Сурьмин был также непривычно оживлен. Даже в нетерпении прохаживался по кабинету. Я недоумевал. Происходило что-то непонятное.

— Получено разрешение главка отснять цветной фильм, — сказал он довольно энергично, но чувствовалось, что фразу не закончил. Что-то зажал. Походил, походил, словно ожидая реакции с моей стороны. Видимо, ждал удивленного восклицания. Я молчал.

— Организуйте доступ кинооператоров к больному. — Глаза его весело искрились впервые с тех пор, как он появился у нас. Но в них было и нетерпение. И добавил: — Это срочно...

Нет, извилины в этом обритом черепке явно работают. Он определенно что-то придумал. Я передал новость Арсению Ивановичу. Тот искренне обрадовался.

— Наконец-то, жирафы! Долго до них доходит. Но это хорошо... Организуй, Игорек... У нас всегда так: долго тянется, но делается в конце концов правильно... — Он рассмеялся. — Валяй... — И похлопал меня по плечу.

Съемки организовали довольно быстро. Серега сделал вежливую гримасу. Спросил шепотом:

— Это для потомства?

Я ничего не ответил. Только слегка улыбнулся и кивнул ему.

— Правильно, — добавил он. — Харно Хиёси в Хиросиме многое недоснял...

Оператор сильно потел. Был бледен. Глаза вытаращенные. Я опасался, как бы не упал в обморок. Жена Сергея молча наблюдала за всем этим. Когда проходил мимо, спросила:

— Зачем?

Я ничего не ответил. Сурьмин снова вызвал меня. Очень заинтересованно справился, как идут съемки. Я сказал, что все организовано. О больном он не спросил. Весь полон нетерпения — это ясно. Сказал, что через неделю просмотр фильма в главном управлении. Мне быть обязательно. Арсения Ивановича он уже предупредил. Я пошел в ординаторскую писать. Съемки будут продолжаться до самой смерти...

11

Дима Простаков был рад, что все так хорошо уладилось. Его приняли в команду добровольцев. Будут деньги! А стало быть, будет свадьба...

Он быстро шагал по вечерней Москве. В джинсовых брюках и вельветовой куртке. Стройный и молодой. Черные тонкие усики на худощавом, совсем еще юношеском лице в свете уличных фонарей контрастно выделялись и выглядели бутафорскими.

Он то и дело подкидывал в руке теннисный мяч, который использовал в качестве кистевого эспандера. Ему было двадцать лет, и чувствовал он себя очень сильным и взрослым.

И хотя предстоящая встреча где-то в глубине души вызывала неуверенность и даже страх, какая-то жившая в нем, дремлющая до поры настырность теперь как бы выдвинулась и подавила эти чувства, подхлестывая самолюбие и жажду мужского самоутверждения.

И еще возгласы друзей-студентов стояли в ушах:

— Слабо, Димка! Ей-ей, слабо!..

Конечно, им хорошо подшучивать. У них давно уже есть подружки. И ребята часто рассказывали, хвалясь и подтрунивая над ним, о прелестях близости, о женских причудах и неслыханной изобретательности в любви.

Но Простакову не везло. Девчонки к нему не липли, как к другим, называли его железным мальчиком, больше одного раза никто из них на танцы с ним не шел, и потому решил Дима, что будет у него в жизни всего лишь одна женщина, та, которая станет его женой...

И когда на вечере в энергетическом техникуме, где он, печальный, стоял и смотрел на танцующих, к нему вдруг подошла миловидная круглолицая девушка и сказала: «Вы такой печальный, как Евгений Онегин...» — и пригласила его на танец, он решил, что это Судьба, и с максимализмом молодости сказал сам себе: «Она будет моей женой...»

И теперь, чтобы закрепить в своем решении, вспомнил слова закадычного друга, многоопытного Васьки Попова: «Привяжи ее близостью... Понял?..»

— Понял... — ответил тогда Дима, а самого при этом обдало жгучей внутренней волной неуверенности и страха.

Настенька больше походила на ученицу седьмого класса, чем на студентку третьего курса техникума. Круглолицая, курносенькая, с собранными наверху в узел косичками, чтобы выглядеть повзрослее, она казалась Диме совсем ребенком, и он думал, что, женившись на ней, будет ее воспитывать, передавать ей весь запас своей энергии, знаний и убежденности, которых ей, как ему казалось, не хватало.

Лицо ее казалось ему простым, но милым. Говорила она с ним то вычурно умно, то задушевно просто, то игриво-жаргонно, то как-то даже по-боссяцки, и у него даже начинали появляться мысли: «А может быть, это не жена, а любовница?..»

Настя ждала его недалеко от входа в парк, облокотившись о барьер туннельного перехода.

Увидев ее, Дима сунул теннисный мяч в карман вельветовой куртки. Карман вздулся пузырем. Он подошел сзади и бережно взял девушку за талию, от чего в груди у него похолодело, а сердце гулко заколотилось под самым горлом. Настя вздрогнула и быстро повернулась к нему.

— Ах, Димка! Как ты меня напугал! — А у самой глаза настороженные, внимательные.

Он все еще не справился со своим волнением, но не отпускал ее талию, потом быстро наклонился и коснулся похолодевшими губами ее горячей щеки. Лицо девушки не пахло духами, губы без помады, но его удивил, обдал дурманом нежный волнующий запах горячей Настиной кожи. Он заметил, что она тоже в ответ как-то стыдливо едва коснулась губами его щеки. И это касание было как легкое дуновение горячего ветерка.

— Ну пошли! — сказал он чуть дрогнувшим голосом (сердце колотилось под самым горлом), взял ее за маленькую теплую ладошку и потянул за собою к парку.

— Ага, — сказала она. — Пошли, Димка...

— Ну, как ты? — спросил он.

— Да так, ничего...

— Так уж и ничего?.. Все нипочем?.. И сердце не колотится?..

Настя хохотнула.

— Ох! Я, Димка, такая бедовая! Мне все нипочем...

— А чего?

— Да так... Такая уж я. Мы даже преподавателя своего отлупили...

«Опять этот боссяцкий тон...» — подумал Дима и решил, что это теперь даже лучше, она будет доступнее. Но все равно он обязательно женится...

— Да ну?!

— Точно... Он старик уже. Ему тридцать шесть лет, а ей шестнадцать...

— Так уж и старик!

— Конечно! Ведь — тридцать шесть. С ума сойти! И смотрит на нее значительно...

Они шли густой аллеей парка. Было безветрие. Теплый летний вечер. Свет фонарей пронизывал довольно густые кроны деревьев, и песчаная дорожка краплена неровной резной тенью листвы. Людей было довольно много, но Дима и Настя шли будто одни. Более того, Диме казалось, что они с Настей одни в целом мире...

— А она?

— Она болезненная у нас. Ничего сама не может сделать. Есть уж такие люди... Не могут сопротивляться...

— Господи! Так взяла бы и сказала: пошел вон — и все дела, — сказал Дима.

— В том-то и дело, что не может она этого сказать... — Настя крепко сжала руку Димы, отчего в грудь ему ударила душная горячая волна. — Он ее в кино приглашает в ресторан, а она идет... А потом ко мне приходит и говорит: «Ох, Настенька, еще немного — и пропаду я. Он нахальничает все больше...». Ох ты, горюшко ты мое, думаю, надо выручать...

— А сколько тебе лет, Настенька?

— Семнадцать... Вернее, через пять месяцев восемнадцать будет.

— Ну и что было дальше?

— Ах, думаю, ты старый черт! Нахальничать, да?! Ну, ладно... Говорю я подружке, пусть еще последний раз с ним пойдет, а сама ребят с курса подговорила... Взяла я мамкину шаль. И пошли мы. Смотрим — идут. А он над ней все нахальничает, нахальничает...

— Как это? Обнимается, что ли?

— Ну да... — Настя чуть сникла голосом и потупилась.

— А она?

— А что она может сделать? — с вызовом спросила Настя. — Такая уж она...

— И она его ничуть не любила?

— Ничуть!.. Чувствую — пропадет сейчас моя девка. Заведет он ее к себе, и все... Подскочила я сзади, набросила ему на голову шаль, и начали мы его дубасить... Отдубасили как следует...

— А подружка, с которой он шел, тоже его дубасила?

— Нет. Она стояла и ревела, дуреха...

— Так, может, она его любила?

— Не-е-ет!

— Ну а в группе у вас гуляют с ребятами?

— Да-а... И я вот гуляю... — Настя заливисто расхохоталась.

— И целуются? — спросил Дима, которому смех Насти не понравился.

— Да-а... Одна даже... — она тихо засмеялась, глянув на Диму.

Он выразительно и как-то нетерпеливо посмотрел на нее.

— Ага... Это самое... Забеременела...

— Ну и что? — испуганно спросил Дима. — Ее отчислили?

— Ну что ты! — Настя смущенно глянула на Диму. — Она теперь мама. У нее такой мальчишечка родился. Богатырь!

«И как это в ней умещается все в одной?..» — растерянно подумал Дима и вновь услышал ее бойкий голосок.

— Ой, недавно у нас в группе смех был, умрешь... Приходит утром Еж — это мы так физика зовем. И спрашивает: «Кто вчера целовался — встать!»

— А чего он вдруг стал спрашивать? — Дима говорил с Настей тоном парня бывшего, хотя сам впервые только сегодня прикоснулся к женщине. Но даже и этого мимолетного касания, когда он взял Настю за талию и похолодевшими губами едва дотронулся до ее горячей щеки, оказалось достаточно, чтобы он, словно Антей от земли, набрался уверенности и сил и с каждой минутой все более ощущал себя мужчиной и покровителем давшей ему силы девушки...

— А ему кто-то сказал... — Настя снизу вверх часто и лукаво поглядывала на Диму.

— Ну и что?

— Встала сначала Томка, а за нею вся группа...

— И что, все целовались?

— Да нет. Мы его просто на шухера взяли..

— А ты целовалась? — спросил Дима, и сердце его снова гулко заколотилось у самой гортани. Перехватило дыхание.

Освещенная аллея в это время кончилась, и дальше начинался лес. Дима с нетерпением ждал ответа Насти и крепче сжал ее ладошку.

— Не-е... — сказала Настя дрогнувшим голосом. Они ступили в темноту леса. — Не люблю я этого... — И вдруг оживилась. Заговорила быстро и сбивчиво: — И вообще непонятно... Девчонки говорят, что целоваться приятно... Одна пришла и говорит: «Ох, я вчера и нацеловалась!»

— А ты гуляешь с ребятами? — спросил Дима, сдерживая волнение. Он дышал неровно, широко раздувая ноздри и остро ощущая запахи леса, Настиных волос, ее дыхания, когда она поворачивала к нему голову...

— Все гуляют... Чем я хуже?.. — спросила она, потупившись. — Но мне совсем это не нравится... Я уже со многими гуляла...

— Целовалась?

— Да не-ет... Не люблю я этого... Вовсе здесь нет ничего такого...

— Ну уж?.. — Диму стало знобить. В руках и ногах он ощутил дрожь.

— Точно...

— А если я тебя сейчас поцелую?

Настя молчала.

Он быстро повернул ее к себе и как-то впопыхах, неумело поцеловал в губы, теплые и сладкие. Она ответила. Потом отпрянула,хватила ртом воздух и, часто дыша, шепотом проговорила:

— Ну зачем ты это сделал? В этом нет ничего хорошего...

Дима ничего не ответил. Он только крепче прижимал к себе Настю. Руки его жадно скользили по теплой тугой спине девушки. Потом внезапно оказались под кофточкой, резко сдвинули вверх жесткий шелковый бюстгальтер, и в сухие горячие ладони его, как тяжелая ртуть, упала холодная и нежная грудь девушки.

— Что ты делаешь?! Димочка! — Настя дрожала.— Не надо так... Я боюсь...

Он упал на колени и неловко, ощущая в душе смесь ликующего чувства и острого стыда, прильнул лицом к ее груди, все более смелея, хотя больше был похож на ребенка, слепо ищущего материнский сосок.

— Я женюсь на тебе! Ты будешь моей женой! — горячо шептал он, а она крепко схватилась руками за его голову, и мужская шишковатая голова с жесткой щетиной коротко стриженных волос казалась ей чужой и страшной.

— Нет, Димка, нет! — крикнула испуганно девушка, но он крепко держал ее в своих объятиях.

В какой-то миг ее отпор показался ему обидным, в груди у него что-то упало, напряжение, было, отошло, и он ослабил тиски. Но это длилось только миг. А мысль, что он уйдет ни с чем и станет посмешищем друзей, хлестнула его, словно кнутом. Он снова притянул к себе девушку, которая, хныкая, пытаясь спрятать грудь и заправить кофточку, пыталась освободиться из цепких рук парня.

— Я женюсь на тебе, Настенька, милая! У меня скоро будет много денег!.. Целых семьсот рублей!.. Мы отгрохаем такую свадьбу!.. — Настя на мгновение притихла и перестала сопротивляться. — Они мне только сделают укол и просветят рентгеном!.. Нам это — тьфу! И семьсот рублей в кармане...

Мощная внутренняя волна вдруг швырнула его на ноги. Настя панически причитала, напрасно хватала его за руки своими очень твердыми, горячими,

вспотевшими и соскальзывающими с его сильных окаменевших рук кулачками, царапалась, пыталась укусить, но не смогла. Он рывком поднял ее, прижал к стволу дерева.

— Не-е-ет! — закричала она негромко, упершись руками ему в подбородок, но вдруг взяла его за щеки и, привстав на цыпочки, сочно поцеловала в губы. — Димочка, может, не надо? Не люблю я этого. Ничего здесь нет такого...

Настя коротко вскрикнула, спугнув ночную тишину летнего леса, и все смолкло...

12

Вбежала медсестра и почему-то не говорит, а шепчет мне на ухо:

— Сережа не дышит!

Я бросился в палату. Она ошиблась. Видимо, дыхание Чейнстокса. Когда я вошел, он дышал часто и глубоко. Глаза были закрыты. Пульс нитевидный. Давление резко падает. Он был в сознании и все шептал:

— Мне тяжело... Я так устал... Я так устал... Хиросима... Мидори Нокао...

Он связывает свою смерть с атомной бомбардировкой Хиросимы... Он прав... Все началось оттуда... И неизвестно, когда и чем кончится... Мидори Нокао умерла иначе... Я наизусть помню ее клиническую картину...

Но я не знал, что теперь делать. Хотел позвать Арсения Ивановича, но он только что уехал... Через тридцать минут давление у Сережи поднялось до восьмьдесят пять на сорок, но больше не поднималось. Появилась эмбриокордия, черты лица заострились. (Эмбриокордия — это когда первый тон сердца невозможно отличить от второго. Промежутки между тонами и сердечными циклами одинаковы.) Так бьется сердце у эмбриона. Появление эмбриокордии — это почти всегда конец...

Приказав сделать морфий прямо в капельницу, я впустил жену Сережи, предварительно облачив ее в пропитанный свинцовыми солями халат и снабдив защитными очками. Интенсивно облученный нейтронами, Сергей сам стал спектром радиоактивных изотопов и являлся теперь опасным источником ионизирующей радиации. Жена его вначале протестовала, но потом все же согласилась надеть защитную одежду. Впервые в глазах ее я увидел слезы...

И тут я подумал, что она, по сути дела, идет в «горячую камеру»... Ах, как все выходит!.. В горячую камеру незаметно превратилась вся наша жизнь... Постепенно и незаметно...

Войдя в палату, жена Сережи потянула носом и сморщилась. Сильно пахло озоном. Палата непрерывно кварцуется, чтобы исключить поступление инфекции через пораженную поверхность тела.

Как всегда перед концом, ему стало немного легче. Он улыбнулся жене, мне показалось, даже как-то ободряюще. И вдруг стал вспоминать, как прошлым летом они с ней ездили в Судак, как катались на морском велосипеде. Каждая фраза приносила ему боль и страдания. Он еле ворочал распухшим языком и губами. Трещины безобразно расходились но кровь не шла. Выступала желтая сукровица. Он спрашивал о сыне. Она прочла ему письмо, где сын писал о прошлогодней рыбалке, просил скорее выздоравливать, потому что у него перестали решаться задачи по физике. И что у их собаки родилось три маленьких черно-белых щенка...

Лицо жены было спокойным и казалось бесстрастным. Она смотрела на мужа печальными задумчивыми глазами, и в них читался немой укор.

И вдруг Сергей заговорил о своей поездке в Соединенные Штаты Америки. Сказал, что очень ярко видит того американского парня в синих потертых джинсах и расстегнутой на груди белой рубашке, из-за которой торчали густые рыжие курчавые волосы.

— Эй ты, парень, — говорит, — подойди. Ты из России?

— Да.

— Я так и подумал... У вас на лице все написано. Вы не умеете врать... И потому русским надо верить...

А вот бомбардировщик «Энола Гэй», который им показали как достопримечательность.

Самолет казался игрушечным по сравнению с сегодняшними воздушными гигантами. Стоял на площадке, выстланной из квадратных бетонных плит, в стыках которых росла нежнозеленая трава. Вокруг высокий редкий кустарник...

Сергей подошел и потрогал рукой бомбовый люк, из которого вывалился «Малыш», убивший Хиросиму и... его, Сергея, тоже...

Американцы чтут первого носителя атомной смерти...

Сергей замолчал и как-то странно посмотрел на жену. Мне показалось, что он плачет. Такими бывают глаза у плачущих людей. Но слез не было. При больших дозах повреждаются слезные железы.

Умер Сережа в сознании, замолкнув на полуслове.

На вскрытии нашли увеличение гипофиза. Акромегалоидные черты. Но он очень пропорционален...

13

По окончании просмотра фильма наступила гробовая тишина. Все были в подавленном состоянии. Даже я и Арсений Иванович были потрясены. Ужасные подробности смерти под лучом, собранные воедино, впечатляли. Реально видимые картины, если они невыгодны твоему организму, дробятся сознанием и теряют ранящую остроту и, стало быть, силу эмоционального воздействия.

Все молчали. Наконец начальник главного управления, вздохнув, произнес с сильным кавказским акцентом:

— Ето ужасно... Ынквизыция за польтисячилетия нэ придумала мук страшнее... Коварство атома, как и его сила, — нэисчерпаемо... Но нэисчерпаеми также силы и энергия чэловэка... Товарищ Сурьмин, расскажитэ нам о вашей работе.

Сурьмин встал, откашлялся и сжато доложил постановку задачи и сущность проводимых экспериментов.

Начальник главка с воодушевлением произнес:

— Как видите, кое-что ми уже прэдпрэнымаем... Прошу, пажалуйста...

— Теперь, — продолжал Сурьмин, — мы можем с полным основанием считать, что настало время провести серию заключительных клинических экспериментов на добровольцах...

— Даже серию... — не вытерпел и вставил Арсений Иванович. Щеки его пылали плиточным румянцем. Как и я, он слишком поздно все понял. Я вспомнил нетерпение Сурьмина. Он очень ловко использовал подвернувшийся случай... Бульдозер... Его работа налицо... Ленинградцы молчали... В этом все дело... По-серьезному у нас нечем было крыть... А после просмотра фильма главное управление единодушно выскажется за проведение опытов на добровольцах...

— Да, серию, — подчеркнул Сурьмин, — время и мучения людей не позволяют нам тянуть со столь важными делами. Мы должны дать нашим научным работникам и эксплуатационникам атомных станций верное средство защиты от радиации... Время не ждет, товарищи...

— Врэмя нэ ждет — это ти харашё сказал, — вмешался начальник главного управления. — Чьто тэбэ нада для арганызации стой работы?

— Во-первых, необходимо... Это во-первых, во-вторых и в-третьих... Необходимо дружное участие всего коллектива нашего института в этом важном деле... Однако я должен доложить высокому собранию, что единодушие у нас сегодня Далеко не полное. Более того, есть даже прямые противники...

— Кто они? Назавыте, пожалуйста.

Арсений Иванович встал, не дожидаясь, когда назовут его имя. Начальник главка покачал головой.

— От тэбэ, Арсений Иванович, я как раз и нэ ажидал етого... Ти в принципе против етой работы?

— Отнюдь нет. Но я в принципе против предстоящего эксперимента как преждевременного и чреватого, возможно, тяжелыми последствиями...

— Ест сэрьезные доказательства?

— Нет.

Эх, Арсений Иванович! Я бы сказал — «пока нет». В этом все дело. Но тут уж я ничем не мог помешать. Нашла коса на камень. Он вошел в принцип и сейчас скажет, ну конечно..

— Я не специалист по данной проблеме и понимаю в ней не больше, чем баран в левой ноздре... Но я врач... Вы, надеюсь тоже? — обратился он к Сурьмину.

— Я биохимик... — ответил тот неуверенно и вытер платком вспотевший лоснящийся череп. Блеск пропал.

— Как врач я имею определенные опасения... — чертыхаясь, Арсений Иванович сел.

— Я уважаю тэбэ, Арсений Иванович, — задумчиво глядя на него, сказал начальник главка, — но, извини мене, ти виступаешь сегодня нэубидительно...

Арсений Иванович встал и покинул аудиторию. Все многозначительно переглянулись. Начальник главка покраснел и недовольно буркнул:

— Гордость, панымаешь...

Внутренне я по достоинству оценил поступок профессора Синицына. Я восхищался его стойкостью и мужеством, но почему-то не последовал его примеру и продолжал сидеть, испытывая необычайную уязвленность от своего малодушия.

14

В минуты поражений хочется забросить все к черту, шлепнуться на койку, поначалу беспорядочно копаясь в самом себе, потом начисто отключившись, и лишь после этого, остыв, понять что к чему и какие еще есть шансы. Арсений Иванович учил меня стоять на своем, то есть на правде, до конца...

Почему-то невольно мысли мои обратились к начальнику главка Акопянцу. А может быть... Впрочем... Иван Христофорович Акопянец был старый и опытный организатор, неплохой врач. Меня, да и Арсения Ивановича подкупали в нем также неподдельная страстность и обеспокоенность в вопросах захоронения и переработки радиоактивных отходов ядерных установок. Он не уставал писать, куда надо, письма и постоянно напоминал

о том, что все мы, увлекшись мирным атомным бумом, забываем о второй, не менее опасной проблеме: куда девать отработавшее ядерное топливо и как уберечь от него людей и окружающую среду...

Но ладно... Меня сейчас волновало не это. Выходило ведь так, что неплохой человек и специалист стал неожиданной преградой на пути к истине. Вот в чем фокус!.. И ничего тут не поделаешь. Люди будут погибать теперь в процессе экспериментов на добровольцах не только по вине Сурьмина, но и по вине уважаемого мной неплохого человека Акопянца...

Да-а... Вот так... Покумекаешь тут...

Год назад Иван Христофорович заболел и лег на профилактику в наше отделение. Лечил его я.

Первое время трудно было избавиться от ощущения, что это начальник главка. Но вхожу я как-то утром в палату, а он, седовласый, сильно курчавый, лежит на боку и сильно храпит, аж стекла в окне вздрагивают. Сизоватый орлиный нос его на фоне белоснежной подушки казался очень большим и внушал уважение. Но выражение лица было детски беспомощное...

Скованность по отношению к нему сразу исчезла, и он превратился для меня в обыкновенного больного. Особенно после того, как мне в очередной раз, когда я его застал спящим, очень захотелось пощекотать соломинкой огромный сизоватый нос...

— Падажды... Нэ уходы, Игор, — сказал он мне как-то, когда я закончил осмотр. — Гдэ работает твой папа?

Когда я сказал, что мой отец умер от рака легких десять лет назад, Иван Христофорович печально покачал головой.

— Мнэ казалса, я знал твоего папу...

В некотором роде это бы намек на мое привилегированное положение, но я поспешил разочаровать начальника главка:

— Мой отец был простой смертный... Полковник авиации в отставке...

Акопянец снова печально покачал головой, но разочарования я не заметил. А впрочем, кто его знает. Может, в глубине души у него что-нибудь дрогнуло...

Но справедливости ради надо сказать, что доброго отношения ко мне он не изменил и лечился терпеливо, без капризов, которыми иногда страдает большое начальство: «Не те лекарства, не та палата, не тот врач и т. д...»

И все же выходило, что опытов на добровольцах не избежать. Я мысленно встал с воображаемой койки, снова готовый к борьбе.

— Мы будем бороться до конца, Арсений Иванович! — сказал я вслух, поскольку в ординаторской никого не было.

А Иван Христофорович?.. Что ж... Он оказался пешкой в руках Сурьмина...

У Сурьмина размах. Деньги отпущены. Добровольцы в палатах. Ни мало ни много — тридцать человек. По десять в каждой палате. Из палат слышится смех, стук костяшек домино. Арсений Иванович окрестил их — «веселые ребята». Сегодня он настроен побоевому. Вызвал меня к себе. Пригласил сесть, а сам стал бегать взад и вперед по комнате.

— Понимаешь, Ишка, мы сегодня не ученые, не врачи даже... Просто — люди... Надо помешать Сурьмину... Грамотно помешать... Жалко ребят... К тому же в числе добровольцев... — Он не договорил, а я не стал уточнять.

— Но им всё сказали, Арсений Иванович... Сделают укол, и триста острых рентген на грудь... Они знают, что есть риск. На то и добровольцы. Деньги опять же...

И тут я вдруг зримо представил, как после инъекции доброволец ступит на подставку, щелкнет контактор, Низов выставит кобальтовую пушку на уровне плоской губчатой кости грудины, основного генератора крови в организме, и пучок жестких гамма-лучей...

— Риск в кубе!.. — Арсений Иванович остановился против меня. — Ждать некогда... Сколько стоит жизнь? Ты знаешь? Не триста и не пятьсот ведь рублей... Надо действовать... Сегодня же езжай в Ленинград и проси ребятшек поторопиться. Нужны доказательства. Понимаешь, срезы сосудов на капиллярном уровне после введения вещества протектора. Должен быть инфаркт, понимаешь?.. Массовый... Но нужны фотографии, лучше — цветной фильм... Ты понял меня?..

— Сурьмин говорит, там пьянь всякая...

— Что значит пьянь?! — Арсений Иванович удивленно посмотрел на меня. — Что значит пьянь?! Ты понял меня?..

— Да...

— Ну вот. Езжай... И не забудь: в числе добровольцев, кажется... — Он не закончил. Что-то его отвлекло.

Через день я вернулся. Ленинградцы обещали результат через неделю. Арсений Иванович тоже зря времени не терял. Он успел обработать медперсонал отделения. Опыт назначен на среду. Результат из Ленинграда будет в пятницу...

В среду в нашем отделении не нашлось ни одного работника, кто бы согласился ввести вещество протектора подопытным. В четверг стало известно, что врач-гематолог Стрешнева Галина Ивановна сама пошла к Сурьмину и предложила свои услуги. Все внимание отделения сфокусировалось на ней.

Стрешнева Галина Ивановна. Возраст — сорок лет. Замужем не была. Необщительна. Друзей не имеет (известных нам). Вид болезненный. Общественную работу не ведет. Нарушений трудовой дисциплины не было. Независима. Перед начальством не лебезит. Рассеянна. Охотно дает займы и никогда не спрашивает долг. В неприязни к кому-либо, если это имеет место, стойка до фанатизма. Как работник пунктуальна, но талантами не блещет...

16

Я решил без ведома Арсения Ивановича поговорить со Стрешневой и убедить ее не делать инъекции подопытным. Если это удастся, в отделении не останется никого, кто бы согласился поддержать Сурьмина, а сам он наверняка не решится подменить медсестру или рядового врача. Тем более что он и его друг Низов — биохимики. Мы выиграем время, и ленинградцы успеют...

Я вдруг подумал: как бы огорчился Сергей, если бы узнал, что его смерть может повлечь за собою новые. Эта мысль неожиданно потекла в другом направлении: насильственная смерть человека настолько противоестественна и нелепа, что скрытый от нашего понимания дисбаланс, вызванный ею, неизбежно ведет к новым серьезным потерям. Вывод показался мне слишком суеверным, и я отмахнулся от него. Жизнь требовала возвращения к реальности...

Я хотел было пригласить Галину Ивановну в ординаторскую, когда никого не будет, но подумал и решил, что тут разговора не получится.

Вечером, выкроив часок, я прошел прямо из института к ней домой, благо жила она на этой же улице в десяти минутах ходьбы от работы в фундаментальном довоенном доме. В сталинские времена любили солидность.

Двери в подъезде и входные в квартиры — дубовые, почерневшие, под старым, местами отслоившимся лаком.

Я долго давил на кнопку звонка, но ответа не последовало. Я ждал с минуту, никто не подходил. Я снова надавил на кнопку и не отпускал до тех пор, пока за толстой дубовой дверью, надежно гасящей шум, не послышался еле уловимый шорох.

Раздался двойной чвак замка, и дверь приоткрылась, Жестко дернувшись на цепочке. Я увидел в щель Галину Ивановну — в махровом черно-желтом халате, волосы мокрые, лицо распаренное. Видимо, она принимала ванну и поэтому долго не открывала.

Стрешнева поначалу молча и как-то отчужденно всматривалась в меня, потом лицо ее скривила гримаса удивления, она ахнула и стала лихорадочно дергать цепочку, пытаясь снять ее с замка.

Наконец дверь отворилась, тяжело и чинно проскрипев на петлях и увесисто толкнув меня в плечо.

— Ой, что это я! Входите, Игорь Васильевич! Вот не ждала так не ждала!..

Теперь лицо ее, еще более покрасневшее, имело смущенно-шкодливое выражение, глаза затравленно поглядывали на меня.

Видно было, что она лихорадочно соображала, зачем это я пожаловал. Взгляд ее постепенно твердел, и она вдруг сухо бросила:

— Пройдите в комнату... Я сейчас, только приведу себя в порядок...

И вдруг я услышал очень тоненький голосок. Я осмотрелся. Никого, кроме меня и Галины Ивановны, в прихожей не было.

Рот Стрешневой, толстогубый и большой, был сомкнут. Но мотив явно слышался, и совсем рядом. Был очень знакомый. Я вспомнил, что это песенка львенка и черепахи из популярного мультфильма.

«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу... Я лежу, я лежу — и на солнышко гляжу-у...»

«Ну гляди-гляди, — подумал я, поняв, что Галина Ивановна, сама того не замечая, издает мотивчик носоглоткой при плотно сомкнутых губах и тем самым выдает свою нервозность.

— Лежи-лежи, — повторил я про себя, — может, еще что-нибудь придумаешь...»

Она удалилась на кухню, а я прошел в большую комнату с очень высоким потолком. На полу старый, местами протертый по краям красный ковер, круглый стол посередине, накрытый коричневой ковровой скатертью с бахромой, в углу старый черный рояль с поблекшей лакировкой, красный диван, напротив — застекленный шкаф с томами «Библиотеки всемирной литературы»...

«Любит теплые тона...» — подумал я и еще раз осмотрелся: хрустали и дорогой посуды видно не было. Это мне почему-то понравилось.

На столе лежал томик «Древнегреческой драмы» из той же серии «БВЛ» с голубой закладкой посередине.

На широком окне — толстая бордовая штора, наполовину отодвинутая.

В комнате пахло затхлостью. И в целом она казалась неопрятной. Рояль был старинный, золотой знак иностранной фирмы полустерся.

Мне почему-то не хотелось садиться, и я стоял как истукан посередине комнаты.

Стрешнева вошла бесшумно, в голубой кофточке и черной юбке в обтяжку. Успела просушить феном редкие каштановые волосы, и они красиво пушились в модной укладке. Круглое лицо, высокий широкий лоб, отрешенные серые, нет, пожалуй, голубые глаза... И снова — тонюсенький, почти мышинный, нутряной голосок, выводящий знакомый мотивчик...

— Я по делу, Галина Ивановна, — сказал я сухо.

— Да, я вас слушаю, Игорь Васильевич, — она нервно поджала полные губы. Глаза ее не смотрели на меня. — Присядем...

Мы сели за стол. Она поспешно схватила и прижала к груди томик «Древнегреческой драмы».

— Я прошу вас, Галина Ивановна, откажитесь от участия в эксперименте.

Глаза ее просветлели и широко раскрылись. Она, не мигая, смотрела на меня.

— Почему я должна отказаться? — Она вспыхнула.

— Подопытные могут погибнуть... Поймите, протектор вызовет глубокую гипоксию клетки... Вы же гематолог... Не мне вас учить...

И тут я снова услышал тоненький, почти мышинный голосок, выводивший знакомый мотивчик: «Я на солнышке лежу... Я на солнышко гляжу...»

В этот момент мне показалось, что она отключилась и ушла в себя.

— Я прошу вас! — повторил я громко, пытаясь вернуть ее к реальности.

Стрешнева густо покраснела. Глаза гневно вспыхнули.

— Но ведь опыты с добровольцами, — сказала она с какими-то затуханиями в голосе. Видно, волнение перехватывало ей дыхание. — Здесь нет ничего безнравственного...

«Ага, понимает...» — обрадовался я.

И тут Стрешнева словно воспрянула от своих же слов, суетливо как-то повернулась вместе со стулом боком к столу и закинула ногу на ногу. Правая нога оголилась выше колена. Кожа шелковистая, слегка загорелая. Ноги красивые...

Она чуть игриво закачала из стороны в сторону головой и дурашливо спросила:

— У вас нет закурить, Игорь Васильевич?

— Не курю.

— Мужчина — и не курит, — сказала она осуждающе, быстро покинула комнату и вскоре вернулась, дымя сигаретой.

— Я твердо решила помочь Сурьмину, — сказала она окрепшим уверенным голосом. — Ваша с Арсением Ивановичем позиция мне непонятна. Надо же, в конце концов, найти защиту от радиационного воздействия... Мне кажется, настойчивость нашего директора достойна уважения. И вообще, я люблю твердых в своих убеждениях мужчин. А то... Одни хлюпики вокруг, даже противно смотреть...

— Стало быть, Сурьмин герой? — спросил я с подковыром.

— Да! — с нажимом и столь же ехидно ответила Галина Ивановна.

Теперь она смотрела на меня игриво и даже насмешливо. Ехидная ухмылочка то и дело кривила полные губы.

— Я непоколебима, Игорь Васильевич. — И задушевным голосом добавила: — Выпить не хотите, коллега? Я сейчас мигом соберу на стол. — Она снова закинула ногу на ногу.

Я вдруг представил возможность близости с этой женщиной, и меня внутренне покорило.

«Рано празднуешь победу, душечка...» — подумал я и спросил:

— А вас не смущает, что вы можете стать невольным убийцей?.. И не одного, а нескольких человек, как минимум...

— Я не допускаю этой мысли, — сказала она, помрачнев и перестав курить.

— Реальность требует трезвого взгляда на вещи, Галина Ивановна.

Она чуть отпрянула назад, и тоненький, как ниточка, мышинный нутряной голосок стал выводить мотивчик популярной песенки: «Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу... Я лежу, я лежу, все на солнышко гляжу...»

— Боюсь, что многие после ваших инъекций не смогут глядеть на солнышко... И петь песенку не смогут...

Я встал.

Стрешнева побледнела, но осталась сидеть. Глаза ее просветлели. Она тупо уставилась на меня.

— Вы услышали? — тихо спросила она. — Странно... А я не слышу. Мне казалось, что это в душе... Внутренний голос... Вы знаете, мне даже стыдно стало...

— Подумайте, Галина Ивановна, это ведь очень серьезно... — еще раз, прощаясь, попросил я.

Но в ответ вновь услышал знакомый мотив.

«Это бесполезно, — подумал я. — У нее душа поет... Чертова кукла...»

17

Добровольцы. Арсений Иванович попросил меня посмотреть подопытных. Честно говоря, мне очень не хотелось это делать. Слово «доброволец» говорило само за себя. Никакая пропаганда и агитация здесь неуместны. Добровольцы всегда появляются, когда надо идти на опасное дело. Стрешнева в чем-то права, хотя это правота невежества... До конца она многого не понимала... Но что тут поделаешь... В конце концов, была ведь и есть героическая медицина. Правда, там подопытными были сами врачи... Великие естествоиспытатели, замечательные люди... Заражали себя чумой, холерой, сифилисом, чтобы понять, изучить болезни, найти способы защиты... Добровольцы... Ничего не скажешь...

Я вошел в палату. Шестеро сидели за столом, забивали «козла», четверо лежали на койках — один спал, трое читали. При моем появлении козлодеры вскочили и разошлись по местам.

— Как настроение, товарищи? — спросил я.

— Настроение бодрое, идем ко дну! — ответил один из волонтеров.

— Сразу видно — бывший моряк.

— Так точно, товарищ доктор! Уж больно надоело ждать вашего эксперименту... Так все деньги пропьешь, покедова дождешься...

— А разве деньги не жена держит?

— Жена, конечно... Но заглазник должен быть...

Бывший моряк был небольшого роста, плотный, в полосатой домашней пижаме. Куртка пижамы надета без майки прямо на голое тело. Грудь здорового розового цвета, поросла рыжим вьющимся волосом. Лицо круглое, упитанное, конопатое. Кожа лица пористая. По цвету и фактуре напоминает спелую клубнику. Глаза какие-то треугольные, водянисто-голубые. Здоров, чертяка! Даже по волосам видно. Растут пружинисто, сильно...

— Нас уже сто раз смотрели-мерили... — напирал моряк. — Жажду поработать для научного развития...

«Терпи, терпи, — подумал я, — может, и повезет, и ленинградцы успеют...»

Я улыбнулся моряку.

— Скоро, скоро... Немножко терпения. Разденьтесь, я вас послушаю.

Моряк лихо скинул куртку и накреп передо мною свой атлетический торс.

— Не напрягайтесь... Дышите глубже...

«Справа, со стороны спины, в нижней части грудной клетки, дыхание жестковато... Поскребывает...»

— Плевритом не болели?

— Никак нет! Отродясь не поддаюся хвори...

«Давление сто двадцать на восемьдесят...»

— Богатырь!

— А я что говорю!

Следующий — парнишка лет двадцати со стильными черными усиками... Растянулся на кровати. Заранее разделся до пояса. Бледноватый... Вид интеллигентный... Куда же он полез?..

— Встаньте.

Он пружинисто вскочил. Сам руки на пояс. Сказал:

— Доктор... У меня очень не терпит время... — улыбнулся. — Свадьба на носу... Деньги нужны... Такая задача... Надо бы поскорее...

— Все будет в свое время, — ответил я.

— Дима у нас Геракл! — крикнул матрос и хохотнул.

И вдруг меня кольнуло: «Не тот ли это парень, который звонил мне вечером в памятное мое дежурство?.. Тот... Конечно, тот...»

Произношение у парня чистое, рафинированное какое-то. Отклонений нет... Все в норме... Худ... Худоба молодости... Астеник... Узок в плечах... Куда он полез?.. В его возрасте норма всегда на грани. Да-да... Это он звонил на днях... При мысли о возможных последствиях защемило сердце... Но я ничего не могу сделать.

— Здоров как бык! — услышал я его чистый голос.

Следующий. Пятидесяти лет. Кряжистый. Похож на грузчика. На шее шрам.

— Вы оперировались по поводу зоба?

— Было дело... Киста... — ответил он смущенно. Опустил глаза.

Тоны сердца глухие... Осколочное ранение предплечья...

— Воевали?

— Воевал...

— Контузии имели?

— А кто их не имел в войну-то?

— Что вас побудило предложить свои услуги?

— Дочке бы шубенку купить...

— Кем работаете?

— Карщик на овощной базе. Жену недавно схоронил.. Такие дела...

Давление сто пятьдесят на девяносто...

— На что жалуетесь?

— Да так... Особенно чтобы нет...

— Головокружения бывают?

— Разок было... Давно только...

— Я не советую вам участвовать в опыте.

— А профессор, плешивый такой, сказали — молодцом еще... А?..

Следующий. Тридцать лет. Шофер «скорой помощи»... Не встал... Взгляд черных глаз упрямый, злой... Шагреневый цвет щек, особенно около ушных раковин... Печеночник...

— Что вас заставило идти на риск?

— Это мое дело... Сам себе хозяин... Я дал подписку... Чего еще?.. Меня смотрели сто раз... Здоров...

Следующий. Тридцать пять лет. Механик нефтебазы... Красно-бурая кожа лица... Руки трясутся... Встал с койки, потянулся к пачке сигарет... Тремор... Сунул сигареты в карман тужурки. Долго не мог попасть... Давление сто сорок на девяносто... Пульс — сто десять. Глаза очень подвижные, ртутные... Лихорадочно блестят...

— Пьете?

— Пью...

— Зачем? — невольно спросил я, понимая, что вопрос глупый. Но выскочил он невольно.

— А на это никто не ответит... На целом свете...

— Вам вредно пить.

— Жить тоже вредно...

Шрам на животе... Резекция желудка... Язвенник...

— Вам противопоказан эксперимент.

— Мне-то лучше знать, доктор...

Ладно... Следующий... Сурьмин отобрал стойких... Разве только грузчик...

— Изжога мучит, доктор. Пропишите что-нибудь от изжоги... Вот взял зубной порошок, а он, чертяка, мятный. Захолодил все нутро...

— Давно изжога?

— Да, почитай, всю жизнь... Сколько помню себя...

— Меньше ешьте... Избегайте сладкого...

Двадцать восемь лет... На вид лет сорок. Кожа на лице сморщилась как у печеного яблока... Изыскатель... Долго работал в пустыне... Солнце... Кость грудины выпирает... Цыплячья грудь... Пульс пятьдесят два... Брадикардия... При пальпации боль в правом подреберье... Не хватает денег на взнос в кооператив... Жена медсестра в нашей клинике. Она же сообщила ему о возможности заработать...

В течение следующего часа осмотрел остальных. Шесть человек — ярко выраженные алкоголики... Остальные, при беглом, конечно, осмотре с его ограниченными возможностями по диагностированию, с незначительными отклонениями. Практически здоровы. При поступлении в клинику каждый доброволец обследовался лабораторно. Сурьмин прикрылся..

Я уже было направился к Арсению Ивановичу, но медсестра Марина остановила меня.

— Игорь Васильевич... — она была смущена. — Еще одна палата...

Я посмотрел на нее удивленно. Марина молча взяла меня за руку и повела вдоль коридора.

«Ах, да... — вспомнил я. — Арсений Иванович что-то недосказал о добровольцах. А я не переспросил».

— Вот здесь... — сказала Марина. — Еще один доброволец...

Я вошел в палату, и у меня потемнело в глазах. В палате была Таня. Она сидела на койке в своем красно-черном халатике, исподлобья смотрела на меня и смущенно улыбалась.

Несколько раз я сильно зажмурился. Но нет... Это была Таня.

— Почему ты здесь? — спросил я строго, не до конца еще осмыслив происходящее.

— Я доброволец, — также строго ответила она, и карие глаза вспыхнули огнем.

В голове у меня лихорадочно летели обрывки мыслей, память ослепляла яркими картинками прошлого будто только для того, чтобы сейчас они обрели новое значение и смысл.

Все, что было у нас с ней, в считанные секунды пронеслось перед моим мысленным взором.

«Зачем же она это сделала?!» — напряженно думал я, одновременно соображая, как бы ее отсюда выпроводить.

— Больная, встаньте! — строго приказал, почти выкрикнул я. Видимо, лицо у меня в этот миг было страшное. Таня вздрогнула. Резко встала.

— Снимите халат! — сказал я и подошел к ней вплотную.

Она побледнела, глаза потухли, лицо стало чужим. Затем спокойно расстегнула и сняла халат, оставшись в одной голубенькой шелковой комбинации.

— Приспустите это... — показал я на бретельки. — До пояса... — Я действовал уже машинально, не соображая, что творю...

Она замешкалась. Но вдруг что-то произошло в ее душе, глаза снова вспыхнули. Она посмотрела на меня как-то пронзительно зло, быстро сняла с плеч бретельки, просунула руки, и сорочка соскользнула на пол.

Таня стояла передо мной обнаженная.

Хотя в палате было тепло, но от волнения ее, видно, охватил озноб и все тело покрылось мурашками.

Случись это в другой обстановке, дома, например, я не знаю, что бы произошло...

Но здесь, в палате института биофизики, я стоял и смотрел на нее холодными глазами врача, хотя от меня не ускользнула гармоничная красота ее тела, прекрасная античная грудь с бледно-розовыми сосками, очень нежная линия талии и широких бедер, красивый полный животик, белая стройная шейка...

«Милая Танечка!» — невольно мелькнуло у меня где-то в самой глубине, но я холодно сказал:

— Возьмите руки на пояс.

Она не шелохнулась. Глаза ее все более наполнялись презрением, лицо исказилось.

И вдруг она показалась мне такой одинокой, беззащитной сироткой... Пронзительная жалость охватила меня...

В следующий миг Таня вдруг словно опомнилась, спохватилась, метнулась в сторону, торопливо скрестив руки на груди и согнувшись, пряча свою наготу. Толстая темно-русая коса на обнаженной нежной спине делала Таню какой-то особенно беззащитной и домашней в этом огромном казенном доме. Дрожь пробежала по моему телу, я сильно зажмурил глаза, пряча внезапно подступившие слезы...

«Господи! Что же происходит на свете?!» — мысленно взмолился я.

— Ты бессердечный! — сказала она шепотом. — Я не хочу тебя видеть... Смеешься над бедной девушкой, которая хочет счастья... Ты смеешься надо мной... Я ненавижу...

— Таня, успокойся... — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал теперь не слишком строго. Но мои слова и более мягкий тон только усилили в ней протест. В глазах у нее выступили слезы. Она уткнулась лицом в скомканный халат. Плечи ее вздрагивали.

— Да-да... Я глупая, глупая... Я думала, ты обратишь на меня внимание хотя бы здесь... Но мама твоя правильно сказала, что ты чурбан... Бессердечный человек... Любовь девушки сегодня ничто... Пустой звук... — Она подняла заплаканное покрасневшее лицо и горячо посмотрела на меня. — Мне стыдно, ты понимаешь, мне очень стыдно... Я просто сгораю от стыда... Но я знаю — хорошие, добрые человеческие слова у таких, как ты, вызывают сегодня только иронию и насмешку...

Она вдруг встала, не стыдясь наготы, надела халат и повязалась кушачком. В голове ее появилась жесткость.

— Но я решила, Игорь. Так я жить больше не могу. Я не могу бесконечно ждать счастья. Лучше умереть, но хоть с какой-нибудь пользой... Уходи!

Я слушал ее, смотрел на нее и думал: «Странно... Я не боюсь за нее... Может, потому, что уверен — не допущу... Но мне тоже стыдно видеть ее... Теперь не жалко, нет... Стыдно...»

— Хорошо... Не делай глупостей... Я думаю, твои услуги не понадобятся... — Я повернулся и пошел к двери.

— Игорь! — крикнула она. Голос ее был полон отчаяния.

И только когда я закрыл за собою дверь, душу мою вдруг словно окатило горячей волной. И тут я понял, что теперь, с этого самого мгновения, всеми моими действиями будет

руководить одна мысль: «Здесь Таня! Моя Таня! Я в ответе теперь не просто за добровольцев, но и за нее... И вправду ведь я за нее в ответе... Именно сегодня, именно сейчас...»

И вдруг представил, что бы случилось, если бы меня не было здесь и она бы получила укол и триста острых рентген на грудину... Что бы случилось?!

— Судьба! — сказал я тихо, стоя у двери. — Теперь это ясно...

И почему-то стало очень приятно и тепло на сердце при мысли, что Таня рядом, здесь, за дверью, и что я обязан теперь все время помнить о ней. Это даже неожиданно удивило.

Я прошел в ординаторскую и доложил результаты осмотра Арсению Ивановичу, умолчав о Тане. О ней я позабочусь сам...

— Что Ленинград? — спросил он.

— Молчат...

— Садись на телефон и, пока не дозвонишься, не отступай... Скажи, от них зависит жизнь людей...

— Говорил... Машинное время... Раньше, чем выдаст аппаратура, результата не будет...

— Все равно — звони! Следи за Стрешневой... В случае чего...

— Что — в случае чего?..

— А!.. Ничего... — Арсений Иванович досадливо махнул рукой. — Звони...

Целый час крутил вертушку. Наконец дозвонился. Передал все, как просил Арсений Иванович. На том конце провода долго молчали. Потом сказали, видимо, посоветовались. Привезут материалы к десяти утра самолетом в пятницу... То есть завтра...

— Что-нибудь вырисовывается? — спросил я.

— Да... Но неважная разрешающая способность аппаратуры... Постараемся...

«Плохо... Поздно... Но что делать?...»

18

Утром в пятницу в отделении появился Сурьмин в сопровождении Стрешневой. Я домой не уходил. Ночевал в отделении. Стрешнева впервые по-настоящему причесана. Взволнована. Похорошела. Пошла ва-банк... Во имя чего?.. Нашла героя?.. Ха-ха!..

Девять тридцать утра. Я подошел к Сурьмину и сказал, что осмотрел подопытных.

— Ну и что?

— Думаю, что надо вводить попалатно, с интервалом, например, в сутки... Состояние подопытных разное...

Иной возможности предотвратить или хоть как-то оттянуть эксперименты я не видел.

— Объективные показатели у всех хорошие... — задумчиво сказал Сурьмин, и я подумал, что он склонен к компромиссу.

«Ленинградцы прилетят в десять... От аэродрома до клиники час на такси... Кореологическое исследование на хромосомные аберрации должен проводить я... Дави!..»

— Я настаиваю на поэтапной инъекции!

— Почему?

— Это удобно для проведения промежуточного анализа... И перехода к следующей группе...

— Шприц и протектор к инъекции подготовлены, Семен Петрович! — взволнованно доложила Стрешнева Сурьмину. На меня ноль внимания.

— Приступайте... — несколько неуверенно сказал Сурьмин и, подумав, добавил: — Поэтапно... Каждую палату с интервалом в сутки...

Девять сорок пять. Стрешнева сделала первую инъекцию. Добровольцы бодрь, веселы, шутят...

Десять пятнадцать. Стрешнева закончила введение вещества протектора в первой палате...

Ленинградцев нет. Звонка тоже. Мы договорились, что они позвонят, как только придут. Звонка нет... У меня опускаются руки...

Арсений Иванович уехал в клинику Кумирского. Я понял — это начало его активных действий по уходу из института Сурьмина...

Одиннадцать ноль-ноль. Ленинградцев нет. Звонка тоже. Заглянул в палату. Все добровольцы смирно лежат по своим местам. Визуальных отклонений не отмечаю...

Пятнадцать ноль-ноль. Ленинградцев нет...

И, похоже, не будет сегодня... Звонка тоже нет... Звонить же им нет никаких сил... Моряку стало плохо. Удушье... Весь синий... Дышит очень часто, поверхностно... Отправили в реанимацию... Стрешнева нервничает... Глаза вытаращенные... Бегаёт взад и вперед по коридору... Стала замечать меня... Звоню Сурьмину. Не берет трубку...

Заглянул в палату Тани. Лежит на койке. Руки за голову, смотрит в потолок... Очень хорошо, что она здесь. Без нее было бы труднее...

Неожиданно резко ухудшилось состояние студента Димы, грузчика и механика с нефтебазы. Срочно в реанимацию!.. Жалко всех... Особенно молодого парня-студента... Он ведь еще не жил, не любил. Но... К нему, кажется, приходила миловидная девушка! Как все нелепо... Жалко мальчика... Поместил его в единственную у нас барокамеру, в среду кислорода с повышенным давлением... Непрерывный контроль основных параметров организма... Показатели очень плохие... Кардиограмма — дрянь...

Сделать больше ничего нельзя... Только кислород... И резервы молодого организма...

Испытываю какое-то странное чувство. Молодой парень с густо-синим лицом внутри герметичного колпака барокамеры делает затяжные, глубокие, какие-то судорожно-поспешные вдохи... Голова запрокинута, будто он рвется к финишу и никак не может достать грудью ленточку...

Мне вдруг показалось, что вместе с ним задыхаюсь и я... На какое-то мгновение меня охватило отчаяние... Что делать? Что?! Я уже сделал ему уколы по деблокированию... Поздно... Гемоглобин крови связан веществом протектора... Кислород плещется о легкие, как волны о скалы... Каждый существует сам по себе... Органической связи и взаимообмена не происходит...

Моряк мечется, сбросил кислородную маску... Над ним и остальными хлопочут три врача и медсестры...

Шестнадцать двадцать. Моряк скончался... Ленинградцы молчат. К утру следующего дня палата номер один лишилась еще троих добровольцев. Скончались — студент Дима, грузчик и механик с нефтебазы...

Вскрытие показало множественные инфаркты внутренних органов — легких, почек, сердца...

Срочно приступил к деблокированию вещества протектора у оставшихся в живых... Всем — кислород!

Примчался разъяренный Арсений Иванович.

— Добровольцев остальных двух палат — немедленно к выписке! По домам! По домам!

Таню я велел пока оставить в палате. Пусть будет рядом. Мне так легче. Мы уйдем отсюда с нею вместе...

Стрешнева закатила истерику. Обморок... Привели в чувство. Кричала, что покончит с собой. Психопатка, сволочь...

Суббота. Одиннадцать тридцать. Прилетели ленинградцы... Фотографии срезов сосудов, фильм... Массовый тромбоз на капиллярном уровне... Что бы им привезти это на сутки раньше... И на том спасибо...

Позвонил Сурьмин. Спросил, как дела.

— Ничего... — ответил Арсений Иванович. — Четыре трупа...

— Сейчас приеду! — впервые взволнованно выкрикнул Сурьмин.

Даже я услышал, хотя трубка была плотно прижата к уху профессора Синицына.

Арсений Иванович уехал. Я остался в ординаторской один. Напряжение постепенно спадало...

— Вот и все... — сказал я вслух.

Нет! В гигантской «горячей камере» жизни гуманизм как признание формального «феномена человека» — этого мне мало! Признание ценности и смысла жизни каждой человеческой личности! И мы, Арсений Иванович, в меру сил своих поборолись за это... И важно, чтобы это делал каждый живущий... Каждый... Не знаю, победили мы с Арсением Ивановичем или нет... Трудно сказать... Впрочем, теперь это неважно... Главное, мы поборолись и кое-что сумели сделать...

Но смогу ли я после всего пережитого работать здесь?.. Наверное, нет... Как хорошо, что есть Арсений Иванович!

И вдруг я почувствовал, что весь внутренне метнулся к Тане. И теплом обдало сердце... Я встал и направился к ее палате...

Как ни странно, мое будущее начиналось здесь. Начиналось тревожно...

СОДЕРЖАНИЕ

Энергоблок
Запас до кризиса
Синдром
Горячая камера

ГРИГОРИЙ УСТИНОВИЧ МЕДВЕДЕВ

ЭНЕРГОБЛОК

*Редактор Л.А. Трофимчук
Художественный редактор А.С. Томилин
Технический редактор Г.Д. Калмыкова
Корректор А.В. Муравьева*

Сдано в набор 02.08.90. Подписано к печати 08.02.91.
Формат 84х 108¹/₃₂ Бумага офс. № 1. Литературная гарнитура.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 21,42.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 529. Цена 1 р. 40 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

1 р. 40 коп.

